

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Семиотические понятия



Семиотические объекты



Знак и символ



Знак и текст



Символическая действительность



Язык и языки



Символы в иконическом языке



Семиотика и реклама



Семиотика советской цивилизации



Семиотика советской мифологии



Семиотические коды социализма

1 $\frac{02 - 15}{177 - 8}$

$\frac{807}{2039}$

Георгий Почепцов

СЕМИОТИКА

**Рефл-бук
Ваклер
2002**

УДК 30
ББК 92
П 65

РОССИЙСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА
2002

Серия основана в 1998г.

Ответственный редактор С. Л. Удовик
Оформление обложки В.В. Чутур

Перепечатка отдельных глав и произведения
в целом без письменного разрешения издательств
“Рефл-бук” или “Ваклер” запрещена и
преследуется по закону.

Издание осуществлено
при содействии ООО “Эльга”



2002095226

ISBN 966-543-048-3 (серия)
ISBN 5-87983-107-8 (“Рефл-бук”)
ISBN 966-543-079-3 (“Ваклер”)

© Г.Г. Почепцов, 2002
© Из-во “Рефл-бук”, 2002
© Из-во “Ваклер”, 2002

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	9
--------------------------	----------

Часть первая.

ОСНОВЫ СЕМИОТИКИ	11
-------------------------------	-----------

Глава первая. ЭЛЕМЕНТЫ СЕМИОТИКИ	13
---	-----------

Семиотика как научная дисциплина	13
--	----

Символическая действительность	29
--------------------------------------	----

Империи слов как первые варианты информационных империй	39
--	----

Язык и языки	47
--------------------	----

Язык запахов	55
--------------------	----

Язык поз и жестов	65
-------------------------	----

Язык одежды	74
-------------------	----

Язык пищи	86
-----------------	----

Символы в иконическом языке	95
-----------------------------------	----

Глава вторая. ТЕОРИЯ СЕМИОТИКИ	114
---	------------

Семиотика: разные подходы	114
---------------------------------	-----

Предшественники	119
-----------------------	-----

Знак и символ	131
---------------------	-----

Семиотические объекты как явления сферы досуга ...	141
--	-----

Стереотип героя и события	149
---------------------------------	-----

Прикладные аспекты: семиотика и реклама	157
---	-----

Глава третья. ЗНАК И ОБЩЕСТВО	165
--	------------

Знаковое и незнаковое	165
-----------------------------	-----

Семиотические понятия	176
-----------------------------	-----

Сообщение и текст	182
-------------------------	-----

Знак и текст	187
Сказка о Золушке и модели рекламного текста	190
"Грамматики" Хармса, реклама и "Голем" Майринка ..	199
Тело в советской и постсоветской культуре	211
Семиотика государственного переворота	223
Семиотика власти	229

Часть вторая.

СЕМИОТИКА СОВЕТСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Семиотика советской мифологии	245
Безмолвие советских вождей	251
Сталин как семиотик-практик	266
Сталин как строитель коммуникативного дискурса безмолвия	280
"Чапай думать будет" — модель героя сталинского времени	288
Рыцарь vs. секретарь обкома	294
"Краткий курс истории ВКП(б)" vs. "Волга-Волга"	301
"Девушка с веслом" как элемент социалистической эротики	309
"Книга о вкусной и здоровой пище" как феномен публичного дискурса в частной сфере советского времени	314
Рабочий и колхозник: скульптура "Рабочий и колхозница"	323
Мир советских героев	330
"Броня крепка, и танки наши быстры": о знаковости техники	343
Хрущевская "оттепель" — новый коммуникативный дискурс	350
Парадоксы Брежневского дискурса	356
Горбачевская семиотика как порождение неоднозначных сообщений	359
Постсоветская массовая коммуникативная политика	368
Семиотика гласности и перестройки	372
Постсоветский параллелизм (Жириновский как символический брат Ельцина)	383

Теория символического действия в публичной сфере советского и постсоветского времени	386
Анекдот как интерпретатор советского и постсоветского времени	391
Советский язык	397
Семиотические коды социализма	401
Семиотические двойники в истории	413
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	418
ЛИТЕРАТУРА	419

ОБ АВТОРЕ

Почепцов Г. Г., доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой информационной политики Украинской академии государственного управления при Президенте Украины. Автор следующих книг в области теории коммуникации, публич рилейшнз, семиотики: *Коммуникативные аспекты семантики* (Киев, 1987), *Тоталитарный человек. Очерки тоталитарного символизма и мифологии* (Киев, 1994), *Имиджмейкер. Публич рилейшнз для политиков и бизнесменов* (Киев, 1995), *Теорія комунікації* (Київ, 1996), *Национальная безопасность стран переходного периода* (Киев, 1996), *Публич рилейшнз* (Киев, 1996), *Символы в политической рекламе* (Киев, 1997), *Имидж: от фараона до президента* (Киев, 1997), *Имидж и выборы* (Киев, 1997), *Профессия: имиджмейкер* (Киев, 1998), *История русской семиотики до и после 1917 года* (Москва, 1998), *Публич рилейшнз, или как успешно управлять общественным мнением* (Москва, 1998), *Теория и практика коммуникации* (Москва, 1998), *Имиджелогия: теория и практика* (Киев, 1998), *Как становятся президентами. Избирательные технологии XX века* (Киев, 1999), *Профессия: имиджмейкер* (2-е изд. — Киев, 1999), *Теорія комунікації* (2-е изд. — Київ, 1999), *Спиндоктор, который умеет "лечить" события* (Москва, 1999), *Элементы теории коммуникации* (Ровно, 1999), *Вступ до інформаційних війн* (Київ, 1999), *Теория и практика информационных войн* (Ровно, 1999), *Информационные войны. Основы военно-коммуникативных исследований* (Ровно, 1999), *Как ведутся тайные войны* (Ровно, 1999, Харьков, 2000), *Имиджелогия: теория и практика, Имидж и выборы, Информационные войны*. — CD-ROM (Киев, 1999), *Теория и практика коммуникации* (переизд. — Благоевград (Болгария), 1999), *Коммуникативные технологии двадцатого века* (Москва — Киев, 1999, 2000), *Публич рилейшнз для профессионалов* (Москва — Киев, 1999, 2000, 2001), *Паблік рилейшнз* (Київ, 2000), *Информационные войны* (Москва — Киев, 2000), *Психологические войны* (Москва — Киев, 2000), *Имиджелогия* (Москва — Киев, 2000, 2001), *Информационно-психологическая война* (Москва, 2000), *Теория коммуникации* (Москва — Киев, 2001), *Информация и дезинформация* (Киев, 2001), *Русская семиотика* (Москва — Киев, 2001).

Адрес электронной почты автора: posher@yahoo.com

Предисловие

Семиотика как и любая другая научная дисциплина проходит периоды развития и спада, любви и отторжения современников. Период благоприятного развития, когда появились такие фигуры, как Ю. Лотман, Б. Успенский и др., пришелся на не вполне благоприятный контекст советского времени. Как ни странно, но постсоветский период, существующий вне давления цензуры, в то же время не породил того же разнообразия идей и методов.

Семиотика — наука исключительно междисциплинарная, что дает возможность применять наработанные в ней приемы для анализа совершенно разнородных объектов. Первый советский симпозиум по изучению знаковых систем вызвал шок у идеологов, ведь среди объектов, представленных для изучения, оказались крики разносчиков и гадания на картах, то есть объекты, которые изначально находились вне пределов научного внимания. Но именно они представляют особую сложность для изучения, поскольку легче рассматривать то, что изучалось многократно, благодаря чему был накоплен достаточно большой опыт применения исследовательского инструментария.

В данную работу в качестве иллюстративной части автор включил семиотическое исследование советского периода, назвав это «советской семиотикой». Этим автор продолжает свое исследование 1994 года, которое называлось «Тоталитарный человек. Очерки тоталитарного символизма и мифологии» [147]. Теперь «в оправдание» термина «советская цивилизация» можно привести исследование и А. Сивявского [157].

Семиотика временами принимает безграничный характер, охватывая самый широкий круг объектов. Но такая всеядность объясняется тем, что семиотика изучает явления чело-

веческого разума, которые, очевидно, имеют общие структурные принципы, в отличие от объектов неживой природы.

Семиотика задает определенные параметры функционирования социальных систем, которые отличаются от параметров биологического характера. Эти системы адаптированы под возможности человеческого мозга, учитывают его потребности и его интересы. Семиотика в этом плане может рассматриваться как способ заглянуть внутрь человеческого мозга. Она анализирует когнитивные структуры, которыми оперирует человек. Это анализ структурирования действительности с чисто человеческой точки зрения. Каждая наука (например, физика, химия) изучает свой способ структурирования мира и вводит свои элементарные единицы такого структурирования. Семиотика изучает мир с позиции элементарной единицы, которая называется знак.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОСНОВЫ СЕМИОТИКИ

Глава первая

ЭЛЕМЕНТЫ СЕМИОТИКИ

СЕМИОТИКА КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА

Семиотика изучает знаковые системы. Разнообразие знаковых систем мы можем представить уже по многообразию названий исследовательских работ в этой области: семиотика кино, семиотика живописи, семиотика театра, социальная семиотика и т.д. Характерной особенностью всех этих сфер человеческого бытия является необходимость предварительного изучения их норм. Они не являются биологически обусловленными, а возникают в результате социального научения. Наблюдатель со стороны (представитель другого племени, другого народа, другой цивилизации) никогда не сможет понять, к примеру, прием пищи с помощью вилки или ложки, ношение галстука, запрет на пристальный взгляд или проезд на красный свет, как и множество других разрешенных/запрещенных действий, которыми окружило себя человечество.

Знаки как заранее заданные переходы между определенной формой и определенным значением окружают человека повсюду. Цивилизация в своем развитии постоянно наращивает объем знаковых отношений. В качестве выражения приветствия можно сделать обязательным или пожатие рук, или прикосновение носами, но и то и другое будет иметь условное значение.

Знаковые системы задают определенные модели мира, которые позволяют человеку, владеющим ими, осуществлять более эффективное поведение, чем если бы он обходился без них. Следование соответствующим законам знаковой системы одежды может помочь человеку поступить на работу или влиться в коллектив панков. Знаковые системы упорядочи-

вают мир вокруг нас и делают его более предсказуемым. Тартуско-московская школа семиотики во главе с Ю. Лотманом трактовала культуру как генератор знаковых систем.

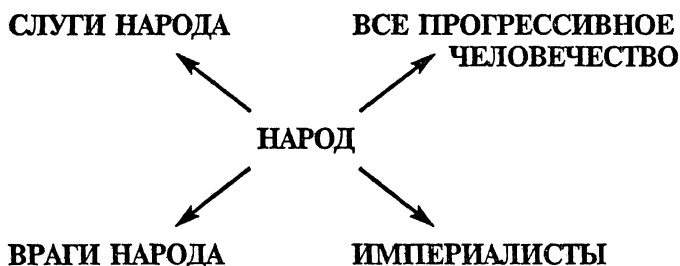
По мнению Ш. Эйзенштадта именно столицы монополизируют производство символических продуктов [205]. А остальным достается роль пассивных потребителей. Только таким образом оказывается возможным создавать единую структуру из точек, разорванных в пространстве и времени. Без обеспечения подобного единства цивилизации не могли бы существовать, в противном случае им будет навязана структура, исходящая от другой цивилизации. В современном мире можно увидеть близкое явление, когда некоторые столицы и транснациональные информационные агентства монополизируют производство новостей, навязывая миру свой способ видения. Новости также являются отражением символической картины мира, принятой в той или иной цивилизации. А цивилизации всегда и везде навязывают свои модели мира другим.

Поскольку семиотика изучает знаковые системы, то в основе ее должны лежать знаки, которые, как мы говорили, определяют сочетание формы и содержания. Когда мы выпишем в один ряд все формы, а в другой — все содержания, то соответствия между ними называются *кодом*. То есть сумма этих способов перехода между формой и содержанием и составляет код. Не может быть одной формы без содержания, поскольку тогда мы будем иметь просто набор абстрактных сочетаний, вроде стеклышек в детском калейдоскопе. Не может быть и одного содержания без формы, поскольку такую неструктурированную массу мы не сможем не только передать кому-то другому, но и сами будем не в состоянии ее понять. Это будет нечто невыразимое, на уровне ощущения, но недостаточно четкое, чтобы сформулировать, что именно. Таким образом, и наше мышление, и наша коммуникация нуждаются в кодах.

Чтобы адекватно функционировать в обществе, человеку необходимо знать множество кодов, а не только код того языка, на котором он разговаривает с детства. Например, коды поведения, в которых записано для мужчин особое отношение к детям, женщинам и старикам. «Молодым везде

у нас дорога, старикам везде у нас почет», — было записано в советской модели мира. Там же возникало и особое отношение к партии («Слава КПСС», «Партия — наш рулевой», «Партия — авангард советского народа»). То есть это свой код, характерный для этой цивилизации, с собственным пониманием «что такое хорошо и что такое плохо».

В рамках семиотической схемы советского времени, абсолютно мифологичной, НАРОД является определяющей категорией, откуда следовали для внутренней среды два типажа: СЛУГИ НАРОДА и ВРАГИ НАРОДА. Во внешней среде существовали ИМПЕРИАЛИСТЫ («воинственные», «американские») и ВСЕ ПРОГРЕССИВНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. Как видим, это чисто бинарный мир, где ВРАГИ НАРОДА связаны тайными нитями с ИМПЕРИАЛИСТАМИ, что можно изобразить следующим образом:



Данная советская схема в новой постсоветской действительности оказалась разрушенной только частично. Если раньше СЛУГИ НАРОДА настойчиво подчеркивали свое рабоче-крестьянское происхождение, а ВРАГИ НАРОДА были связаны своим происхождением, то сегодня эти линии смешались. Возник повышенный интерес к дворянскому происхождению, лидеры некоторых бывших республик ведут свое начало от байских юрт и т.д.

Смена лозунга с «Вперед к победе коммунизма» на «Вперед к победе капитализма» вызвала к деятельности новый тип субъекта, не поддающийся классификации. С одной стороны, этот субъект обозначается как «новый русский», порождая бесконечное количество анекдотов. Приняв его как объект для высмеивания, массовое сознание таким об-

разом компенсирует свое недовольство его существованием. Но это эмоциональный подход. В то же время политологи в своем более рациональном подходе обозначают этот субъект как угрожающий и негативный, называя его «олигархом». То есть новый субъект обладает амбивалентной природой. Он существует одновременно и как объект для высмеивания, и как объект для запугивания.

При этом точное выполнение кода практически незаметно для его носителей и лишь его нарушение может остановить их внимание. Характерный пример: когда человек ест ножом и вилкой, никто на это не обратит внимания, но если он начнет есть руками, это привлечет внимание всех. В другой культуре все может быть как раз наоборот.

Знак задает один из возможных альтернативных вариантов соответствия формы и содержания, отсюда его принципиальная не биологичность, а социальность, поскольку нет единственно верного сочетания формы и содержания. Если в рамках русской культуры «нет» и «да» могут выражаться на языке мимики одним способом, то болгары применяют для этого противоположный вариант.

Отсюда следуют две существенные черты знаков:

- знаки имеют альтернативную форму, но могут совпадать на уровне содержания,
- знаки — системны, нет систем, состоящих из одного знака.

При использовании в анализе семиотического подхода мы наблюдаем столкновение разных кодов. Это может быть заложено в самой природе объекта исследования, как сочетающего в себе возможность присутствия двух кодов. Ведь недаром, например, Умберто Эко относит ложь к объектам семиотики. В таком случае мы прослеживаем столкновение двух норм — речи правдивой и неправдивой.

В целом, только столкновение кодов может проявить семиотический объект, поскольку наличие лишь одного кода не дает возможности рассматривать его как условный вариант связи между формой и содержанием. В этом случае перед нами просто закон природы, который не допускает двузначного толкования.

Столкновение двух кодов, характерная черта советской системы, — это пересечение официальных и неофициальных идеологем. В периоды ужесточения ситуации (внешней или внутренней) неофициальный код упрощался, зато пышно расцветала официальная интерпретация событий. Хрущевская оттепель разрешила существование неофициального кода в зачаточном состоянии. Вяч. Вс. Иванов определяет это как возвращение к стихии устности в период политических преследований в стране [69, с. 571].

В целом, человеческая цивилизация препятствует пересечению разных кодов: люди разных профессий отделены разным кругом общения и разными каналами реализации своего творчества. Мы наблюдаем не только существенное разделение мира «физиков» и мира «лириков», внутри каждого из этих миров имеются свои средства, блокирующие переходы от одной сферы к другой. В этом плане семиотика выступает как инициатор иного построения мира, в котором эти пересечения приветствуются и поддерживаются. В свое время «формалисты» отмечали, что они общались с кругом журнала «Аполлон», сориентированным на анализ изобразительных произведений, то есть произошло неформальное пересечение исследователей вербального и визуального планов коммуникации. Вспомним пьесы Е. Шварца, где всегда присутствует второй план, иногда реализуемый в дубль-герое, как это было в пьесе «Тень».

Из этих рассуждений становится понятным внимание к структурным аспектам произведений, поскольку именно они служат отличительным признаком на пути от хаоса к упорядоченности. Человеческий мозг, вероятно, пользуется одними структурными параметрами, применяя их в разных областях знания. Возможно, это даже не свойства самих объектов, а характерная особенность мозга человека.

Семиотика отражает ту модель мира, которая в основополагающей степени задана свойствами канала коммуникации. Семиотика, по сути, изучает все возможные системы воздействия на человека. Наиболее распространенный тип подхода задается особенностями канала коммуникации, отсюда следуют работы типа: семиотика кино или семиотика живописи и т.д. В каждом канале образуются свои типы

знаков (свой тип соотношения знаков и действительности) и свои законы сочетаемости данных знаков, т.е. принципиально свой тип «грамматики».

В качестве объектов для исследования семиотику интересуют интенсивные коммуникативные процессы с активным акцентом на форме. Повышенное внимание к форме, а не к содержанию, можно объяснить тем, что содержание по своему возможному разнообразию стремится к бесконечности, в то время как форма, несомненно, конечна. Подобное сочетание содержания и формы говорит о возможных когнитивных структурах человека. Структурированностью содержания с точки зрения переработки информации человеком занимается *когнитивная семиотика*.

Семиотику можно рассматривать в двух возможных аспектах: *структурном* и *коммуникативном*. В первом случае семиотическое исследование рассматривает процесс движения от формы к содержанию, тем самым на первый план выходят формальные, структурные аспекты. Во втором случае изучается направление движения от содержания к форме, повторяя путь порождения сообщений человеком.

Еще один аспект семиотики получил название *социального*, в нем идет речь о разнообразных контекстах функционирования знаков, используемых в обществе. Социальная семиотика достаточно хорошо разработана на Западе (например, работы Дж. Фиске, Р. Ходжа, Г. Кресса), в то время как структурная семиотика серьезным образом исследовалась в бывшем СССР (например, работы Ю. Лотмана). Структурная семиотика в этом плане выглядит как более «рафинированная», поскольку она избегает конкретных контекстов функционирования знаков. Социальная семиотика оказывается в более сложном положении, так как требует анализа чисто бытовых контекстов человека, слабо приспособленных для привлечения научных методов. Мы просто не привыкли смотреть на них с научной точки зрения. Дж. Фиске, например, пытался анализировать джинсы в качестве знакового элемента.

Можно ввести также понятие *суперзнака* как объединение ряда однотипных знаков. Например, Ролан Барт, анализируя фильм «Юлий Цезарь», подчеркивает, что все актеры имеют

одну черту «римскости» — челку: «Начесанная на лоб прядь волос подавляет своей очевидностью — не остается никакого сомнения, что мы в Древнем Риме» [18, с.73]. Суперзнаком в таком случае мы будем считать понятие «римскости», которое реализовалось в данном фильме в виде челки.

В бывшем Советском Союзе: Москве, Ленинграде, Тарту, проводились интенсивные семиотические исследования. Тартуский университет издавал под руководством профессора Юрия Лотмана «Труды по знаковым системам», которые, несмотря на маленький тираж, попадали во все университетские центры. Семиотика тогда была в достаточной степени модной дисциплиной, привлекавшей к себе неординарные умы. Эти исследования сразу же переводились на многие языки, поскольку семиотика была чуть ли не единственной гуманитарной дисциплиной, которая развивалась в СССР на уровне, опережающем западный.

В настоящее время семиотика оказалась более европейской, чем американской наукой. Возможно, это связано с ее недостаточно прикладным характером, что не приветствуется на американском континенте, хотя следует признать, что «холодная война», которую Соединенные Штаты вели против СССР, как раз и была войной символов, знаков.

Это столкновение шло посредством разрушения героики. Советская героика была более абиологичной, чем американская, где присутствует набор типа «мой дом — моя крепость» или постулируется возможность для каждого стать миллионером. Подобные мифологемы по сути своей выгодны для индивидуума, советские мифологемы были выгодны для государства: они были более социально сориентированными. И Павлик Морозов, и Зоя Космодемьянская действовали вразрез с биологическими интересами выживания особи. То есть суперзнак *патриотизм* всегда реализовался в рамках советской мифологии через жертвование. Подвиг Гастелло — это сознательная жертва, совершаемая ради социального блага в ущерб индивидуальному. Павка Корчагин строит узкоколейку не для личного выигрыша. Затем все эти символические герои (а их следовало ввести, поскольку СССР не мог пользоваться символикой царской России) подверглись существенной эрозии. Уйдя в область идеоло-

гии, они перестали быть реальными. Разрушение советских символов привело к постепенному разрушению и бывшего СССР. Все это говорит о присутствии в рамках семиотики существенного практического компонента. С. Кургинян говорил о холодной войне как о войне символической.

Семиотика также может помочь в качественном анализе новостей. В телевизионных новостях наблюдается столкновение двух мифологий: мифология институций, при том, что они сильны, полны решимости, обладают возможностями и т.д., подается как неэффективная, в то время как мифология индивида всегда эффективна, реальна, адекватна. «Человек может поступать адекватно, даже когда он является солдатом армии, которая подается как неадекватная и неспособная справиться с задачами» [236, р. 91]. Интересно, что подобную двойную модель мы наблюдаем на постсоветском пространстве при подаче информации о президенте vs. премьере, президенте vs. парламенте, когда первый элемент трактуется как более правильный, чем второй.

Дж. Бигнел попытался проанализировать новости в семиотическом ракурсе [220]. Мифология новостей подразумевает, что общество живет в согласии. Любые варианты диссидентства (преступники, протестанты, террористы и т.д.) помещаются в контекст насилия. «Новости задают мистическую норму, в соответствии с которой измеряются беспорядок и разрушение» [220, р. 127]. К этому примеру можно добавить типичные выборы на территории СНГ, где всегда оппоненты власти подаются именно в таком ключе.

Дж. Фиске предложил также интересный анализ явлений массовой культуры [234]. Следует подчеркнуть, что объекты такого рода гораздо сложнее поддаются анализу из-за их обыденного характера. В то же время Дж. Фиске анализирует такие разноплановые явления, как джинсы или Мадонна. В последнем случае он считает, что Мадонна не отражается ни в одном из своих продуктов творчества полностью (ролик, обложка и т.д.). В случае массовой культуры акцент смещается от текста, сообщения, художника к исполнителю. Массовая культура характеризуется повторяемостью и сериальностью. Вероятно, в связи с тем, что суть массовой культуры смещена к исполнителю.

У. Эко считал, что массовая литература создается как писателем, так и читателем, в отличие от литературы «высокой». Это смещение в сторону потребителя информации как раз и создает акцент на том, кто ему ближе — это несомненно исполнитель, а не автор. Происходило смещение от главного компонента элитарной литературы — сцепки «автор — текст», к компоненту массового искусства: «исполнитель — зритель». То есть в коммуникативной цепочке элитарная и массовая культура акцентируют разные составляющие, что можно представить в следующем виде:

Высокая культура		Массовая культура	
автор	текст	исполнитель	зритель

Дж. Фиске вообще трактует массовую культуру как отрицание культуры доминирующей: «популярная культура создается в условиях подчинения» [234, р. 46]. Насилие выступает конкретным проявлением социального доминирования и подчинения. Злодей в своем конфликте, изображаемом массовой культурой, выигрывает всегда все битвы, кроме последней.

Как видим, семиотика не отгораживается от обыденных объектов, и включает их в свое изучение, что является весьма хорошим признаком, поскольку классическая наука всегда стремится исключительно к изучению апробированных временем объектов, тем самым теряя огромный пласт объектов, оказывающих влияние на современников. Однако подобные объекты неизбежно опять вводятся в научное исследование.

Развитие семиотики началось с работ двух выдающихся личностей: на европейском континенте это был Фердинанд де Соссюр, на американском — Чарльз Пирс. «Курс общей лингвистики» Фердинанда де Соссюра (кстати, эту книгу он не писал, она воссоздана по материалам студенческих конспектов прочитанных им лекций) задал парадигму гуманитарной мысли в этом столетии, в первую очередь это касается лингвистики. Соссюр рассматривал лингвистику как часть семиотики, изучающую знаки языка.

Современный исследователь семиотики Карл Аймермахер предложил свой взгляд на соотношение семиотики и частных наук:

«Семиотика действительно больше занимается общими основами статуса знака, знакообразования и элементарных знаковых процессов, в то время как частные науки анализируют специфические свойства своего предмета. Частные науки отказываются от слишком общей формулировки своих результатов, отличаясь от семиотики и в этом отношении. Помимо этого, похоже, действует правило, пока результаты частных наук не сформулированы на языке семиотики или, по крайней мере, не могут быть проинтерпретированы на этом языке, они оказываются для семиотики иррелевантными либо не достаточно «систематичными», чтобы они могли их принять» [5, с. 72].

То есть семиотика смещается в сторону общих закономерностей знаков и знаковых процессов. Но, по сути, семиотика «покорила» всех именно благодаря своему универсализму, она выступила чем-то сродни общей теории систем, начала которой были заложены биологом Л. Бераланфи. С русской стороны нечто сходное развивал А. Богданов в своей «Тектологии».

Юрий Лотман предлагал различать естественные и искусственные языки по наличию/отсутствию в них неоднозначности. Естественный язык принципиально многозначен. Искусственный язык не может этого допустить, например, в языке светофора невозможно представить себе, что красный свет будет значить то одно, то другое. Многозначность естественного языка позволяет порождать на нем столь же многозначные тексты художественной литературы. Именно на этом строится возможность их многократного прочтения, в то же время трудно себе представить человека, который бы восхищался слогом таблички «не влезай — убьет» или инструкцией по эксплуатации утюга.

Многозначный текст, позволяющий множество прочтений, обладает большими возможностями для своего функционирования, поскольку каждый читатель может брать из него то, что значимо именно для него. Таким образом, это более универсальный тип текста, удовлетворяющий разнообразные запросы, а не один вариант.

Об этом же пишет Умберто Эко: «Сообщение с эстетической функцией оказывается неоднозначным прежде всего по отношению к той системе ожиданий, которая и есть код» [211, с. 79]. По сути перед нами возникает совершенно новый тип объекта, ведь неоднозначность всегда воспринималась нами в качестве отрицательной характеристики, а семиотика в данном случае видит в подобной организации существенный позитив.

Вероятно, это связано с определенным процессным характером художественных объектов. Неоднозначность побуждает искать одну интерпретацию из ряда возможных. Но и чтение самого элементарного объекта с позиции эстетики — детектива — также осуществляется ради эффекта присутствия, в противном случае читатель бы сразу смотрел на последней странице имя убийцы и тем самым завершил процесс чтения.

И еще одно замечание: обычно в условиях неопределенности мы начинаем следовать одному из стереотипных решений, что также позволяет «контролировать» потенциальные реакции читателя, направляя его по нужному руслу, хотя делается это как бы вне контроля нашего сознания.

Неоднозначность, неопределенность в привычном понимании особенно значима в условиях визуальных знаков. И У. Эко [211, с. 137], и П. Пазолини подчеркивают отсутствие заранее заданного кода в случае визуального знака. Если в вербальном тексте используются готовые знаки, то в случае визуального текста эти знаки следует предварительно создать. Как пишет П. Пазолини: «Если деятельность писателя — это чисто художественное творчество, то деятельность автора фильма — творчество вначале лингвистическое, а уже потом художественное» [131, с. 48]. У. Эко считает иконические коды «слабыми», иконический знак соответствует не слову, а целому высказыванию, поэтому его трудно разложить на составляющие [210, с. 85].

При этом необходимо отметить, что потеря неоднозначности сразу вызывает определенную потерю эстетического характера. Можно привести следующий пример: в случае экранизации романа читатель часто бывает разочарован, поскольку визуальные образы героев начинают расходиться-

ся с его собственными представлениями. В первом случае он руководствуется своим представлением, во втором — ему диктует их режиссер, что, без сомнения приводит к разночтениям.

Неоднозначность может возникать также по причине того, что чем сложнее текст (чем он индивидуальнее), тем большая вероятность того, что роль речи, а не языка (в смысле Соссюра) будет возрастать. Отсюда языки кино определяют-ся как языки без предварительно существующих кодов.

Вероятно, естественный язык можно трактовать как *жесткий вариант*, где заранее известны определенные формальные механизмы, языки искусства выглядят на его фоне *мягкими вариантами*, другими словами, перед нами возникают мягкие и жесткие коды. При этом на уровне содержания эта «заданность» системой стирается, она сохраняется только на уровне формы. Коды определяют этот инструментарий, работа семиотика заключается в декодировании кодов.

Визуальный знак (не архитектурный) несет в себе дополнительную характеристику — подобие: считается, что рисунок должен быть похожим на изображаемый объект. Возможно, это и вступает в противоречие с требованиями жесткого кода о наличии элементарных единиц. Э. Гомбрих отмечает, например, малую вероятность подобия в случае, например, картин П. Пикассо [240]. Правда, можно возразить, что данная художественная школа вводит именно такой инструментарий подобия, другой вопрос, как и кому этот тип подобия может нравиться.

М. Майенова подчеркивает то, что с помощью иконических знаков нельзя выражать сомнения [246]. Возможно, мы и найдем исключения из этого правила, но нам представляется, что они не снимут принципиальной правоты этого замечания. Здесь снова на первый план выступает характеристика подобия, которое и предполагает существование объекта.

Иконические знаки как бы постоянно нарушают «классификационную красоту», создаваемую для знаков вербальных. По-видимому, мы и не должны стремиться смотреть на знаковый универсум с одной точки зрения, поскольку реально это приведет не к улучшению теории знаков, а к ее

ослаблению, поскольку подобные обобщения вступят в противоречие с самой сутью исследуемых объектов.

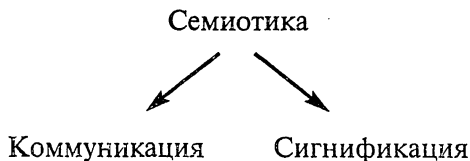
Джон Фиске разделяет семиотику на следующие три сферы:

- знак сам по себе;
- коды или системы, в которые организуются знаки;
- культура, в рамках которой реализуются эти коды [233, р. 40].

Рассматривая элементарную знаковую систему, представленную светофором, он подчеркивает, что знак «красный свет» в рамках культуры является привычным обозначением опасности, это символ крови и т.д. Можно добавить, что «зеленый» — по мнению психологов — самый успокаивающий цвет, цвет растительности — основы жизни.

Умберто Эко видит в составе общей семиотики теорию кодов и теорию производства знаков [230]. Он выделяет два раздела семиотики: семиотику сигнификации и семиотику коммуникации. При этом семиотика сигнификации независима от семиотики коммуникации, в то время как семиотика коммуникации невозможна без семиотики сигнификации. Дж. Куллер также задается вопросом: что первично для семиотики — коммуникация или сигнификация? [227] У него также есть очень верное замечание по поводу структурализма, поскольку последний предпочел изучение кодов, пренебрегая коммуникацией.

Перед нами возникают два в достаточной степени «прозрачных» аспекта семиотики:



Теория знаков практически всегда опирается на теорию коммуникаций. Теоретически мы можем представить себе ситуацию создания знаков только со стороны Говорящего при отсутствии Слушающего. Но такая система носит весьма условный характер. Функционирующая система предполагает включение всех компонентов.

Где возможна эстетизация — на уровне коммуникации или сигнификации? Соответственно, где задаются основы для построения художественной коммуникации? В результате сигнификации мы имеем знак, в результате коммуникации — сообщение. Вербальные структуры сориентированы на сообщение. Семиотика хорошо проявляет себя при анализе текстов. Иконическая коммуникация начинает обладать эстетизацией на более низком уровне — уже на уровне знаков. И это понятно: на этом уровне у создателя знаков нет обязательного репертуара. По этой причине знаки могут иметь творческий характер, поскольку присутствует альтернативность.

При соединении вербального и визуального сообщений происходит их определенное наложение. Пример: подпись под картиной или рекламой. Р. Барт подчеркивал, что вербальное сообщение препятствует возможности многозначных прочтений визуального сообщения. Косвенно это служит еще одним доказательством того, что визуальное сообщение слабее ограничивается заранее заданным кодом. Можно постулировать еще одно важное правило, задающее разницу вербальных и визуальных кодов. Вербальные коды сохраняются неизменными, а визуальные коды каждый раз меняются. Создание слова для писателя редкость, создание своего варианта знака для художника — норма.

Цветан Тодоров выводит начало западной семиотики от Бл. Августина, определяя роль семиотики в исследовании в двух случаях: а) целью является познание, а не поэтическая красота, б) объектом семиотики являются разные виды знаков, а не только слова [168, с. 3]. Подчеркнем важность последнего признака, ибо отсюда следует междисциплинарность семиотики. Немецкий исследователь русской семиотики К. Аймермахер эту же характеристику в несколько ином ракурсе относит к позитивным результатам развития семиотики в бывшем СССР:

«Одно из величайших достижений семиотики в России заключается в том, что она, опираясь на семиотические категории и гипотезы, обнаружила связь между элементарными и сложными структурами в предметных областях самых различных научных дисциплин и соединила аналитические

исследования с гипотетическими построениями, направленными на синтез их результатов» [5, с. 209—210].

У. Эко разграничивает семиологию как общую науку от частных семиотик. Семиологию он задает как «общую теорию исследования феноменов коммуникации, рассматриваемых как построение сообщений на основе конвенциональных кодов, или знаковых систем, и мы будем именовать «семиотиками» отдельные системы знаков в той мере, в какой они отдельны и, стало быть, формализованы» [211, с. 386]. Интересно, что и подобное выделение в отдельный разряд разнообразных семиотик косвенно выдает междисциплинарный характер данного подхода.

Правда, Карл Аймермахер называет определенный период русской семиотики *дескриптивным* именно из-за задействованности разных вариантов инструментария.

«Сформулированные в 1961—62 гг. соображения показывают, что особый, “русский путь” в семиотике, отличный от прежних и последующих западноевропейских семиотических традиций (носивших явную печать философии, психологии, лингвистики и т.д.), с самого начала отличался тем, что при формировании этого направления в него вошли методологические размышления и результаты исследований очень разных научных дисциплин, так что первоначально советская семиотика носила не столько теоретический, сколько дескриптивный характер» [5, с. 153].

В упрощенном виде это можно представить как применение методов одной науки к объектам другой, что несомненно обладает новизной. Тут следует добавить также чисто субъективные факторы: в определенный период своей истории советская семиотика должна была, чтобы сохраниться и выжить, «прятаться» под крыло кибернетики благодаря помощи академиков А. Берга, А. Колмогорова и др.

К. Леви-Строс также подчеркивал междисциплинарность семиотики:

«Для семиологических наук, к числу которых относится и социальная антропология, конвергенция научных перспектив имеет живительный характер, поскольку знаки и символы могут играть свою роль лишь в той степени, в какой они принадлежат системам, управляемым внутренними за-

конами вовлечения и устранения; и поскольку знаковой системе свойственна трансформируемость, иначе говоря, переводимость, посредством замещений на язык другой системы» [98, с. 371].

Получается, что мы можем постулировать следующее правило: *знаковая система видна только с позиций другой знаковой системы.*

Можно предложить еще одно объяснение междисциплинарности семиотики: человеческий разум порождает один тип структурности во всех объектах творческого, гуманитарного порядка. Таково свойство работы человеческого мозга. Различного рода физические теории, например, уже определены не только мозгом человека, но и объектами иной природы. Кстати, К. Метц смотрит на кино с еще более человеческих позиций, применяя в качестве точки отсчета психоанализ [248].

В этой же плоскости, вероятно, следует искать ответ на вопрос, возникающий в исследованиях по семиотике: случайно ли наблюдаются совпадения между структурализмом и семиотикой? К. Аймермахер подчеркивая, что структурализм в лингвистике оказал серьезное влияние на семиотические исследования [5, с. 73], все же разделяет структурализм и семиотику.

Мы должны также обратить внимание на то, что межкодовые переходы, значимые для семиотики, всегда являются и межструктурными переходами. Ю. Лотман в свое время писал о непереводаемом остатке между текстами, созданными в рамках разных каналов коммуникации (например, когда по роману ставится балет). Но из этого следует, что все остальное более или менее адекватно перекодируется. То есть наблюдается высокая степень структурного подобия гуманитарных объектов.

Другой источник этого подобия можно найти в концепции Фиске и Хартли, которые при анализе телевидения говорят о перекодировке абстрактных идей в материальную форму не только в случае религиозного ритуала, но и для теледрамы. Эту функцию они называют *ритуальной конденсацией*. В качестве примера подобного феномена из советской практики можно привести первомайскую демонстрацию, где

символизировались идеи мира и дружбы, приоритетности рабочего класса и т.д. В этом случае усиление структурности (упорядоченности) возникает за счет известной всем вне данного ритуала символики. Структурность порождается не одной структурой, а двумя, что создает пограничье между ними. Это также должно объяснить нам существенную «чувствительность» семиотики к структурному аспекту.

Человек, с одной стороны, порождает структурность в создаваемых им объектах, что отражается в преобладании структурности в объектах гуманитарных наук, в противном случае они бы рассматривались нами как хаотические и неупорядоченные (к примеру, лес в отличие от парка). С другой стороны, человек видит структурность даже там, где ее по сути и нет (как показывают, к примеру, тесты Роршаха). Х. Олкер попытался применить нарративные методологии В. Проппа и др. к анализу событий мировой истории [217]. Это расширяет возможности такой методологии. В то же время существует мнение, что связь семиотики только с сильными структурами оставит за ее бортом множество иных феноменов, где структурность носит слабо выраженный характер [257].

С развитием человечества возрастает степень семиотичности (символичности) окружающего его мира. Возникновение таких мощных каналов порождения знаковости как телевидение резко увеличило масштабы этих процессов. Человек все более окружает себя виртуальным миром, носящим принципиально знаковый характер. Он лучше знает подробности жизни виртуальных героев, чем своих соседей по дому. На этих тенденциях строятся различные футурологические прогнозы, в частности Элвином Тоффлером [173, 263]. Возрастание в окружающем человека мире роли знаковости ведет к повышению значения семиотики.

СИМВОЛИЧЕСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Мы обращаем внимание на чужое. Своя символика всегда выглядит естественной и потому часто не замечается. Борис Поршнев вообще считал, что разнообразие языков

возникло из желания обособиться. Разделенные географически социальные группы стремились иметь язык, понятный для своих и непонятный для чужих. Последнее требование и вело к дроблению и изменению языков. И сегодняшний носитель языка даже не может себе представить, что и русский, и английский, и немецкий, и многие другие происходят от одного языка-предка. Мы и сегодня сталкиваемся с социальными группами, которые создают свои языки, например, воровской аргот должен быть понятен «им» и непонятен «нам», молодежный жаргон отделяет «их» от старших поколений. Для того, чтобы зафиксировать знак или символ, очень важна позиция **ВНЕШНЕГО НАБЛЮДАТЕЛЯ**. Для нас естественно сидеть лицом к говорящему, говорить, глядя на собеседника. У некоторых народов нельзя смотреть прямо в глаза старшему, поскольку это рассматривается как признак неуважения. Скажем, армянская женщина при обращении к собеседнику должна была прикрывать свой рот.

Мы живем в символическом мире, где каждое реальное физическое действие может иметь символический смысл. Смотреть прямо в глаза — это признак искренности. Или: не бегать глазами при разговоре. Преподнести хлеб-соль при встрече высокого гостя. Встать при появлении женщины и так далее. Это все — символическое поведение, пришедшее из прошлого. Но мы активно пользуемся сегодня **ЗАКОНОМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ СИМВОЛОВ**: известная сила, красота, мощь (в зависимости от того, что нам нужно) одного объекта переносится на другой. Так, Китай использует ядерную бомбу как символ. Выборы в России стимулировали привлечение в партии большого числа известных актеров. Знаменитые актеры играли важную роль и в президентских выборах в США в 2000 году.

А. Гор на выборах 2000 г. взял кандидатом в вице-президенты сенатора Либермана, чтобы «захватить» еврейское население США.

Перед нами в действии тот же самый закон продажи рекламного продукта. Если у вас есть сто видов стирального порошка, то различить их могут только специалисты, и то, в лучшем случае. Потребитель практически не различа-

ет, что и подтвердили многочисленные эксперименты: женщины — тип порошка, мужчины — тип сигарет, пива. Но мы все равно покупаем свое любимое. Откуда же оно берется? Продукт нам можно продать только за счет того СИМВОЛИЧЕСКОГО ОБРАЗА, который в него вносится, иными словами, его ИМИДЖА. «Кэмел» рекламирует свои сигареты одним способом, «Лаки Страйк» — другим. То есть, в наборе ОБЪЕКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ + СУБЪЕКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ мы покупаем, в первую очередь, субъективные. В результате шоколад «Wis-ra» трансформируется в совершенно нешоколадный образ «Делай то, что хочешь», а реклама стирального порошка «Тайд» вообще становится непонятной для нас, поскольку звучит «Чисто тайд». Она понятна только англоязычному человеку, ведь tide — значит волна, море, прилив, то есть явные водные ассоциации, причем воды открытой, «дикой». Но сказав по-русски «чисто тайд», добиться успеха возможно лишь за счет загадочности.

Символический ореол можно создать вокруг всего. Например, вокруг автомобиля. Мэр Будапешта Габор Демски предложил ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для 2 миллионов жителей, если они откажутся от использования высокотоксичных «Трабантов» и «Вартбургов». Однако поддержали его лишь три тысячи горожан. «Многие венгры рассматривают свои автомобили как символ вновь обретенной свободы», — передает слова одного из городских руководителей газета «Зеркало недели» (1995, 9—15 сент.).

Американцы «продают» своих президентов в соответствии с рекламной методикой продажи товара. Если в Англии функции символа нации и главы государства разведены между королевой и премьером, то в Америке и символ, и глава сконцентрированы в одном лице — президенте. Каждый раз выбирается какой-то символический продукт. В случае Рейгана Америка голосовала за добрые, старые времена. В случае Клинтона Америка шла к символу перемен.

«Символ нации» не может дирижировать оркестром, что признал даже шеф протокола президента России, который, отвечая на вопрос «Вас это не удивило?», сказал: «Да, немножко удивило. Может быть, восторга при этом никто не испытывал. Я как шеф протокола попал в слегка неловкое

положение. Но как только был сделан намек (“Борис Николаевич, поспокойнее. Без эмоций”), все прекратилось. А эмоции у него как бы выплеснулись под впечатлением увиденного» («Комсомольская правда», 1995, 22 сент.).

Символом в политике может стать ... даже столб. Вот как описывает одну ситуацию Станислав Шушкевич: «Ваш президент заявляет: ликвидируем границу между Россией и Беларусью, и выкапывает с Чернобырдиным столб. Но границы-то нет! Не было демаркации и демилитаризации, т.е. четкого определения, описания и обозначения, где она проходит. Не понимаю, почему Чернобырдин на это пошел — выкапывать столб, который вчера вкопали для обозначения этой «границы». Зато называется «политический акт!»» («Всеукраинские ведомости», 1995, 13 сент.). Правда, сам Чернобырдин вынес из визита в Беларусь только одно: «Меня никто давно не называл Витей».

Символ ИДЕАЛИЗИРУЕТ ситуацию. Так, индивидуализации Ла Тойи Джексон помогает... фуражка, в которой она появляется везде, поясняя это так: «Мне нравятся фуражки, я их покупаю везде, где бываю. У меня их много. Просто сюда с собой взяла только две, вот в одной из них вы меня постоянно и видите» («Всеукраинские ведомости», 1995, 16 сент.).

При отсутствии своего символа его пытаются обрести во что бы то ни стало. В американской комедии «Уважаемый джентльмен» на место умершего сенатора Джексона проходит совсем другой человек, его однофамилец, поскольку избиратели привычно голосуют за Джексона.

Символ должен соответствовать ожиданиям избирателей, а не просто нравиться вам самим. Один из имиджмейкеров в программе «Воскресенье» (ОРТ, 24 сентября 1995 года) упомянул о существовании 85 параметров, по которым они контролируют внешность, внешнее поведение будущего кандидата, в соответствии с ожиданиями не его самого, а какой-нибудь тети Маши, жительницы данной местности.

Мы видим, что и в случае стирального порошка, и в случае кандидата в президенты действует один и тот же закон: продаются в первую очередь имиджевые характеристики объекта, а не его реальные свойства. Это хорошо пони-

мали создатели тоталитарных государств. Как пишут современные исследователи:

«Гebbельс хорошо знал, что содержание пропаганды в терминах логической рациональности, внутренней непротиворечивости аргументов было гораздо менее важным, чем психологическая реальность того, что именно хотела услышать или в чем нуждалась его аудитория» [241, р. 7].

То есть хороший — с точки зрения аудитории — это красивый, симпатичный, авторитетный и т.д. Клинтон получил 43 процента голосов, 56 процентов из них принадлежали женщинам! В то же время об имидже своей страны за рубежом американцы говорят как о «спутанном, противоречивом и неудовлетворительном» [241, р. 210–211].

Для западного общества характерно и более спокойное отношение к негативу в виде карикатур. Если прокуратура России в свое время завела уголовное дело на передачу «Куклы», то на Западе, например, во Франции и Великобритании, такие передачи вполне живучи. В открытии выставки карикатур может участвовать португальский президент Мариу Суареш и непосредственно любоваться множеством своих изображений. Премьер-министр Бельгии Жан-Люк Деан даже коллекционирует карикатуры на свою персону.

Свой список отрицательных качеств мужчины дает актриса Анастасия Вертинская (обратите внимание на то, что это также и ее ответ на вопрос «Какие качества Вы больше всего цените в мужчинах?»): «Во-первых, умение молчать, никогда не спорить и не настаивать на своем. Снимать при входе сапоги. Желательно самому, а также хорошо бы и даме... Не включать громко музыку, когда я неважно себя чувствую или учу роль... Что еще? Не требовать обеда, когда его нет, ну и т.д. Не ныть, не напрашиваться в гости, куда я собираюсь пойти одна... Тогда за это его можно еще и пожалеть. А жалость — это ведь и есть любовь» («Всеукраинские ведомости», 1995, 13 сент.).

Из вышесказанного можем сделать ряд существенных выводов. Мы живем в таком же символическом мире, как и наши предки, и в не меньшей степени зависим от него. В нем раздаются награды и поощрительные улыбки. И практически именно в нем прекрасно чувствуют себя рек-

лама и паблик рилейшнз, поскольку в первую очередь продают СИМВОЛИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ. Взрослые курят, чтобы казаться моложе, молодые — чтобы казаться старше. Таков символ, связанный с курением. Вспомним рекламу медицинских препаратов, которую выдает с экрана некто в белом халате, символизируя авторитетность и ученость медицинского мира.

Есть четкие географические символы. Уолл-Стрит и Белый дом входят в символику Америки, а Красная площадь и Кремль описывают Россию. В отличие от них символика такого рода еще не наработана Украиной. Вряд ли следует признать интересным эксплуатацию имиджа сала, как это было сделано в новостийном предновогоднем сюжете НТВ (1998, 31 дек.), или обращение к идеализированным временам Гоголя в новогоднем сюжете «Вечера на хуторе близ Диканьки» (ОРТ-Интер, 2002, 1 янв.)

Есть такие же четкие графические символы. К ним относится пятиконечная звезда для СССР. Гитлер заимствовал свастику еще и потому, что ее легко можно было писать даже на пыльных стеклах автомобилей. Трезубец стал четким символом независимой Украины. Россия вернулась к старому двуглавному орлу в качестве своего герба.

Приведем некоторые примеры символизаций по существующим словарям символов.

РОЗА — «Отношение белой розы к красной соответствует отношению двух цветов, как это установлено в алхимии. Голубая роза является символом невозможного. Золотая роза — символ абсолютного успеха» [80, с. 440].

КОСА — «Со времен средневековья общеевропейский атрибут смерти. Рыцарь с косой или старуха с косой означали аллегория смерти. Аналогичное положение существовало и в России. По этой причине коса не вошла в число орудий труда, которые были использованы для советской эмблематики, хотя на протяжении 1918—1921 годов некоторые художники, например Сергей Герасимов, пытались ввести косу как эмблему крестьянского труда» [143, с. 104].

КРЕСТ — «Символизирует объединение противоречий, преодоление дуалистического взгляда на мир, который стал уделом человека с той поры, как он был изгнан из рая. Горизонтальная линия креста — женский аспект, земля, мате-

рия, вертикальная же — мужской аспект, творческое начало, небо и дух. Это противоречие может быть понято и как единство времени, символом которого является горизонтальная линия, и вечности, представленной вертикалью, причем вечность может пересекать время в любой точке» [22, с. 185—186].

Мы проиллюстрировали некоторые символы, которые дошли до нас сквозь века. Другие же символы, наоборот, умирают, не выдержав испытания временем. Так это произошло с массовой символикой советского периода. Но самое удивительное то, что одновременно исчез и «антисоветский символизм». Так, диссиденты во многом утратили тот ореол, которым они были окружены в прошлой системе. Они одновременно как бы являлись символом той системы и теперь не могут найти себе применения. Так случилось с Александром Солженицыным. Телебеседы его оказались вне интересов огромного большинства населения и вещает он как бы в телевизионном вакууме. «Назовем вещи своими именами, — пишет Константин Кедров. — У большого писателя и великого политика сейчас кризис. Кризис и в творчестве, и в политике. Это очень мучительно для такой деятельной натуры, но помочь здесь никто не в силах: ни земство, ни Дума, ни президент, ни тем более мы, грешные, и без того оглохшие от политической трескотни пигмеев, и в подметки не годных Александру Исаевичу» («Известия», 1995, 20 сент.).

Символ в соответствии с «Полным православным богословским энциклопедическим словарем» [141, с. 2056—2057] значил у греков совместное бросание чего-либо, например, сети рыбаками. И позже он стал означать определенный естественный знак, имеющий тайный смысл для отдельной группы лиц. Соответственно символически трактуется Ветхий Завет, поскольку гонимые христиане создали для себя особый символический язык. Вячеслав Иванов писал так:

«Под символическую я разумею запас статических и как бы кристаллизованных символов, исторически связанных с известными величинами определенной догматической системы. Таковы, например, крылья Божественной Премудрости, рыба, лодка и т.д. в символике христианской. Это не

просто эмблемы, или иероглифы, вместо которых можно подставить известное значение, например, Рыба — Христос. Нет, Рыба — некая Христова тайна, например, тайна эвхаристическая» [71, с. 168].

Многие страницы своей «Системы социологии» Питирим Сорокин посвятил символам:

«Сколько людей “перерождались духовно”, получив титул “Его превосходительства”, “графа” или “князя”. Как много простых смертных начинали себя чувствовать иначе, после того, как они становились “гофмейстерами” или “губернаторами”. Как приятно ласкал слух многих чиновников титул: “Ваше превосходительство”, почтительно произносимый швейцаром-психологом. (...) На основании сказанного мы можем спокойно ответить на поставленный вопрос: “Да, символические проводники оказывают рикошетное влияние на психические переживания”» [159, с. 185].

Все это говорит также и о том, что человек живет реально в символическом мире и очень чувствителен к изменениям именно в нем.

Питирим Сорокин вводит закон фетишизации символических проводников. Он говорит:

«Возьмем для примера стяг полка или красный флаг. Это, по своей природе, простой предметно-цветовой проводник: кусок материи, прикрепленный к палке. Но, фигурируя долго в качестве эмблемы полка, его чести и достоинства, или в качестве эмблемы революции — ее ценности, святости и т.д. — он произвольно начинает казаться чем-то самоценным, святым и самодовлеющим. Вначале флаг сам по себе бесценен. Но, часто выступая в роли символа, он как бы “впитывает”, “вбирает в себя” ценность тех переживаний, символическим проводником коих он является; он становится самоценностью, самодостаточным фетишем. В нем перестают видеть просто тряпку, а начинают приписывать ему, как таковому, особую ценность. Это подтверждается тем, что люди умирают за флаг — на поле сражения, на баррикаде, умирают, чтобы не отдать его врагу» [159, с. 185].

Мы рассмотрели два закона символической действительности:

а) закон присоединения символов, в соответствии с которым символические свойства одного объекта переносятся на другой. («Киевские ведомости», 1995, 22 сент.);

б) закон фетишизации символа, отмеченный выше Питиримом Сорокиным.

Существует четкая зависимость политики и символизации. К символу приковывается внимание средств массовых коммуникаций, что, в свою очередь, повышает рейтинг символических личностей. Так, программы «Пресс-клуба» 1995 года, где героями были Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, получили следующий рейтинг по Москве: 7,3% и 6,5% («Московские новости», 1995, № 61). И наоборот: как только телевидение снизило свое внимание к Александру Лебедю, его рейтинг стал тут же падать. И вновь вырос после интенсивной телекампании во время президентских выборов в России в 1996 г.

Эта же модель присоединения используется и в рекламе. Аллен Делон, который продает очки, духи, сигареты, галстуки и многое другое, говорит: «Мое имя — это уже престижная марка» («Зеркало недели», 1995, 29 апр.). Любые известные лица, например, спортсмены, попадая в рекламное сообщение, несут потенциальному покупателю вместе с товаром, отраженный в их облике символ своего успеха.

Общий вывод нашего рассмотрения таков: всегда и везде выигрывает СИМВОЛ. Но символ, который как бы идеализирует требования двух сторон: каким его хотят видеть люди и какие объективные возможности существуют для этого у нашего объекта. Ведь, по словам психолога Лидии Матвеевой, «имидж — это все-таки очень основательный слепок с личности, и даже самые гениальные имиджмейкеры не могут сделать из монстра невинную овечку» («Аргументы и факты», 1994, № 5). То есть, символ все же нуждается в реальном соответствии объекта.

Почему именно символ так нужен и важен? Есть по крайней мере три плоскости, где можно найти ответ.

Во-первых, символ без сопротивления проходит по коммуникативным сетям любого вида. Например: в народной сказке в результате многовековой устной передачи остались только такие элементы, которые легко передаются другому.

Символ в этом плане создается под ту форму, которая затем сможет «проплыть» все рифы.

Во-вторых, символ должен привлекать, чтобы обойти фильтры невнимания и недоверия, присутствующие в каждом из нас. Мы изо всех сил защищаемся от новых сообщений, почему же мы должны как-то по-особому отнестись именно к этому? Данные по рекламе свидетельствуют, что от 80 до 90 процентов новых продуктов, несмотря на интенсивную рекламу, терпят на рынке провал [234].

В-третьих, символ имеет больше шансов закрепиться и в долговременной памяти. Мы не просто скользим по нему взглядом, а реагируем и запоминаем. Это особенно важно в случае рекламы, когда на человека обрушивается около 1200 рекламных сообщений в день. Интересны подсчеты по средней австралийской семье. Как выяснилось, за день в нее «выстреливает» 1100 сообщений. Из них 539 — в газетах и журналах, 99 — по радио, 22 — в кинофильмах. То, что осталось, вспыхивает световой рекламой, наружной рекламой в автобусах, такси, метро. Но самое важное — человек из этого набора запоминает только три или четыре сообщения. В другом исследовании (участвовало 300 женщин в возрасте от 20 до 30 лет) предлагалось добавить имя рекламируемого продукта в слоган. Было использовано восемь популярных слоганов австралийского телевидения. Наилучший результат — 14%, средний результат — 6% [234]. На эти негативные результаты надо обратить особое внимание. Они описывают, как сложно реально проникнуть в СИМВОЛИЧЕСКУЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ. И в первую очередь это связано с тем, что у нее свои законы, отличные от действительности реальной.

Мир символов всегда с нами. С самого раннего детства. Символы везде и всюду. Хорошо бы и человеку суметь найти себе место среди них! Человек тоже становится символом, поскольку только таким его может принять к себе символическая действительность.

ИМПЕРИИ СЛОВ КАК ПЕРВЫЕ ВАРИАНТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИМПЕРИЙ

Все империи прошлого опирались на параллельные им империи слов и образов. Без поддержки в символическом мире невозможно построение ни одной большой державы, поскольку перед ней стоит задача объединения в единое целое разорванных в пространстве и времени островков. Любое государство выстраивает цепочку символических событий в своем прошлом и настоящем. А эти переходы возможны только при помощи символов.

Особо отличались своими символизациями последние империи двадцатого столетия: австро-венгерская и советская. Не менее значимые, а в чем-то и большие результаты в создании пропагандистского мира были достигнуты немецким фашизмом, который мы также будем трактовать как империю определенного рода. Если первые две империи в числе прочего держались на распространении в горизонтальном измерении — в географическом пространстве, то немецкая империя решала те же задачи в вертикальном измерении — в историческом пространстве, ведя свое происхождение от арийских времен.

Центры таких империй монополизировали (и канонизировали) производство символического продукта, который затем в неизменном виде распространялся по всем отдаленным уголкам. При этом качество символического продукта было таково, что противопоставить ему в роли альтернативы было нечего. Прямо и косвенно монополизация задавала единый взгляд на события прошлого и настоящего. Она производила не просто символы-тексты, но и символы-людей. Советский Союз отличался в этом плане почти бесконечным набором таких символов. И Павел Корчагин, и Павлик Морозов, и Зоя Космодемьянская, и многие другие становились четкими и понятными символами определенных отрезков истории. И каждый гражданин с детства проходил через набор символизаций: *октябренок* — *пионер* — *комсомолец* — *коммунист*. Это были определенные символизации, которые задавали наборы правильных и плохих пос-

тупков, первые следовало выполнять, со вторыми бороться. Пионер как «всем ребятам пример» мог собирать металлолом и переводить старушек через улицу, но не прогуливать и не курить. Можно сказать, что в Советском Союзе не было несимволической действительности.

В ряде случаев можно считать, что и альтернативные символы генерировались там же. Например, в случае Советского Союза Москва являлась как центром по производству официальной идеологии, так и диссидентства. Более того, в статье «Операция “Академик” Е. Жирнов («Коммерсантъ — Власть», 2000, № 3) утверждает, что Андрей Сахаров в качестве лидера правозащитного движения был «порожден» КГБ, чтобы превратить отечественных правозащитников в элемент угрозы для советской власти. Сахаров был окружен нужными людьми, среди которых упоминают Эрнста Генри, братьев Жореса и Роя Медведевых. В статье констатируется: «Жорес, эмигрировав из СССР, написал книгу об Андропове, которая гораздо больше нравится ветеранам КГБ, чем диссидентам. Оценка роли Роя Медведева в правозащитном движении также далеко не однозначна. Некоторые диссиденты вспоминали о том, что сотрудники КГБ почему-то производили у него обыски именно тогда, когда ему передавали новинки самиздата. Сам Сахаров упоминает о том, что Рой Медведев несколько раз делился с ним точной информацией о намерениях властей и никогда не называл источник». То есть и про- и антисоветская информация порождались из одного источника, одними и теми руками, что еще больше усиливало их системный характер.

Руководителями всех названных империй XX века — австрийской, советской и немецкой существенное внимание уделялось именно аспекту символизма. И Гитлер, и Сталин известны своими высказываниями по этому поводу. Пользуясь современными терминами, можно сказать, что они были более сильны информационно, чем материально. Советский Союз постоянно жил в условиях кризисных ситуаций, начиная с гибели «Челюскина» или террора тридцатых. При этом СССР имел достаточно привлекательный имидж как для своего населения, так и для остального мира. Он умел

маскировать свои недостатки в мире реальном с помощью наращивания потенциала мира информационного.

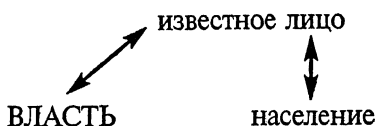
Империи порождают большое число самоописывающих текстов. Для них очень важно измерение не только «мы», но и противоположное — «они». К примеру, и советская, и немецкая империи требовали для своего внутреннего описания понятия «врага» для того чтобы оправдать фразу: «враг хитер и коварен — огонь!» Вспомним постоянную борьбу с «врагами народа» в СССР тридцатых годов. СССР вообще жил постоянными информационными кампаниями, которые направляли внимание население на борьбу... с врагами, космополитами, алкоголем... Место врага никогда не было пустым. Кстати, и политический лидер мирного времени может стать таковым только в результате победы над каким-нибудь врагом. Избирательные кампании порождают бесконечное число возможностей для критики и низвержения оппонента.

Империи в принципе невозможны без врагов, их сложные структуры требуют существенного внешнего негативного воздействия. Они не могут оправдать свое существование только развитием внутреннего мира. Именно в этом причина бесконечных процессов, связанных с борьбой с врагами народа в бывшем СССР. Гитлеру также были нужны евреи не как абстрактная сущность, а как вполне конкретный и осязаемый враг. Для мобилизации всех ресурсов в системе необходимо присутствие иноэлементов. Их активно порождали именно с помощью информационного пространства. «Химия» политической борьбы требовала разнополюсных элементов.

И в прошлом, и в настоящем любая социальная группа призвана решать два типа задач в символическом поле. С одной стороны, это задача возвышения себя. Как следствие, эта задача порождает подзадачу возвеличивания первого руководителя. Брежнев замечал, что внимание к его особе важно не для него, а для поднятия роли партии. Советский генсек во взаимоотношениях с населением всегда использовал харизму, идущую еще от российских царей. Подобное восприятие гасит любые отрицательные характеристики образа. Все ритуалы византийского толка, тридцатидесятилетием анти-де-

мократичны, в них все внимание сконцентрировано только на первом лице. Если исходить из распространенного положения, что свита играет короля, то в этом случае свита играет короля вдвойне: для себя и для телевизионной публики. Известно, что ребенок реагирует как на действия персонажей, так и на реакцию на их действия окружающих, считывая два вида информации. Свита в этом плане как раз и представляет информацию второго рода для массового сознания.

По этой причине в свиту во все века привлекаются персонажи, которым доверяет население. К примеру, на российской политической сцене в этой роли часто выступал известный режиссер Марк Захаров, в шеренге первых лиц рукоплещущий властной инициативе. Это ни в коей мере не бросает на него тень, но демонстрирует один из механизмов, благодаря которым власть вызывает к себе любовь населения. Мы можем показать этот механизм «передачи» любви следующим образом:

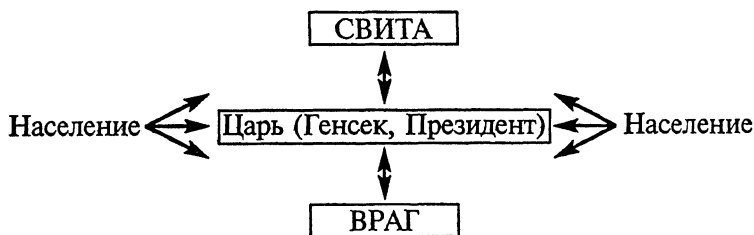


Мы рукоплещем известному лицу, которое рукоплещет власти. То есть власть выходит на встречу с населением в достаточно защищенном контексте, боясь непосредственного контакта. Перед нами программируемый коммуникативный контакт, где в каждом элементе цепочки достигается ожидаемый результат. Чистый контакт «власть — население» может вызвать непредвиденные реакции, чего не только не любит, но и опасается любая система управления.

Допуская самостоятельность реакций, мы увеличиваем вероятность отторжения власти населением. Например, впервые подобная харизма советского генсека вступила в противоречие с реальностью в случае Л. Брежнева. Дело даже не в старении генсека. Подобное имело место и в конце жизни Сталина. Теперь это несоответствие сделалось явным с помощью телевидения. Новое средство коммуникации начало выпячивать то, что раньше старательно скрывалось

пропагандистами. Телезритель получил возможность выработки самостоятельных реакций, что и было нежелательным. К примеру, если новостная подача позволяет управлять реакциями населения, поскольку в течении краткого промежутка времени их развитие можно поддержать в нужном направлении, то длинные промежутки (типа речей генсека, вручений наград и т.д.) дают большой объем сырой и неотфильтрованной информации, реакцией на которую уже нельзя управлять эффективно.

Таким образом возникают два варианта семиотических отображений первого лица. Это «свита» в широком смысле, а также «враг», без которого систематика первого лица также теряет свой смысл. Наилучшими ситуациями с точки зрения максимализации любви населения к лидеру являются кризисные события, когда все объединяются вокруг своего лидера.



Враг может быть подан достаточно карикатурно (т.е. глупым и слабым), как, например, японцы или немцы в советском кино времен соответствующих войн. Враг может быть страшен, когда имеет место не пропагандистское, а реальное соприкосновение с ним. Враг всегда ведет себя неправильно. Эта неправильность коренится в его исходной принадлежности не к «нам». В рамках советской мифологии враг приходил из дореволюционного прошлого или из капиталистического окружения.

Те же функции враг выполняет и в рамках символического мира фашистской Германии. Например:

«Нацистская пропаганда всегда с большой охотой использовала прием разоблачения “коварных замыслов врага”. Такой способ был удобен для оправдания агрессивных военных выступлений Германии против других стран, в том числе и нейтральных, суверенитет которых грубо нарушался: все объяснялось необходимостью “сорвать зловещие планы вражеской коалиции”. Именно так освещались успешные военные походы против Дании, Норвегии, Голландии и Бельгии: они были представлены как “предупредительные меры, опережающие бессовестные поползновения Англии и Франции, всегда считавших нейтральные страны не более чем пешками в своей грязной игре”» [37, с. 261].

Во всех подобных ситуациях, когда мы имеем дело с пропагандой или контрпропагандой, паблик рилейшнз или рекламой, информационными или психологическими войнами, базовым является понятие **информационной кампании**, которая представляет собой выдачу необходимой с точки зрения коммуникатора информации в заранее заданном режиме. При этом общей задачей коммуникатора является *интерпретация ситуации в нужном ракурсе*. Действительность наша многообразна, она позволяет задавать разные интерпретации одного и того же явления, что дает возможность даже в негативном событии отыскивать позитивные характеристики. При этом особую роль играет первая интерпретация нового явления, поскольку тогда остальным коммуникаторам придется отталкиваться от нее, когда они вводят свою интерпретацию.

Контрпропаганда в отличие от пропаганды действует в систематике **метакоммуникации**. Просто сообщение, включая пропагандистское, находится в системе коммуникации. Реакция на него уже выводит коммуникатора в иное поле: он должен вмешиваться в уже протекающий коммуникативный поток. Он обладает в этом случае рядом преимуществ и недостатков. К числу преимуществ принадлежит возможность многоуровневого ответа на введенную информацию, что позволяет более тщательно отыскивать слабые места в предложенной аргументации. К числу недостатков следует отнести то, что порождение сообщения ему приходится делать в уже сформированном конкурентном коммуникативном пространстве. По этой причине, к примеру,

бывший Советский Союз активно не допускал в свое информационное пространство чужой точки зрения, осуществляя среди прочего и глушение иностранных радиопередач. Советскому Союзу удалось построить очень сильную империю из слов. Но появление других каналов коммуникации (типа радио или телевидения) оказалось сложнее контролировать. Глушение требовало серьезных энергетических затрат, а телевидение воочию могло демонстрировать дряхлеющих генсеков, создавая конфликт между вербальной интерпретацией и визуальной картинкой. А визуальную информацию массовое сознание всегда воспринимает как более достоверную.

Важной характеристикой империй является порождение объединяющих население коммуникативных потоков. Разрыв реальных связей должен быть компенсирован интенсивностью коммуникативных связей. Для любой столицы характерно порождение более сильных коммуникаций, чем получаемые ею в ответ. Это принципиально несимметричные коммуникативные структуры. В данном случае подобная асимметрия является символом стабильности. Революционные потрясения как раз нарушают асимметрию, требуя равноправных, т.е. симметричных коммуникативных потоков от центра к периферии и от периферии к центру.

Столицы всегда «изымают» наиболее активных коммуникаторов из периферии, тем самым еще сильнее закрепляя имеющуюся асимметрию. Они в состоянии поддержать свой интенсивный коммуникативный поток, демонстрируя свое информационное доминирование. В советское время только республики со слабым знанием русского языка (типа Эстонии) могли существовать в рамках более слабых, но своих собственных коммуникативных потоков. Здесь в роли фильтра, ограничивающего поступление нужной с точки зрения центра информации, выступал язык.

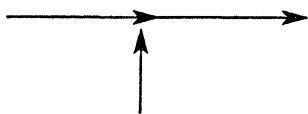
Центры могут порождать не только чисто информационные продукты, но и продукты гедонистической направленности. В этом плане характерным является название статьи об известном композиторе И. Дунаевском «Колыбельная для СССР» («Коммерсантъ — Власть», 2000, № 3). И сегодня все постсоветские страны активно смотрят фильмы со-

ветского времени, оставляя за кадром их идеологизацию. Вероятно, что не только более мощные информационные структуры выходят в победители, но и более мощные гедонистические структуры делают то же самое. И, к примеру, если сегодня Украина еще может противостоять иным информационным структурам, то гедонистические структуры у нее принципиально чужие (американские, российские, советские). Эта проблема, хотя и в меньшей степени, характерна и для России. В этом плане можно говорить о гедонистическом компоненте информационного пространства, наполнение которого требуется для выполнения всех имеющихся функций.

Империи поддерживают свое функционирование именно в информационном пространстве. Они нуждаются в продуцировании образцов правильного и неправильного поведения. Если первые выступают в роли образцов для подражания, то вторые направлены на блокирование ненужного типа поведения. Это блокирование легче сделать именно в информационном пространстве. Именно здесь империи строят не только воздушные замки и памятники, но и воздушные тюрьмы, посещение которых также становится обязательным для каждого гражданина.

Порождение символического продукта ведется в символическом пространстве, соотношение всех трех видов пространств — символического, информационного и реального — мы можем продемонстрировать следующим образом. Отдельное событие как точка в пространстве реальности работой коммуникаторов превращается в отражение большего объема в информационном пространстве, поскольку задачей коммуникатора становится: а) подготовить восприятие будущего события, б) продлить жизнь события в информационном пространстве.

Информационное пространство



Пространство реальности

То есть одна точка пространства реальности превращается в «линию» в области информационного пространства. Но в символическом пространстве эта линия вновь станет отдельной точкой, реализацией которой становится рассматриваемая ситуация.

Порождением символического пространства занимается большой объем символических машин современного государства, на первом месте среди которых стоят массовая культура и массовые коммуникации. Власть и государство заинтересованы в его создании максимальным образом, поскольку символическое пространство дает возможность построить государство со своими символическими границами в мире виртуальном вслед за миром физическим. В виртуальном мире тоже есть своя таможня в виде прямых и опосредованных вариантов цензуры, которая не допускает широкого распространения «вредных» для себя текстов.

ЯЗЫК И ЯЗЫКИ

Все органы чувств человека реально могут передавать определенную информацию. Однако основная нагрузка ложится на два канала: слуховой и визуальный. Наш естественный язык в основе своей слуховой; именно развиваясь на этом канале он получил достаточно сложную и разветвленную систему. Более того, этот язык оказался наиболее универсальным каналом: сообщение на любом другом языке может быть переведено на естественный язык. Скажем, я могу описать картину, переведя язык живописи в язык словесный, что часто делалось в школьных сочинениях в начальных классах. Мы можем совершить и обратный перевод: создать, например, картину маслом, изобразив в ней важный эпизод романа. То есть естественный разговорный язык является универсальным переводчиком: на него можно переводить сообщения, заданные при помощи других кодов.

Однако в любом случае важен закон семиотики об остатке: при таком переводе всегда остается непере译имый остаток, который определяется особенностями данного канала коммуникации. И именно этот остаток невозможно

передать другим языком. Экранизация романа, к примеру, сразу убирает имеющуюся амбивалентность образа героев, поскольку кино дает им вполне конкретные, зримые черты. До этого каждый мог представлять героев по-своему: теперь вместо них это сделала авторская группа фильма с учетом требований данного канала коммуникации. Сделав из романа балет, мы уберем все вербальные отличия героев, акцентируя в большей степени сюжет, чем конкретное слово, ибо слова в его привычном понимании не будет в языке балета. А основная сюжетная канва вполне благополучно может сохраниться.

Семиотику наиболее часто определяют как науку о знаковых системах. Знак же есть та элементарная единица, несущая в себе объединение содержания и формы, свойственная именно данному каналу. Значение «рыба» мы можем запечатлеть словом, можем нарисовать ее, можем передать, хотя и с некоторыми затруднениями, средствами мимики или танца. Вспомним, к примеру, творческие задания для студентов театральных институтов, где им приходится изображать события или темы, казалось бы не поддающиеся изображению.

Семиотика постулирует существование в человеческом мире великого множества языков. И каждая культура, по Юрию Лотману, заинтересована в этом многообразии. Чем больше множественность этих ступеней, тем богаче культура. Она с неизбежностью пытается выразить себя на разных языках. Поэтому и звучат язык балета, язык театра, язык кино, язык жеста, язык позы и т.д. Всеми этими языками мы владеем в той или иной степени. Но мы владеем ими на любительском уровне.

Однако профессионал в области рекламы или паблик рилейшнз должен перейти от интуитивного понимания этих языков к углубленному практическому их знанию и применению. Например, авторитетность высшего должностного лица мы подчеркиваем множеством телефонов, охраной, необходимостью подстраивать свое расписание под его. Вот как символизируется значимость лица, описанная корреспондентом «Комсомолки»:

«Лишь десяток телефонных аппаратов (на одном из которых красная наклейка “Президент”) показывает, что хозяин кабинета принадлежит к когорте “кардиналов”. Рядом с телефонным величием разместилась декоративная пальма — монстера, разбросавшая за деревянную кадку свои воздушные корни-лианы» («Комсомольская правда», 1995, 15 сент.).

При искусственном моделировании такой ситуации задача состоит в том, чтобы внести в имеющийся контекст четкие знаки, обладающие необходимым набором коннотаций.

Язык времени — тоже особый тип языка. Помните: «Точность — вежливость королей». Люди, к примеру, в Средние века не имели точного инструмента измерения времени, поэтому пользовались природными ориентирами. Возможными вариантами отсылок становились «На заре», «После захода солнца». Выполнение подобных договоренностей является основой взаимодействия людей. «Шеф протокола Бориса Ельцина с гордостью говорил, что президент еще ни разу не опоздал ни на одну минуту. Тогда как иностранцы позволяют себе опоздание на пять—семь минут. При этом он добавляет: “Часами президента является сам президент. Я же выполняю эту роль косвенно: для поддержания графика”» («Комсомольская правда», 1995, 15 сент.).

Семиотика времени требует жесткого выполнения распорядка, при этом мы позволяем себе ожидания в приемной высокопоставленных лиц. То есть в этом случае (неэквивалентности двух позиций) право распоряжаться временем как бы принадлежит вышестоящему, а не нижестоящему, оно является принадлежностью иерархически высшего лица. Темпоритм начальства диктует темпоритм подчиненного: Сталин из-за бессонницы работал ночью, а отсыпался днем. Нижестоящей номенклатуре приходилось трудиться днем, чтобы работать со своими подчиненными, и ночью, чтобы всегда ответить на звонок Хозяина. Когда в довоенное время финскую делегацию повезли на переговоры со Сталиным ночью, они никак не могли понять, знаком чего это является.

Для описания системы знаков используется понятие кода: это как бы сумма всех соответствий между формой и содержанием. Зная код того или иного языка, мы в состоянии породить на нем высказывания. Без знания кода у нас ни-

чего не получится. Каждая школа в живописи обладает своим собственным кодом, что позволяет, например, отличать импрессионистов от реалистов. Еще для обозначения этого соответствия может использоваться термин «грамматика»: грамматика кино, грамматика театра, грамматика живописи. При этом языки искусств существенно отличаются от естественного языка. В нашем повседневном общении мы пользуемся языком, предварительно зная его грамматику. Я знаю, что значит то или иное слово. В случае, скажем, языка кино, автор одновременно вводит и текст, и грамматику, рассказывая вам, что значит та или иная форма. Ведь в языке искусства творческое начало очень велико. Если в языке обыденном новым для нас является только содержание, мы не придумываем грамматику для его выражения, то в языке искусства новым является и содержание, и форма. Многие вообще определяют искусство именно как новизну формы, где содержание может быть даже самым обыденным и знакомым. Вспомним Антона Павловича Чехова, который говорил, что он может написать о чем угодно, например, о чернильнице. Но творческая личность такого уровня напишет рассказ о чернильнице так, что тот войдет в хрестоматию. Он найдет для этого такую форму, что чернильница предстанет перед нами совершенно по-особому. И это оправдывает ее попадание в мир виртуальный.

Китч как явление искусства состоит в соединении знаков из разных языков, подобно приклеенному к картине трамвайному билету. Смесь сообщений на разных семиотических языках и создает китч как своеобразную форму.

Знаки могут быть расположены на любом из каналов восприятия. Кивок головой. Поцелуй. Рукопожатие. Наличие (отсутствие) галстука или бабочки. Белые носки при черном костюме — все это при знании контекста расскажет очень многое об авторе подобного сообщения. То есть мы постоянно находимся в процессе коммуникации с окружающими, хотим мы этого или нет. Пользуемся или не пользуемся ножом за обедом — сразу же передаем окружающим определенную информацию о себе. Употребим слова «молодежь» или «портфель» с ударением не на том слого — и снова пошла косвенная передача информации.

Семиотика как наука изучает подобные разнообразные языки, и потому она весьма значима и для рекламы, и для паблик рилейшнз. Ведь в войне символов, как и в любой другой, побеждают профессионалы. Например, первым приходом царя Симеона в Болгарию стало использование его бренда на бутылке ракии, в результате царский герб появился в стране на вполне законных основаниях с 1992 года.

Знание иконического языка позволит должным образом скомпоновать рекламный плакат, как это продемонстрировано в работе Ролана Барта «Риторика образа» [17]. При этом фотографию он рассматривает как сообщение без кода (что, конечно, спорно), в то время как рисунок является явным сообщением, построенным на определенном коде: «рисунок не способен воспроизвести *весь* объект; обычно он воспроизводит лишь очень немногие детали и тем не менее остается полноценным сообщением, тогда как фотография (если только это не фототрюк), располагая свободой в выборе сюжета, построения кадра, угла зрения, не в силах проникнуть *внутрь объекта*» [17, с. 309]. Рисунок воплотил то, что считает нужным автор, в то время как фотография не имеет возможности осуществить такой отбор.

Еще есть язык гаданий, которому присущи своя грамматика, свой набор значений, моделирующих внешний мир типа «казенного дома». Вяч. Иванов писал, как Сергей Эйзенштейн и Лев Выготский интересовались подобными аномальными типами поведения у современного человека, объясняя их отсылками на прошлую эпоху. «В поведении современного человека, раскладывающего пасьянс, обнаруживаются пережитки той эпохи, когда бросание жребия было одним из важнейших способов решения наиболее трудных задач» [68, с. 43]. Очень интересно на эту тему рассуждает Карл Густав Юнг, рассматривая древнекитайское гадание по И-Цзин. Он говорит об акаузальной параллельности (синхронизме) событий, пытаясь объяснить этим результаты гаданий, непонятные для мира, построенного на причинно-следственной связи [214].

И пока это единственное объяснение того, почему карты, камни, кости не врут. Одно из определений семиотики как науки звучало так: наука о вторичных моделирующих системах, где первичной является естественный язык.

Элементы тех давних гаданий присутствуют и сегодня в политических и экономических прогнозах. И из проскальзывающих в средствах массовой информации сообщений становится понятным, что спецслужбы также не отказались от старых, замешанных на мистике способах определения будущего. В самом процессе гадания происходит поиск «сцепок» между семиотической системой мира, представленной в списке значений, свойственных данному виду гадания, и моделью реального мира с точки зрения современного человека. В этой же плоскости лежит и интерпретация сновидений, где есть свои знаки со своими значениями, отличными от значений обыденного языка (например, видеть во сне покойника — к дождю и т.д.). Составлены многочисленные словари, реинтерпретирующие образы в особом символическом ключе, о чем много писали Зигмунд Фрейд, Карл Густав Юнг и Эрих Фромм.

У. Эко определял семиотический объект как такой, где возможно возникновение лжи [230, р. 58]. Из этого вытекает очень важный вывод: семиотика занята миром иллюзий. На каждом из каналов восприятия мы можем строить свое собственное многообразие возможных миров. Особенно это касается вербального канала. Ведь любой роман — это мир со своими несуществующими в реальном мире героями. Телеканал порождает свои миры при помощи множества «мыльных опер». Политики также заняты «продажей» будущих миров: изберете меня — все будет лучше. Поэтому роль семиотики столь важна для рекламы и паблик рилейшнз, ибо семиотика в этом ракурсе предстает как наука о построении возможных миров знаковыми способами. В основе этого множества возможных миров лежит способность человека входить в них. Есть соответствующее психологическое понятие «эмпатии». Когда-то священник Павел Флоренский говорил о подобном срезе: «Понимать чужую душу — это значит перевоплощаться» [182, с. 31].

Мы определяли имидж как символический образ, то есть снова привлекаем символические основания. При этом имидж наиболее приближен к человеку. Тот же Павел Флоренский, рассуждая о более примитивном мышлении, говорил: «Непосредственное мышление оперирует не с понятия-

ями, а с живыми, сочными, полными красок и запахов образами. Эти образы не бывают резко обособлены от соприлежащих. Края их часто расплывчаты, как и в самой действительности» [182, с. 50]. Имидж — это и есть основополагающая единица, позволяющая строить рекламу и паблик рилейшнз. И имидж есть та единица, которая сближает эти два направления на профессиональной основе. Литература, театр тоже работают с образами. Разницу в этих двух подходах Густав Шпет видел в том, что в литературе образ создается постепенно, вырастая в полном объеме к середине или к концу произведения; для актера же образ должен быть законченным уже с самой первой минуты. Но литература и театр работают с объемными произведениями, развернутыми в больших временных промежутках. В случае рекламы и паблик рилейшнз все иначе. В этих случаях существует более резкое ограничение и в аспекте материала, и в аспекте временных возможностей. 10 секунд рекламы должны выдать информацию, которая в другом случае будет растянута на полтора часа. Отсюда следует, что символизация должна носить еще более яркий характер. Мы видим, что ВРЕМЯ становится одной из семиотических координат и в аспекте внешнего ограничителя. Все культурные артефакты ограничены во времени, только так им удастся достичь той концентрации символичности, которая и делает эту структуру произведением искусства.

Для бывшего СССР следует отметить еще одну характерную особенность, которую Александр Пятигорский назвал «засильем культуры» [151]. Это всепоглощающее влияние культуры, когда не только и не столько жизнь воздействует на культуру, а скорее наоборот: культура воздействует на жизнь, подстраивая жизнь под те или иные образцы, задействованные в первую очередь именно в культуре. Сам же Александр Пятигорский написал:

«Россия — это самая культурная страна на свете. Культура в ней — тот всепоглощающий фактор, который делает индивидуальное мышление и любое сознательное индивидуальное усилие деиндивидуализированным. Когда Бердяев, который сам был помешан на культуре, говорил о женственности русского духа, то, я думаю, он имел в виду

именно это обстоятельство. То есть когда мышление еще не успело оформиться, а уже хочет вынести себя в другое, в культуру» [151, с. 276].

Имидж в этом плане — это как бы обращенная в разные стороны единица. С одной стороны, он — создание культуры. С другой — элемент, непосредственно входящий в душу современного человека. С точки зрения технологии рекламы и паблик рилейшнз он должен быть сконструированным, ибо отвечает определенным прикладным задачам. Но одновременно его успешность покоится на несконструированности, на том, что он интуитивно является определенным осколком, оптимизирующим процесс воздействия. Максимилиан Волошин сказал о Валерии Брюсове фразу, которую можно применить к честолюбивому рекламисту или специалисту в области паблик рилейшнз: «Свою империю, которую он волен сделать всемирной, он строит в области Слова и Мечты» [47, с. 369]. Разнообразные языки, о которых мы говорим в этом параграфе, и предоставляют тот инструментарий, из которого в результате будет построен ИМИДЖ.

Напомним еще раз список понятий, которые мы рассмотрели. *Язык естественный*, языки иные, которые строятся на основе разных каналов восприятия. *Код* как системное соответствие всех содержаний всем формам в данном языке. *Знак* как индивидуальное соответствие формы и содержания. *Имидж* как символический образ. Подчеркнем, что имидж, вероятно, должен рассматриваться по аналогии со светом, который, как известно, имеет и волновую природу, и природу частиц. Имидж также может трактоваться как сконструированный образ из набора «сделай сам» рекламиста или специалиста по паблик рилейшнз, но, с другой стороны, только та характеристика может закладываться в основу имиджа, которая является отражением реальной «болевой» точки в человеческой душе. Мы как бы конструируем то, что уже есть, и победа состоит в наиболее удачном приближении к уже существующему символическому идеалу, к которому часто даже приблизиться невозможно сознательным, рациональным путем, а только интуитивно, методом проб и ошибок.

ЯЗЫК ЗАПАХОВ

Скорей со сна, чем с крыш; скорей
Забывчивый, чем робкий,
Топтался дождик у дверей
И пахло винной пробкой.
Так пахла пыль.
Так пах бурьян.
И, если разобраться,
Так пахли прописи дворян
О равенстве и братстве.

Борис Пастернак. «Лето»

Мир запахов — уходящий от нас мир. С одной стороны, мы потеряли более живой и богатый разнообразными красками мир. С другой — мы также потеряли то внимание к себе, которое опять-таки было приметой прошлого. Рационализовавшись, мы постепенно отсекаем те или иные каналы восприятия, как бы уходя от каналов эмоциональных по направлению к каналам рациональным, к визуальному и слуховому. К. Леви-Строс приводит примеры «связки» запах — моральное состояние: «аромат святости», «это дурно пахнет» [98, с. 163]. В нашей сегодняшней ментальности они находятся в виде случайного островка, поскольку основной поток информации идет к нам по другим каналам.

Не так было в прошлом. Приведем отрывок из нашумевшего романа Патрика Зюскинда «Парфюмер», где один из героев называет нюх самым примитивным, самым низменным из чувств.

«Как будто ад воняет серой, а рай — ладаном и миррой! Да это самое темное суеверие, достойное диких языческих времен, когда люди жили как животные, когда зрение их было настолько слабым, что они не различали цветов, но считали, что слышат запах крови, что могут по запаху отличить врага от друга, что их чуют великаны-людоеды и оборотни-волки, что на них охотятся ариины, — и потому приносили своим омерзительным богам сжигаемые на кострах вонючие чадающие жертвы. Ужасно! “Дурак видит носом” — больше, чем глазами, и, вероятно, свет богоданного разума должен светить еще тысячу лет, пока последние остатки первобытных верований не рассеются, как призраки».

В этом романе герой постепенно учится овладевать миром запахов:

«Он не был привередлив. Между тем, что повсеместно обозначалось, как хороший запах или дурной запах, он не делал различий — пока не делал. Он был алчен. Цель его охотничьих вылазок состояла в том, чтобы просто-напросто овладеть всеми запахами, которые мог предложить ему мир, и единственное условие заключалось в том, чтобы запахи были новыми. Запах конского пота означал для него столько же, сколько нежный аромат распускающегося бутона, острая вонь клопа — не меньше, чем пар жаркого из телятины, просачивавшийся из господских кухонь».

Роман начинается с описания разнообразных запахов Парижа:

«Улицы воняли навозом, дворы воняли мочой, лестницы воняли гнилым деревом и крысиным пометом, кухни — скверным углем и бараньим салом; не проветренные гостиные воняли слежавшейся пылью, спальни — грязными простынями, влажными перинами и остросладкими испарениями ночных горшков. Из каминов несло серой, из дубилен — едкими щелочами, со скотобоев — выпущенной кровью. Люди воняли потом и не стираным платьем; изо рта у них пахло сгнившими зубами, из животов — луковым соком, а их тела, когда они старели, начинали пахнуть старым сыром и кислым молоком, и болезненными опухольями. Воняли реки, воняли площади, воняли церкви, воняло под мостами и во дворцах. Воняли крестьяне и священники, подмастерья и жены мастеров, воняло все дворянское сословие, вонял даже сам король — он вонял, как хищный зверь, а королева — как старая коза, зимой и летом. <...> И разумеется, в Париже стояла самая большая вонь, ибо Париж был самым большим городом Франции».

Реально в прошлом запахи играли большую роль в жизни человека. Легко можно себе представить, что в жизни, где уровень опасности был выше, несомненно возрастала роль внешних факторов, в том числе и запаха. Не уловив его, ты мог погибнуть. Однако запах не стал для человечества тем каналом, где мог возникнуть язык для написания «Войны и мира». На сегодня на этом языке нет Текстов, хо-

тя есть отдельные сообщения. Производство запахов — это одновременно профессиональная сфера с многомиллионными прибылями. Человек потерял способность к тому, что сохранила, к примеру, собака, которая хуже видит, но отлично ориентируется именно в этом канале. Некоторые люди выделяют этот канал особо. Среди них был Николай Бердяев, писавший: «Я исключительно чувствителен к миру запахов. Поэтому у меня страсть к духам. Я хотел бы, чтобы мир превратился в симфонию запахов» [27, с. 31]. Поэтому в кругу Вячеслава Иванова в его «башне из слоновой кости» символом Николая Бердяева как раз и была собака [148, с. 180].

Многочисленные отсылки на образы, связанные с запахом, находим мы у поэтов. Обратимся к Анне Ахматовой:

Пахнет гарью. Четыре недели
Торф сухой по болотам горит.
Можжевельника запах сладкий
От горящих лесов летит.

(Июль 1914)

Цветов и неживых вещей
Приятен запах в этом доме.

(Цветов и неживых вещей)

Каждый день по-новому тревожен,
Все сильнее запах ржи.

(Каждый день по-новому тревожен)

Свежо и остро пахли морем

На блюде устрицы во льду.

(Вечером)

Все сильнее запах теплый

Мертвой лебеды.

(Песенка)

Существуют ароматические священные запахи. Христианство использует такие смеси ароматических веществ, как ладан и мирра. Павел Флоренский подчеркивал наличие благовоний как обязательный элемент ритуала [186]. И если это полюс положительности, то был и полюс отрицательности. В примечании к статье «Столб и утверждение

истины» он пишет, что старые экзорцисты свидетельствуют — бесы вонючи [184, с. 705].

Мы продолжим наше рассмотрение на ряде примеров, чтобы далее перейти в плоскость языка/кода для запаха. Начнем с того, что в реальности запах является элементом среды обитания, работы, офиса. Об Америке как-то написали, что там отсутствует естественный запах американской женщины. Этот спектр заполнен дезодорантами и духами. Вероятно, то же можно сказать и о мужчине. Следовательно, тут возникает проблема бизнес-этикета, есть определенные требования и нормы. Запах в последнее время широко используется и для рекламных целей (все чаще можно встретить такой тип рекламы, когда страница журнала благоухает в соответствии с рекламируемой на ней продукцией — духами). Современные технологии позволяют включить в рекламный инструментарий и этот канал. В музее швейцарского города Базеля была устроена выставка запахов («Всеукраинские ведомости», 1995, 7 сент.). У входа — аромат, созданный для фойе солидных учреждений, в последний зал по трубам подается воздух с улицы.

«Еще один экспонат: демонстрируется цветной слайд с изображением разных блюд, и тут же на какую-то секунду вы ощущаете, как они пахнут. Можете также открыть бутылки и познакомиться с воздухом Гонолулу, Сиднея, Лондона. Особый стенд отдан под духи “Шанель № 5”. Упомянутые духи “Шанель № 5” прочно вошли в “культурный репертуар” современного мира. Ими пользовались известные женщины мира — Диана Ротшильд, Роми Шнайдер. Они создавались в противовес цветочным типам духов, ибо состоят из восьмидесяти искусственных запахов. Годовой доход Габриель Шанель к концу ее жизни составил 160 миллионов долларов» («Теленеделя», 1995, № 18).

Известен факт, что когда в 1921 году она посетила лабораторию парфюмера Эрнста Бо, ей понравились пять флаконов духов, однако все выпустить на рынок не представлялось возможным, и Габриель остановилась на «номере пять», поскольку демонстрация была назначена на май (пятый месяц года).

Максим Чикин сообщает, что до 1760 года церковь запрещала мыться, утверждая, что все болезни от воды. И чтобы избавиться от запаха, стали использовать стойкие и приятные запахи, заложив таким образом основы будущей парфюмерной промышленности [200]. Сегодня цифры другие: на создание духов «Пэшн» Элизабет Тейлор затратила 17 миллионов долларов. Когда же она решила отправиться во Францию со своими духами, оказалось, что духи с таким названием уже существуют. Суд решил не в пользу Тейлор. В двадцатые годы случилась история иная. Новые духи «Шалимар» никто не покупал во Франции. А вот американцы полюбили этот запах. И только четыре года спустя духи, окончательно покорив Америку, вернулись во Францию.

На рекламу духов затрачиваются огромные суммы. Ланком вложил в «Трезор» 26 миллионов долларов. Диор затратил на рекламную кампанию «Пуазона» 40 миллионов долларов и столько же — на «Дюну», Жан Герлен — 50 миллионов долларов при запуске «Самсары». Лучшие режиссеры делали рекламные ролики духов: Д. Линч — «Опиум» Сен-Лорана, А. Кончаловский — «Бизанс» Роша, М. Скорсезе — «Армани», К. Лелюш — «Сюблим» Жана Пату, Ридли Скотт — два последних ролика «Шанель № 5», Тони Скотт — «Эритаж» Грелена.

Духи изобретали многие известные люди: Бьерн Борг — «6-0», Присцила Пресли — «Мгновение», Хулио Иглесиас — «Только ты», Майкл Джексон — «Эм Джей», Ален Делон — «А.Д. для мужчин», «А.Д.плюс», «Время любить», «Лири», Катрин Денев — «Катрин Денев». Названием для вторых своих духов модельер Жан-Поль Готье избрал «Жан-Поль 2». Интересно, что точно так же звучит по-французски имя папы римского Иоанна Павла II. Когда Сен-Лоран выпустил новые духи «Шампань», суд отдал приоритет в названии производителям французского шампанского, и теперь эти духи можно встретить только за пределами Европейского Союза. На следующий день после этого приговора Ив Сен-Лоран дал во французских газетах рекламу этих новых духов, но без названия. Надпись же на рекламе гласила: «Если женщина хочет хорошие духи, так ли уж важно, как они называются?»

Знакомые нам запахи тоже, оказывается, имеют за собой ту или иную историю. Так, духи «Красная Москва» на самом деле были созданы в 1913 г. к трехсотлетию дома Романовых французским парфюмером Мишелем Августом и имели тогда название «Любимый аромат императрицы». Возродили их с приходом нэпа, вложив в слово «красная» понимание «красивая» («Труд», 1996, 2 авг.). А одну из первых парфюмерных фабрик в России открыл также француз Генрих Брокер. Он производил мыло, среди которого была даже «мыльная азбука», где каждый кусок имел свою букву. Затем он перешел к производству духов и однажды подарил дочери императора Александра II букет, где были фиалки, нарциссы, ромашки, мимозы, хризантемы и розы, и каждый цветок благоухал по-своему. Но цветы были восковыми, а аромат — искусственным. В другом случае с помощью аромата ему удалось избавиться от соперника. Жених его будущей жены был известным в Москве тенором. И на один из его концертов Брокер принес и поставил на рояль корзину фиалок. А сделал это «добрый» парфюмер, потому что знал, что запах этих цветов может на короткое время «посадить» голосовые связки. Что и произошло, а будущая жена обратилась к нему со словами: «Вы не только великолепный парфюмер, вы еще и колдун».

Ученые недавно обнаружили запах успеха. Изучая человекообразных обезьян, американские ученые заметили, что чем ближе к вожаку племени самка, тем мягче и тоньше ее пахучий «букет». А «Нью-Йорк Таймс» сообщила о разработке запаха для продавцов автомобильных салонов, состав должен благоухать честностью и искренностью. Газеты возмутились, узнав о разработке духов для младенцев, поскольку запах малыша должен быть приятен для родителей и без духов, кроме того, «духи мешают малышу ощущать запах матери, который дает ему чувство защищенности и уверенности». Соответственно в Америке борцы за чистоту атмосферы, покончив с курением в общественных местах, теперь обратили свои взоры (то есть носы!) в сторону косметической продукции. Речь идет о том, что аллергия может быть не только к курению, но и к духам.

Алан Хирш, разработавший эссенцию «Честный продавец автомобилей», создал аромат для казино. В результате игровые автоматы увеличили прибыль на 45 процентов! Его коллега Чарльз Височи порекомендовал британским компаниям субстанцию для опыления счетов на оплату: у человека сразу появляется бессознательное желание оплатить счет и избавиться от него. Запах свежей сдобы распыляется в булочных, аромат шоколада — в кондитерских, в магазинах женского белья — соблазнительный цветочный букет. На сегодня уже существует 500 тысяч искусственных ароматических веществ и 1500 натуральных эфирных масел, которые позволяют осуществлять воздействие на подсознание покупателя. Так, дорогие пиджаки в гамбургском магазине пахнут сандаловым деревом, а сорочки — лимоном. Когда администрация американского супермаркета в Чаттатунге поместила рекламное объявление, пахнущее жареным цыпленком, к газетным киоскам хлынули орды бродячих кошек и собак. За нарушение порядка администрацию в результате оштрафовали.

Последние коллекции одежды, созданные во Франции, сшиты из ароматизированных тканей, благоухающих лавандой, лимоном, клубникой, а то и «Шанель». Аромат проявляется под воздействием тепла тела, и это будет продолжаться в течение нескольких лет. Эта технология использовалась уже Клеопатрой. Когда она встречала Марка Аврелия, то не только одежда, но и парус лодки были пропитаны благовоениями. «Даже ветер был в экстазе любви», — так описывали эти встречи авторы древних хроник.

У многих знаменитостей есть любимые духи. Так, леди Диана любила «Л'Эр дю Тан» и «Диориссимо» Нины Риччи, Жерар Депардьё отдает предпочтение «О Соваж» Диора, Жан-Поль Бельмондо — «Поло», принцесса Монако — «Трезор» Ланком, Франсуа Миттеран предпочитал «Колонь де Франс» («Комсомольская правда», 1994, 21 янв.); актриса Джоди Фостер пользуется мужским одеколоном «Ветивер» («Всеукраинские ведомости», 1995, 1 сент.).

В запахе семиотическое смешивается с естественным. Так, исследование названий запахов во французском языке показало, что до определенного времени горожане действи-

тельно не чувствовали вони от нечистот, выливаемых на улицы, ибо не было необходимых для обозначения этого чувства слов. Потом вдруг происходит какой-то прорыв, появляются слова, следовательно, изменился порог восприятия, и возникает запрет на выливание ночных горшков на улицу. В VIII веке в Мадриде возникли беспорядки, когда король запретил горожанам жить по-старому и распорядился о сооружении канализации. «Возмущенные горожане усмотрели в этом ущемление своих свобод. Их поддержали городские лекари, утверждавшие, что если отказаться от привычного способа, на город обрушатся бедствия, ибо содержимое горшков... очищает воздух. Был, однако, достигнут компромисс, и испанцы все-таки достроили уборные, но рядом с кухонными печами, чтобы “хоть еду убереечь от порчи”» («Всеукраинские ведомости», 1995, 26 сент.).

Запах интересен тем, что в этом канале у человека нет того фильтра недоверия, который есть в слуховом или визуальном каналах. Здесь мы не привыкли к явлению лжи. Патрик Зюскинд пишет:

«Оказавшись в сфере воздействия его аромата, они будут вынуждены не только принять его как себе подобного, но полюбить его до безумия, до самозабвения, он заставит их дрожать от восторга, кричать, рыдать от блаженства, едва почуяв его, Гренуя, они будут опускаться на колени, как под холодным ладаном Бога! Он хотел стать всемогущим богом аромата, каким он был в своих фантазиях, но теперь — в действительном мире и над реальными людьми. И он знал, что это было в его власти. Ибо люди могут закрыть глаза и не видеть величия, ужаса, красоты, и заткнуть уши, и не слышать людей или слов. Но они не могут не поддаться аромату. Ибо аромат — это брат дыхания. С ароматом он войдет в людей, и они не смогут от него защититься, если захотят жить. А аромат проникает в самую глубину, прямо в сердце, и там выносит категорическое суждение о симпатии и презрении, об отвращении и влечении, о любви и ненависти. Кто владеет запахом, тот владеет сердцами людей».

Перед нами целый трактат об аромате.

В заключение отметим, что каждый элемент в окружении человека, включая и запах, семиотизирован. Мы признаем за тем или иным вариантом его норму/ненорму. Как

свидетельствует упомянутое выше исследование названий запаха во французском языке, эта норма варьируется во времени. Запах имеет большее значение для рекламы, нежели для политики, если говорить лишь об обсуждаемых нами объектах. Хотя «доверие» — это вполне политическая категория, к которой всегда стремились имиджмейкеры. В этом же аспекте духи, связанные с именами кумиров, не только приносят прибыль, но и способствуют росту их популярности. Это та же материализация славы, как и журналы, клубы поклонников и пр. Все это способствует определенной кристаллизации внимания на своем объекте. Запах жилища, офиса также семиотичен. В периоды увлечения Востоком в моду входят ароматизированные свечи, палочки из сандалового дерева. И это тоже факт семиотического влияния, но идущего по другому каналу. Однако все же стоит признать, что в самом сильном коммуникативном канале — телевидении концентрация внимания осуществляется органами зрения и слуха, а воздействие запаха отсутствует.

Современным обществом запах широко используется в криминалистике, но там он не носит семиотического характера. И мы не обладаем системно устроенным кодом в случае запаха. Человечество как бы оборвало дальнейшее развитие этого канала, вероятно, исходя из чисто физиологических характеристик: человек не в состоянии выделять необходимый набор запахов, запахи также обладают определенными физическими недостатками, то есть не могут передаваться на расстоянии, а, смешиваясь, уничтожают друг друга, создавая новый запах. Хотя, к примеру, Пруст пытался структурировать на запахе и вкусе свою память. Как пишет об этом Валерий Подорога: «Только наличие особого материального носителя информации, располагающегося вне времени и пространства, в состоянии обеспечить связь прошлого и настоящего в любое из мгновений жизни. И Пруст находит его: первичный чувственный строй, состоящий из вкуса и запаха, доиндивидуальный и внесубъектный, является основным носителем созидающей памяти» [140, с. 347].

Использование запахов в политике, вероятно, дело далекого будущего. Но интересно то, что разработки ведутся в направлении одного из важнейших параметров — создания доверия (пример — продавцы автомобилей).

Профессионалы позволяют себе такое предсказание: «В двадцать первом столетии аромат будет использоваться как для поведенческих эффектов, так и для украшения». Уже сегодня, как сообщает журнал «Космополитен» (август, 1995), японцы используют запахи на фабриках и в офисах для повышения производительности труда. И, как считает исследовательница Джоэль Ворм из университета в Цинциннати, «японцы не хотят делиться своей информацией, но, как известно, они не бросают денег на ветер».

Человек различает 10 тысяч видов запаха, собаки же — в сорок раз больше. Сегодня ученые находят определенную зависимость, возникающую между людьми в первые секунды знакомства именно по соответствию запахов. Нельзя иметь хорошие отношения с человеком, запах которого вам не по душе. Человек чувствует себя более уверенно, когда он знает, что не раздражает другого своим запахом. Первобытные племена, по утверждению американского антрополога Маргарет Мид, приходили в возбуждение и начинали военные действия от присутствия запаха чужого. Кстати, вспомним и наш пример: очень часто Баба Яга в народной сказке чует чужой дух. Одни запахи приносят человеку ощущение здоровья, другие — головные боли.

Запахи начинают использовать достаточно широко в системе торговли. Запах жареной кукурузы — в американском кинотеатре, запах свежей выпечки — в универсамах. Уже есть запах «нового автомобиля». В эксперименте, проводившемся в Филадельфии, цветочный запах был пущен в ювелирный магазин. Покупатели стали задерживаться в магазине дольше. И хотя это не привело к осязательному увеличению объема продажи, однако это можно объяснить тем, что высокие цены на ювелирные изделия не позволяют покупателям безоглядно поддаваться эмоциональным порывам. В США запускаются тонкие запахи в дома, на сегодняшний день почти три миллиона человек уже пользуются этим видом услуг. В ответ на такие действия некоторые штаты требуют введения зон, свободных от искусственных ароматов.

Вес человека и его способность идентифицировать запахи также связаны между собой. Люди с избыточным ве-

сом больше ориентированы на запахи при питании, чем люди с нормальным весом. Если лишить их еду запаха, то они начинают терять в весе. Запахи влияют и на творческие способности человека. Так что будущая революция запахов неизбежно вызовет к жизни и политических *ольфакторов* — специалистов по запахам, оказывающих влияние на избирателей.

Запах как вариант формы знака может нести не так много символических значений, что связано с тем, что человек, в отличие, например, от собаки, различает не такое большое число запахов. Это социальные значения, известные и понятные всем, например, религиозные. Но при этом возникают и индивидуальные виды значений. Можно привести цитату из Марселя Пруста, когда он говорит о запахе гостиной, где жил его родственник, старый военный. Он говорит о ней, что она «источала тот неопределенный, но свежий запах, отдающий одновременно лесом и старомодным образом жизни, что так приятно щекочет ноздри и погружает нас в мечтательность, когда мы входим в какой-нибудь заброшенный охотничий домик» [149, с. 129]. Это отлично от нашего привычного реагирования, поэтому мы можем говорить, что определенные цивилизации характеризуется также определенным набором запахов.

Завершить наше рассмотрение хочется ироническими словами Николая Олейникова:

Человек и части человеческого тела
Выполняют мелкое и незначительное дело:
Для сравнения запахов устроены красивые носы,
И для возбуждения симпатии — усы.

ЯЗЫК ПОЗ И ЖЕСТОВ

Позы и жесты человека изучает такое научное направление как *кинесика*. При этом исследователи сближают позу и жест, понимая под позой элемент статический, а под жестом — динамический. «Но в сущности между позой и жестом нет резкой грани, поскольку поза — начальная или конечная фаза жеста, иначе — жест с нулевым движением»

[199, с. 123]. Американский ученый Р. Бирдвистелл предложил науку кинесику, а его соотечественник Эдвард Холл — науку проксемику, о семиотике пространства человека. О «техниках тела» писал француз Марсель Мосс. Именно он увидел проникновение во Францию через кинофильмы американского способа ходьбы. Он же считает, что может «опознать по походке девушку, воспитывающуюся в монастыре. Как правило, она ходит со сжатыми кулаками» [126, с. 66]. Он продолжает: «Вы можете с уверенностью сказать, что если ребенок сидит за столом с прижатыми к туловищу локтями, а когда не ест, держит руки на коленях, то это англичанин. Юный француз не умеет оставаться в определенном положении: локти у него веером, он наваливается ими на стол и так сидит все время» [125, с. 66—67].

Этот канал невербальной информации особенно важен, поскольку известно, что человек лучше контролирует слова, чем язык тела. Поэтому словами он может выражать, к примеру, соболезнование или поздравление, в то же время не подтверждая этого при помощи языка тела, как менее поддающегося контролю. Тем более это сообщение становится заметным, когда вступает в противоречие с общепринятым. Так: «Поэт Люций не вставал с места при входе Юлия Цезаря на собрании поэтов, потому что считал себя выше его в искусстве стихосложения. Ариост, получив лавровый венок от Карла V, бегал точно сумасшедший, по улицам». Такие примеры приводит Чезаре Ломброзо в своей книге «Гениальность и помешательство» [102, с. 16]. Другой пример «не того поведения» мы возьмем у Эрнста Кречмера: «*Аристократическое* некоторых шизоидных натур выявляется и у простых людей в потребности к высокомерию, в желании быть лучшими или иными, чем другие. Стремление говорить на изысканном верхненемецком наречии в среде непривыкших к этому иногда вскрывает шизоидное предрасположение. То же касается изысканности в одежде и во внешности» [92, с. 183].

Некоторые позы моделируют властные отношения к окружающим. Говорение как бы сверху, как бы с невидимой трибуны сразу привлекает внимание к рассказчику. Такое случилось с женщиной, которую все время перебивали.

Когда же она вернулась с чашкой кофе и стала говорить с новой позиции, то «в тот вечер ее никто не перебил. Важно не то, что вы говорите, а как вы это говорите» («Всеукраинские ведомости», 1994, 18 июня). Я.В.Чеснов приводит следующий пример: «Стоячая или сидячая поза со скрещенными ногами в Византии была свойственна персонам с властью. В Европе еще в XVIII в. она была кое-где запрещена детям и низшим слоям населения. В европейском искусстве XVI-XVII вв. стоячая поза со скрещенными ногами характеризовала первоначально пастухов» [199, с. 134].

Рукопожатие человека, когда его рука кладется сверху, говорит о желании главенствовать. Из 54 высокопоставленных представителей американской администрации 42 пожимали руку первыми именно таким способом, пишет Аллан Пиз [137, с. 57]. Он называет этот способ доминантным рукопожатием.

Исследователи обнаружили около тридцати типичных американских жестов, число поз еще меньше. Причем все они привязаны к конкретной ситуации. Если коммерсант пытается продать нечто влиятельному клиенту, он не займет традиционную позу сидения на стуле.

Отдельное исследование было посвящено взгляду человека. Если вы не смотрите на собеседника, вы даете понять, что не удовлетворены темой разговора. Если вы отводите взгляд, когда говорите сами, вы передаете сообщение, что не уверены в том, что говорите. Когда вы смотрите на говорящего, вы сообщаете ему, что согласны с ним, что вас интересует сообщение. Если вы смотрите на своего слушателя, вы сигнализируете о том, что вы уверены в сообщаемом.

Когда речь идет о людях в группе, типы поз подразделяются на такие классы: 1) включающие/исключающие; 2) визави или параллельная ориентация тела; 3) согласованное/несогласованное. В первом случае группа на вечеринке может образовать круг, исключая других. Если трое сидят на диване, они могут скрестить ноги, чтобы замкнуть человека, сидящего посередине. Люди стараются защищать свои группы в случае различных церемоний — свадеб, вечеринок и т.д. Когда группа вытягивается в цепочку, у стены, на конференции, наиболее важные ее члены располагаются по кра-

ям. В случае параллельной ориентации из троих людей двое всегда располагаются параллельно. Лицом к лицу сидят учитель — студент, доктор — пациент. И последний тип: люди в согласованной группе, стараются занять позы, которые копируют одна другую, являясь как бы зеркальным отражением другого. Смена позиции одного из них сразу приводит к смене позиций остальных членов группы. Каждая подгруппа выстраивается исходя из внутреннего согласования, но не согласуется с другой подгруппой. Даже семейная пара, которая ссорится, старается занимать согласованную позицию, чтобы не доводить ссору до логического конца. Выбирает позицию обычно лидер группы, остальные лишь повторяют ее. Если в семье в этой роли выступает жена, то она и есть глава семьи.

Подсказку дает и то, как семья рассаживается за столом. Когда муж и жена садятся по разные стороны длинного стола, они находятся в подсознательном конфликте. Если отец занимает позицию во главе стола, он доминирует в семье. В «открытой» семье не так важно, кто где сидит. В «закрытой» семье каждый имеет свой собственный стул, свою собственную территорию. Среди братьев и сестер доминирует тот, кто первым делает то или иное движение, остальные следуют за ним. Если дети повторяют жесты родителей, в этой семье все в порядке. При этом, конечно, язык тела не имеет того точного значения, какое имеют слова естественного языка.

Русская поэзия фиксирует различные типы поз, взглядов:

Юноша бедный со взором горящим

(Валерий Брюсов. Юному поэту)

Я, словно в цветник предосенний,

Походкою легкой вошла

(Анна Ахматова. «И в тайную дружбу с высоким...»)

Плотно сомкнуты губы сухие

(Анна Ахматова)

У меня есть улыбка одна:

Так, движенье чуть виднос губ.

Для тебя я ее берсгу —

Ведь она мне любовью дана.

(Анна Ахматова)

В качестве иллюстрации для имиджмейкеров как нужно «делать» улыбку приведем следующую историческую быль:

«В 1989 году фотокорреспонденты американского журнала “Тайм” приехали в Москву снимать Бориса Ельцина. Он же, как большинство наших людей, привык улыбаться, когда смешно, а не когда нужно. Один из журналистов, отчаявшись получить от Бориса Николаевича требуемое положение мимических мышц, подскочил к будущему президенту, ухватил его за обе щеки и... “поставил улыбку”» («Аргументы и факты», 1994, № 15).

Мы запрещаем руководителю активно демонстрировать свою эмоциональность. «Плачущий большевик» навечно приклеилось к Николаю Рыжкову. С другой стороны, дрожащий голос Бориса Ельцина, произносящего: «Извините, что ваш президент не смог вас спасти», сработал на его имидж — и сработал очень хорошо. Когда «Бритиш Петролеум» оказалась виновницей ситуации разлива нефти, ее представитель держал ответ по телевидению со слезами на глазах. И этот элемент честности тоже был одобрен общественностью.

О наличии слез в среде американской администрации рассказал бывший пресс-секретарь Марлин Фицуотер в своей книге «Созвать брифинг», с содержанием которой нас познакомил корреспондент «Известий» Владимир Надеин:

«Когда руководителю президентского аппарата Дональду Ригану стало ясно, что президент Рейган никак не вмешивается в самовластие “первой леди”, он зарыдал. Продолжая всхлипывать, он прочел заявление Рейгана, в котором выражалась дежурная благодарность уходящему в отставку сотруднику. <...> Но Риган был не одинок в административной слезливости. Еще один руководитель аппарата президента Джон Сунуну, бывший губернатор, человек жесткий, чтобы не сказать грубый, встретил свою отставку с красными глазами и дрожащими губами. Сунуну слетал на казенном самолете по своим делам, статьи об этом появились в газете “Вашингтон пост” и журнале “Ю.С. ньюс и Уорлд рипорт”, и президент Буш не замедлил попросить своего помощника об отставке. Плакал, покидая этот пост восемь месяцами позже, и преемник Сунуну Сэм Скин-

нер, что не помешало ему рассыпаться в благодарностях за совместную работу с шефом» («Известия», 1995, 23 авг.).

В администрации не только плакали, но и давали волю иным чувствам. Если в нашей истории был случай, когда Николай Рьжков схватился с Михаилом Горбачевым на заседании Политбюро, то в Америке подобное тоже бывало: министр жилищного строительства и городского развития Джек Кемп вцепился в глотку госсекретарю Джеймсу Бейкеру.

Перед нами явно знаковая среда. В ней есть разрешенные и запрещенные типы реализации. И мы настолько к ней привыкли, что не замечаем, как место, поза, жесты выдают начальственную особу, как с точки зрения жестов и поз ведет себя зависимый член иерархической цепочки. Есть соответствующие типы поз, разрешающие или запрещающие присоединение к данному лицу. Всегда можно отличить, как человек садится на лавочку: запрещающая или разрешающая подсесть, как он садится за стол в столовой или кафе! «Задержите свой взгляд чуть дольше на незнакомом человеке, и вы увидите, что случится», — пишет Юлиус Фаст [232]. Мы владем данным типом языка как бы не в полной мере. Мы неуверенно читаем на нем и неуверенно говорим. Точнее сказать, делаем то и другое достаточно уверенно, но за порогом сознания. Мы извиняемся при помощи улыбки чисто автоматически. Но для специалиста в области рекламы и паблик рилейшнз этот язык должен читаться и создаваться на уровне, равном языку естественному, ибо в этом случае необходимый набор сообщений может быть передан за пределами осознания. Мы достаточно легко подсознательно читаем и порождаем сообщение на данном языке. Приведем некоторые примеры из Николая Гумилева:

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд

(Жираф)

У него так неуклюжи ласки,

Но и я люблю ласкать его,

Чтоб его коричневые глазки

Мигом осветило торжество.

(Кенгуру)

И взором ловить ускользящий взор
(*Анна Комнева*)

Соответственно семиотически значимым является и окружение, контекст, в рамках которого свершается любое событие. Пример из того же Николая Гумилева:

И умру я не на постели,
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Утонувшей в густом плюще,
Чтоб войти не во всем открытый,
Протестантский, прибранный рай,
А туда, где разбойник, мытарь
И блудница крикнут: «Вставай!»
(*Я и вы*)

Другое описание подобного же контекста связано с управлением «С» внешней разведки КГБ, которое работало с нелегалами. Вот эта история в изложении «Известий»: «Когда Рудольф Абель умирал от рака и ему постоянно давали болеутоляющие лекарства, в управлении “С” была создана группа людей, в задачу которых входило помогать дежурить у постели больного. Так вот, в галстуках этих “помощников” были спрятаны микрофоны, и они ждали, что на смертном одре, в последний момент жизни Абель признается, что он когда-то был перевербован» («Известия», 1994, 2 сент.).

А вот описание другого контекста у Николая Гумилева:

Не по залам и по салонам
Темным платьям и пиджакам —
Я читаю стихи драконам,
Водопадам и облакам.

То есть любое наше действие семиотически нагружено, для него существуют нормированные позы, жесты и столь же нормированный тип контекста, в котором оно осуществляется. И нарушение любого из этих параметров может быть весьма значимым как для рекламиста, так и для спе-

циалиста по паблик рилейшнз. Перед нами очень богатый коммуникативный континуум, который, однако, не столь четко дифференцирован как язык слов.

Набор поз и жестов достаточно серьезно передает властные характеристики. Вот какие воспоминания о Петре Шелесте остались у Леонида Кравчука:

«Гроза! Его боялись. Все и вся в ЦК. У-у!.. Когда он появлялся, коридоры моментально пустели — все как мыши прятались! А он шел... Гроза грозой! Потому как царь! И вершитель судеб! Лицо такое... Величаво вырезанное. Красное такое... Грозно красное. Или еще: угрожающе красное. Был лысый, голову брил и от этого еще больше страху нагонял — почему-то даже своей массивной бритой головой. А какая могучая фигура! Шагал властно и солидно: топ, топ!.. Как будто не шел, а припечатывал каждый свой шаг: вот так... вот так... Так, а не по-другому» [196, с. 125].

В советах по приему на работу говорится: «Не только то, что вы говорите на интервью, играет роль, важно и то, как мы говорим это и как мы сидим, когда мы говорим это» [267, р. 21]. Идет постоянный поток информации по всем каналам, и, конечно, в случае критической ситуации этот поток следует контролировать вдвойне внимательно. Известный случай, когда разведчики проваливались из-за невладения как раз этим вариантом языка.

В качестве примера из другой сферы отношений можно привести рекомендации княгини Барской, обучавшей курсантов киевской артиллерийской школы до войны:

«Если идешь с замужней женщиной, то должен находиться слева и при необходимости поддерживать ее за локоть. С незамужней — справа, и вести ее под руку. Или же — пригласить на танец одну из двух беседующих дам я могу только, если найдется партнер для второй» («Всеукраинские ведомости», 1994, 26 нояб.).

То есть человек другой культуры выступил в качестве носителя знания, к тому времени уже частично утраченного.

Мы видим, что владение и управление этим знанием столь же важно, как и чисто словесное общение. Поток информации в срезе невербального общения может передать аудитории волнение и нерешительность политика, что ау-

дитория оценит негативно, а может — и его властные характеристики.

Политики всегда использовали пространство для подчеркивания своей значимости. Вспомним огромные кабинеты, трибуны. *Пространство* вокруг лидера контролируется его охранниками, *время* — многочисленным штатом помощников и секретарей. Тем самым время и пространство лидера как бы переводятся из разряда обыденности в сакральную плоскость. Попасть на прием к лидеру — это всегда ритуал, вероятно, имеющий корни в далеком прошлом. Лидер старается общаться с посетителем не сам, а с помощью секретаря, в ряде случаев поэтому можно лицезреть только подпись лидера на документе, но не его самого. Скрытость лидера от населения позволяет моделировать его как не имеющего земных забот, он посвящает свою жизнь только заботам о своих подданных. В этом плане справедливо замечание Роберта Ходжа и Гюнтера Кресса, которые пишут: «Словесный язык играет поэтому вторичную роль» [242, р. 64]. Естественно лидер и должен стремиться овладеть первичным языком.

Соответственно, умение оперировать пространством также несет определенную информацию:

«Тот, кто садится в нерешительности, демонстрирует этим, что у него недостает мужества или уверенности занять весь стул, поэтому по своей (излишней) скромности ему будет достаточно и краешка стула. <...> Если сидящий занимает весь стул, тем самым он демонстрирует, что он в полной мере хочет воспользоваться сделанным ему предложением, что у него достаточно уверенности в себе, чтобы не ограничиваться только краешком стула» [156, с. 170].

В детстве мы учимся пользоваться ножом и вилкой, сморкаться в носой платок. Потом нас учат разного рода жестовым реакциям. Кстати, и сегодня загадкой в деле ГКЧП остается тот факт, что когда заговорщики прилетели к Горбачеву в Форос, то после сложного разговора он прощался с ними с каждым за руку, что и служит сейчас признаком одобрения Горбачевым ГКЧП.

Военные позы и жесты скупы и явно исходят из ограниченного словаря. Но точно таким же является словарь каж-

дого из нас, наша кажущаяся свобода в порождении казались бы любых поз и жестов очень условна. Мы говорим на языке, который давно уже прописан, в нем все уже задано заранее. Поэтому фраза «и в воздух чепчики бросали» вполне нам понятна даже без контекста.

ЯЗЫК ОДЕЖДЫ

Одежда также четко отсылает нас на иные семиотические коды, подключает к новому набору сообщений. «Кожаная тужурка» послереволюционной эпохи сменилась сегодняшними вариантами костюмов «от кутюр» новых русских/украинцев. Если раньше со «стилягами» как проводниками западного влияния боролись всей мощью советского государства, то сегодня это противопоставление «восток—запад» в значительной степени оказалось нейтрализованным. Правда, все это произошло несколько односторонне. Просто «восток» получил право становиться «западом», но не наоборот. Когда Петр Первый уничтожил бороды и вводил немецкие костюмы, он не учитывал того факта, что черты в храмах как раз и изображались безбородыми и в подобном платье. Подобная нейтрализация, когда не учитываются особенности восточной ментальности происходит и сегодня. Еще одним вариантом нейтрализации стал переход многих элементов одежды от акцентированных к нейтральным. Например, джинсы как символ самой крутой моды советского молодого человека превратились в нулевой знак, который сегодня практически не несет никакой информации.

Значение одежды как отсылки к иным символическим мирам можно увидеть и в желтой кофте Маяковского, когда футуристы пытались заявить о себе самым громким образом. Советский Союз сначала отменил погоны у своих военных, потом вновь ввел их в годы Отечественной войны, забыв уничижительное слово войны гражданской — «золотопогонник». Дизайнер британского стиля Вивьен Вествуд говорит:

«На создание одежды меня вдохновляют исторические романы. В основном это французские писатели, описываю-

щие эпоху Людовиков или времена Директории. Туалеты в их произведениях необычайно женственны и красивы: корсет затягивает талию и поднимает грудь, пышные шуршащие юбки будоражат воображение, а обилие рюшей, воланов, кружев и оборок кружат голову как дамам, так и кавалерам...» («Новые Известия», 2001, 8 июня).

В этом плане одежда как знак может указывать на время, откуда она пришла, одновременно отсылая нас на значение этого же знака в современном контексте. Мы можем отобразить это следующим образом:



Как видим, мода имеет свой словарь и свою грамматику. «Слова» мы можем брать даже из прошлых эпох, например, возвращение погон в красной армии, что не так просто в естественном языке, где такие слова четко обозначаются как устаревшие и возможны только в исторических романах.

Одежда как знак отражает соответствие трем видам объектов:

- себе, при отражении собственной индивидуальности;
- контексту (например, нельзя перепутать карнавал и защиту диссертации);
- общей систематике одежды, принятой в данном обществе.

Одежда тех, на кого обращает внимание публика, становится предметом отдельного анализа. Например, уже сорок лет мистер Блэкуэлл, настоящее имя которого Ричард Зельцер, публикует список десяти самых дурно одетых женщин года. Причем делает это в максимальной степени ядовито и запоминающе. Например, вот его комментарии по поводу Элизабет Тэйлор («Коммерсантъ-Власть», 2001, 23 янв.): «Она напоминает о возрождении цеппелинов»; «в своих

свитерах и юбочках она похожа на связку сосисок»; «тюбик зубной пасты, выдавленный, который начали выдавливать с середины»; «выглядит как два маленьких мальчика, борющихся под одеялом»; «ей пора заканчивать с поисками модельера и начинать искать себе архитектора».

Россия попыталась создать подобный же список. В него вошли Любовь Слиска, Алла Пугачева, Валентина Матвиенко, Юлия Меншова, Регина Дубровицкая, Галина Волчек, Елена Батурина, Людмила Путина, Светлана Сорокина, Ирина Хакамада. Это список десяти самых дурно одетых женщин России по версии журнала «Коммерсантъ-Власть».

Подлинно семиотический анализ языка одежды сделал Ролан Барт (см. [16]). Разграничивая язык (как кодовые правила) и речь (как конкретную реализацию этих правил), он увидел, например, в журнале мод язык в чистом виде, речь там отсутствовала.

«Фотография дает полусистематическое состояние одежды: с одной стороны, язык моды возникает здесь на основе псевдореальной одежды; с другой — сфотографированная манекенщица является, если так можно выразиться, нормативным индивидом, выбранным в качестве модели из-за своей каноничности; следовательно, манекенщица представляет собой как бы застывшую “речь”, лишенную всякой свободы комбинаций» [16, с. 122—123].

В реальной одежде он уже видит четкое противопоставление языка и речи: язык — это костюм, речь — способ ношения костюма.

Сам язык одежды Ролан Барт описывает на двух уровнях:

- 1) уровень оппозиции, в котором находятся отдельные детали туалета, например, берет или котелок на голове;
- 2) правила сочетания отдельных деталей, к примеру, галстук нельзя одеть поверх пальто.

К речи как реализации закономерностей, заданных языком, в этом случае относится: размер, степень изношенности, загрязненности, личные пристрастия владельца, меру свободного сочетания отдельных деталей.

А.К. Байбурин предложил говорить о пониженной и повышенной семиотичности [15]. Высокий семиотический

статус имеют элементы духовности, низкий — «материальная культура». Некоторые вещи стремятся к высокому статусу, тогда их «вещность» стремится к нулю. Такими предметами в прошлом были маски, амулеты.

Петр Богатырев разграничивал четыре варианта костюма со своими функциями: будничныи костюм, праздничныи костюм, торжественныи костюм, обрядовый костюм [33]. Он также пишет о сабле и мече, которыми никого зарубить нельзя, но они становятся «благородным» знаком, отличающим чиновников от прочих граждан [33, с. 308].

Джон Фиске пишет о джинсах: в день проведения опроса из 125 его студентов 118 были в джинсах, оставшиеся семеро просто не надели их в этот день. Что же делает джинсы такими популярными, задается он вопросом. Один из ответов оказался в том, что джинсы, лишая людей внешней социальной дифференциации, дают человеку свободу. Вторым по частоте ответом стал ответ о естественности джинсов, которые своей неформальностью побеждают формальный характер любой другой официальной одежды. Но джинсы с точки зрения культуры их создателей (и соответственно рекламы) несут социальные и классовые различия. В том числе и различия мужской/женский вариант. Важно, как много реклам джинсов ориентировано на женщин, поскольку в нашем патриархальном обществе женщины более мужчин склонны вкладывать свою социальную индивидуальность, самооценку и сексуальность во внешний вид своих тел [234, р. 10]. Видимо, отсюда и вытекает преобладание роли женской моды над модой мужской.

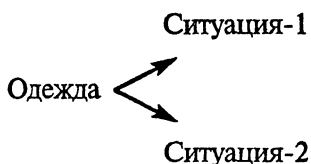
Питирим Сорокин подает описание того, как мундир преображает человека.

«Человек, выступающий в определенной общественной роли, например, в роли жреца, вождя, судьи, облачаясь в свою символическую одежду, надевая на себя соответственные атрибуты (например, судейскую цепь, священническое облачение, парадный мундир и т.д.), окруженный предметными проводниками (обстановка храма, судебного зала, парламента и т.д.), часто совершенно трансформируется и перестает походить на самого себя, каким он бывает в частной жизни вне этих атрибутов» [159, с. 183].

Здесь, конечно, Питирим Сорокин не упоминает смену социального контекста действия, которая влияет на него больше, чем изменение его внешнего вида.

Действительно, тип одежды задает определенные поведенческие параметры каждого из нас. Он выступает в роли определенного «триггера», разрешающего те или иные типы поведения. Или запрещающего. Например, представьте себе комическую ситуацию в виде человека в смокинге, стриженного кустарник. Таким образом одежда является в определенной степени компонентом ситуации.

Определенные типы церемоний существенным способом связаны с обязательным или предпочтительным типом одежды. Сегодня мы частично нарушили эти правила, разрешая посещение, к примеру, оперного театра в джинсах и кроссовках.



В рекламе джинсов немецкого дизайнера Отто Керна были задействованы рассаженные по аналогии с «Гайной вечерей» девушки, обнаженные по пояс. В результате разразившегося скандала, о джинсах Отто Керна узнало 80% немцев. Аналогично итальянская фирма «Бенеттон» использовала в рекламе окровавленную майку убитого хорватского бойца. Картинка предавалась анафеме, но благодаря снимку о концерне узнали все, и его торговый оборот достиг двух миллиардов долларов («Комсомольская правда», 1994, 18 марта).

Лев Карсавин перекликается с Георгием Кнабе [85] в анализе исторического костюма. Материальное, по мнению Карсавина, «всегда символично и в качестве такового необходимо для источников во всей своей материальности. <...> Вспомним изысканные наряды Бургундии при Карле Смелом, парики в эпоху короля-Солнца, помпезную процессию испанского самодержца в спальню супруги-королевы, при-

чески дам при дворе Людовика XVI» [78, с. 101]. Интересно тут и то, что символический континуум порождает вдвойне символические объекты. Уровень символизма тем выше, чем символичнее исходный базис. Королевский двор в этом плане должен быть подлинным Клондайком символизма, ибо в этой замкнутой среде коммуникативным становится все.

Пассаж же Л. Карсавина о римской тоге столь семиотичен, что мне хотелось бы привести его полностью:

«Римская тога, с ее тщательно разглаженными линиями, не набрасывается небрежно на плечи, подобно походному плащу. Требуется известное уже при Цинциннате умение ее надеть и носить. В ней нельзя работать. В ней смешно бежать или даже быстро идти, торопиться. Она требует внимательного отношения к себе, когда садишься или встаешь, пожалуй, не менее внимательного, чем кринолин или фижмы. Зато мало какой наряд способен в той же мере оттенить важность и благородно-спокойные манеры. В этом смысле наш современный мундир ничего не стоит по сравнению с римской тогой. И разве не такую должна была стать официальная и парадная одежда римлянина, не извне, как современный чиновник, заковываемого в достоинство, но определяющего его изнутри? Римлянин был весь проникнут сознанием своей свободы и своего достоинства, которые не позволяли ему бегать и спешить, подобно какому-нибудь рабу, зависимому человеку, выскочке...» [78, с. 101].

Современный исследователь Георгий Кнабе говорит о тоге следующее:

«Семиотика тоги состояла, во-первых, в том, что она была торжественным, государственно обязательным и как бы сакральным одеянием именно римлян, воплощавшим их традиции, их самосознание и отличавшим их от всех других народов, официальным облачением римского гражданина. Когда в 80 г. до н.э. царь Понта Митридат решил разом покончить с властью римлян в Малой Азии и истребить римлян, находившихся в городах этой провинции, он приказал своим сторонникам убивать всех, кто одет в тогу. Более верного способа отличить римлян от неримлян, по-видимому, не существовало» [85, с. 86].

Для политика (и особенно имиджмейкера) одежда становится важным каналом информации. Исходя из одежды, политик может быть «прочитан» населением как консервативный или склонный к переменам. В США Джон Кеннеди принес в политику одежду нового поколения. Джон Мейджор долго заявлял, что люди должны видеть меня таким, каков я есть, что я не дам имиджмейкерам работы. Однако под влиянием постоянной критики он сменил свои костюмы, очки, прическу. Но, как оказалось, это было сделано слишком поздно. Он оказался в плену стереотипа человека серого и бесцветного, одевающегося по-стариковски. Как пишет Брендан Брюс:

«Поскольку имиджмейкеры понимают, что одежда передает внушительный объем информации о ее владельце, они имеют возможность выбирать, какой тип информации они хотят передать, делая соответствующий выбор. Класс, статус, вкус, стиль, чувство моды, профессия, национальность, служебное положение — все это может быть передано с помощью особого стиля одежды» [225, р. 65].

Например, галстук столь важен, что «Уолл-стрит джорнел» сообщает своим читателям, какой должен быть узел и рисунок на данный момент. Шеф протокола Бориса Ельцина рассказывает:

«Американцы в отношении галстуков очень консервативны. Больших консерваторов вы не найдете. У них галстук, как правило, в полоску (красную, зеленую, синюю). Многие президенты США действительно предпочитали красные галстуки <...> Горбачеву галстуки подбирала Раиса Максимовна. Надо сказать, что она придавала туалету, на мой взгляд, намного больше значения, чем придает Наина Иосифовна. Та смотрит, что называется, от жизни».

В интервью газете «Рекламный мир» (неопубликованное, рукопись, 1995) Леонид Кравчук говорит:

«Я веду постоянные консультации с Михаилом Ворониным, иногда шью у него и регулярно совещуюсь. Хотя мне с выбором одежды не очень сложно — фигура классическая. Поэтому я надеваю стандартный швейцарский пиджак — и иду. Жена тоже советует... А сколько мне писали писем: вы не так подстрижены, вы сегодня не улыбались, вы не наде-

ли наш любимый пиджак. Это, естественно, отражалось на моем поведении».

В поле внимания попадают различного рода «отклонения», если они проявляются у политиков. Так, президент Клинтон появился на торжественном заседании по случаю 75-й годовщины принятия 19-й поправки к конституции США в высоких ковбойских сапогах горчичного цвета, сделанных из кожи ящерицы. Хиллари Клинтон тогда заявила:

«Меня, очевидно, не было с ним, когда он покупал эту обувь» («Известия», 1995, 29 авг.).

Или самый молодой член Берлинского сената пастор Томас Крюгер выпустил плакат, где был изображен в обнаженном виде. Смысл был таков: ему нечего скрывать от своих избирателей. Подобным образом поступила и шведская социалистка Хелена Альбак, и победила на выборах, а ее партия в коалиции с другой — получила право формировать правительство («Московские новости», 1994, № 54).

Когда премьер-министр Турции Тансу Чиллер посетила ресторанчик и попала на страницы газет в своем новом платье, это вызвало целую бурю возмущения. Платье стоило три тысячи долларов, и депутат от оппозиционной партии сразу же внес запрос в парламент по поводу «нескромного поведения» главы правительства: «С одной стороны, вы издаете директивы о необходимости строгой экономии средств в связи с переживаемыми в стране трудностями, а с другой — тратите огромные деньги на наряды. Вы что, играете с чувствами вашего народа? Не противоречит ли ваше поведение вашим идеям?» («Новости», 1994, 27 июля).

Разумеется, общественное внимание обращает повышенное внимание на одежду жен политиков.

Опросы общественного мнения показали: 20% мужчин безразлично, какого цвета у них одежда, среди женщин таких только 11%. Предпочтения мужчин — темные цвета: черный, серый, синий (1, 2, 4 места). У женщин на первом месте — белый, на третьем — красный («Аргументы и факты», 1995, № 9). Западные психологи считают, что синий и серый передают авторитетность, коричневый — доступность, и, вероятно, поэтому его предпочитал Рейган. Есть

специальные службы маркетинга по цвету, которые предсказывают наступление модных цветов. Так, фирма «Сэсон-найт» получила прогноз, что через два года войдет в моду цвет хвойного леса, и заранее начала выпускать сумки и чемоданы этого цвета. Однако следует принимать во внимание и национальные традиции. Когда та же фирма стала сбывать в Мексике сумки фиолетового цвета, они не пошли вовсе. Как оказалось, в этой стране это цвет траура и печали («Известия» 1995, 4 февр.). Для промышленной продукции цикл смены оттенков составляет 15 лет. Исходя из этого, можно составить таблицу предпочтений человека, выдающих его характер:

ЦВЕТ	ХАРАКТЕР
<i>красный</i>	люди активные, энергичные, агрессивные
<i>синий</i>	люди спокойные, надежные, достойные доверия
<i>голубой</i>	жизнерадостные
<i>зеленый</i>	влечение к природе, готовность приспособиться к обстоятельствам
<i>желтый</i>	оптимизм, теплота и дружелюбие
<i>розовый</i>	поверхностность, ребячливость
<i>бирюза</i>	эгоцентричные личности
<i>фиолетовый</i>	поэты и художники
<i>коричневый</i>	люди рациональные, земные, крепко стоящие на ногах, консервативные

Хорошо подобранные цвета позволяют политику не показывать усталости, и даже выглядеть моложе своих лет. Указания о типе одежды обязательно входят в бизнес-этикет, причем индивидуальный для той или иной страны. Так, например, о Голландии пишется, что она, «возможно, единственная страна в Европе, где можно одеться небрежно для бизнеса, но это не должно служить поводом для плохой работы. (...) Небрежность в одежде допустима, но небрежные манеры или небрежное отношение к делу не приветствуются» [225, p. 215].

В ряде случаев «манипуляции» с одеждой носят политический характер. Вспомним однотипность одежды совслужащих во времена Сталина, китайскую униформу времен Мао.

Те или иные исторические моменты, те или иные рабочие контексты могут фиксироваться и связываться с тем или иным типом одежды. В таком ключе Мстислав Ростропович вспоминает защиту «Белого дома»: «Пришел Руцкой с человеком, у которого был “Калашников” в руках. Руцкой был в черном костюме, белой рубашке с красным галстуком и со Звездой Героя Советского Союза» («Известия», 1994, 15 июля). Некоторые исторические аспекты одежды в качестве комментария к литературным текстам часто становятся предметом отдельных изданий. Наиболее яркими примерами здесь могут служить [105; 81].

Литература активно пользуется отсылками на зрительные характеристики в виде одежды:

Пусть халат мой залит свежей кровью, —

В сердце гибель загорелась с нами.

Я — как мальчик, схваченный любовью

К девушке, окутанной шелками.

(Николай Гумилев. Орел Синдбада)

На руке моей перчатка,

И ее я не сниму,

Под перчаткою загадка,

О которой вспомнить сладко

И которая уводит мысль во тьму.

(Николай Гумилев. Перчатка)

На шее мелких четок ряд,

В широкой муфте руки прячу,

Глаза рассеянно глядят

И больше никогда не плачут.

(Анна Ахматова. На шее мелких четок ряд)

Некоторые параметры претерпели изменения со временем. Так, если в Древнем Риме зеленый цвет был женским и наличие его в мужской одежде являлось признаком женственности, намеком на порочность, то сегодня он возникает и как элемент мужской одежды. Клод Бонуччи активно вводит цвета в мужскую моду, и делает это, начиная с 1965 года. Он уходит от серого костюма и отдает предпочтение иным цветам: «голубой, как небо, желтый, как солнце, и зе-

ленный, как молодая трава. Эти три цвета позволяют человеку чувствовать себя счастливым, не дают черному входить в его душу» («Финансовая Украина», 1995, 29 июня). Но это вариант модной одежды, которая и афиширует свой принципиально инновационный характер. Но общая идея, систематика того, что же именно должен выражать цвет, сохраняется. Вот что говорит о Древнем Риме Георгий Кнабе:

«Семантика цвета в мужской одежде отличалась от семантики в женской в ряде случаев, но в общем подчинялась той же закономерности: яркая одежда означала афиширование богатства и, следовательно, нарушение исконно римского канона скромности, приличия, уважения к историческим нормам. Наиболее ясно выражал это чувство алый цвет — и очень дорогой и бесстыдно намекавший на магистратский, сенаторский или всаднический пурпур. Почти все отрицательные герои Марциала, Ювенала, Петрония, наиболее наглые, отвратительные или смешные ходят в пурпуре и в платье различных оттенков алого цвета» [86, с. 108-109].

Одежда несет гораздо больше информации о ее владельце, чем мы думаем. Человека начинают «дешифровать», исходя из цвета галстука, покроя костюма. Политиков специально обучают тому, чтобы не производить отрицательного впечатления, например, белыми носками, полиэстровыми галстуками, темными очками. Предлагаются четыре тональных типа, в рамках которых и следует одеваться в дальнейшем. Это такие типы: «Зима» (бледная кожа, темные волосы, карие глаза); «Весна» (кожа цвета слоновой кости, блондин, голубые глаза); «Лето» (кожа цвета слоновой кости, рыжие волосы, карие глаза); «Осень» (розовая кожа, блондин, голубые глаза).

Столь же важную роль играет тип прически. Например, Кеннеди специально стригся так, чтобы выглядеть старше. Ивана Рыбкина упрекнули за то, что он повторяет прическу Бориса Ельцина. Или поступивший от имиджмейкера совет Маргарет Тэтчер не появляться в телестудии в шляпах. Женщине, идущей в политику в постсоветских странах, имиджмейкер посоветует принять мужской стиль одежды, наряду с какой-нибудь мужской профессией. Хотя Габриель Шанель когда-то сказала: «Одевайся ярко — и заметят твое

платье, одевайся безукоризненно — и в тебе увидят женщину» («Известия», 1994, 22 янв.).

Соответствующие требования предъявляются и к телеперсонажам.

Элери Семпсон посвятила большую часть своей книги «Фактор имиджа» [259] именно языку одежды. Она приводит следующее распределение поступления новой информации по каналам: Зрение 75%, слух 13%, прикосновение 6%, запах 3%, вкус 3%.

Отсюда и следует наше пристальное внимание к одежде, ее стилю, ее цвету. Власть и авторитетность она связывает с контрастом в одежде очень темных тонов с очень светлыми, такова, по ее мнению, униформа полицейских, медсестер. Именно контрастность характерна для формы и униформы. Коммуникатора она связывает с любыми оттенками синего, которые хорошо смотрятся по телевидению. Исследование 1986 года показало, что женщины легко заимствуют вещи из мужского гардероба, однако это невозможно для мужчин. Многие элементы одежды существуют только в женском варианте.

Элери Семпсон предлагает основные правила одевания:

Правило 1. Используйте не более трех цветов для основных частей экипировки. Нейтральность задает профессиональный вид.

Правило 2. Избирайте одежду и аксессуары с прямыми линиями и простыми формами. Это придает профессиональный вид.

Правило 3. Избегайте смешения рисунков.

Правило 4. Цвета имеют вес, самые темные тона должны использоваться внизу (черные туфли, серая юбка, белая блуза).

Правило 5. Используйте контрасты для передачи власти (теплые тона — для доступности, холодные тона — для утонченности).

Одежда может рассматриваться как достаточно древний вариант знаковой системы (см., например, работы П. Богатырева — о нем [146]). В ней хранятся те отсылки на память человечества, которые уже давно стерлись у нас в сознании.

ЯЗЫК ПИЩИ

Марсель Пруст оставил нам восхитительное описание человеческой реакции и человеческой памяти на вкусовые ощущения в своем романе «В сторону Свана». И сделал это по поводу пирожного «мадлен»:

«В то самое мгновение, когда глоток чаю с крошками пирожного коснулся моего неба, я вздрогнул, пораженный необыкновенностью происходящего во мне. Сладостное ощущение широкой волной разлилось по мне, казалось, без всякой причины. Оно тотчас же наполнило меня равнодушием к превратностям жизни, сделало безобидным ее невзгоды, призрачной ее скоротечность, вроде того, как это делает любовь, наполняя меня некоей драгоценной сущностью, или, вернее, сущность эта была не во мне, она была мною» [149, с. 93].

Подобную реакцию из своего собственного опыта может вспомнить каждый. Только нужно задуматься или просто столкнуться со старым и родным вкусом внезапно по прошествии многих лет. Проходят годы, но вкусовая память хранит то, что, казалось бы, должно было быть давно забытым.

Употребление пищи представляет собой важный ритуал, где значимыми, знаковыми становятся многие моменты. Например, В. Путин, принимая французского президента, угощал его пивом «Балтика», причем два президента предпочли разные сорта. Президент Джордж Буш каждое утро в 5.30 приносит в постель своей жене Лоре свежесваренный собственноручно кофе. И этот факт уже сразу начинает менять наше представление о нем как о человеке.

Писатель Владимир Сорокин выпустил целую книгу о еде — «Пир», где уже сама обложка иллюстрирует дух пиршества. В интервью журналу «Итоги» (2000, 21 нояб.) он говорит: «Кухня — это такой же язык коммуникации, как язык моды, например».

Пища представляет настолько важную часть жизни человека, что с неизбежностью принимает на себя определенный символизм. С одной стороны, это организация принятия пищи, которую каждое общество символизирует по-своему. Так, монгольский скотовод, отправляясь в даль-

ний путь, не брал с собой запасов еды, поскольку любая юрта по дороге была его домом, где его и накормят, и напоят [65, с. 84]. Употребление пищи может очень легко нести на себе отпечатки различного рода символических операций типа усиления, гиперболизации. Георгий Кнабе, анализируя эпиграмму Марциалла, в которой герой пьет из муррового кубка, пишет:

«Он, тут же нарушая старинное равенство застолья, сам пьет из особого кубка, особое вино, явно лучшее. Зачем? Вовсе не только по гастрономическим соображениям. Мурра — полупрозрачный минерал, высоко ценившийся в Риме и очень дорогой. Драгоценные кубки были предметом особой гордости, их коллекционировали, и такая коллекция создавала человеку репутацию ценителя и знатока искусства. Демонстрация дорогой и старинной посуды была в обычае на званых обедах, и такой обычай был формой демонстрации повышенного социально-имущественного и культурного статуса хозяина» [86, с. 150].

В истории человечества зафиксированы и рыцари Круглого Стола, не переговорного, а обеденного. Торжественная еда всегда сопряжена в истории человечества с теми или иными ритуалами. Так, в Древнем Риме обеды в одиночку были исключением: «Римляне любили говорить, что количество людей в застолье должно начинаться с числа граций (то есть, с трех) и доходить до числа муз (то есть, до девяти)» [85, с. 124].

Известная встреча Никиты Хрущева с художниками тоже сопровождалась ритуалом принятия пищи. Михаил Ромм вспоминал:

«Ну, расселись все. С одного конца раздался такой звоночек, что ли. Встал Хрущев и сказал, что вот мы пригласили вас поговорить, мол-де, но так, чтобы разговор был позадушевнее, получше, пооткровеннее, мы ведь откровенны с вами, решили вот — сначала давайте закусим. Закусим, а потом поговорим. Ну, тут все навалились. Значит, разговор будет явно серьезный, а пока жри индейку, лососину, запивай виноградным соком. Да, еще Хрущев извинился, что нет вина и водки, и объяснил, что не надо пить, потому что разговор будет, так сказать, вполне откровенный...» [153, с. 126—127].

В данном случае алкогольные напитки рассматривались как отрицательный символ, от них избавлялись. В то же время начальник элитной разведшколы в Польше говорит, что трезвенники им не нужны, ибо «самые важные дела обговариваются за выпивкой». Поэтому в школе есть учебный бар, где проверяется, как алкоголь влияет на слушателей, становятся они агрессивными или разговорчивыми под его влиянием («Всеукраинские ведомости», 1995, 2 авг.). Этикет входил и в подготовку довоенных офицеров. Как вспоминает один из выпускников, их учили, «чем отличается рюмка от бокала, фужер от стопки, и что в них наливают. А также тому, что из пиалы не пьют, а мочат в ней кончики пальцев. Например, после блюд, которые следует есть руками. Преподаватели в училище по этому поводу рассказывали о ставшем классическим конфузе, случившимся с царским генералом Игнатьевым во Франции. Этот господин почему-то не знал о назначении пиалы» («Всеукраинские ведомости», 1994, 26 нояб.).

В особых вариантах еда может также служить подсказкой для шпиона, указывая на предстоящую кризисную ситуацию. Так, хозяин пиццерии, расположенной поблизости от Белого дома, знает это по качеству заказываемой пиццы.

«Например, когда на повестку дня встала интервенция на Гаити, сотрудники секретной службы по два раза в день появлялись в ресторане, чтобы заказать любимое блюдо президента. Это мнение разделяет и профессор Массачусетского университета Юдит Вуртман, которая считает, что поглощение пиццы — это типичное занятие людей, испытывающих состояние стресса. Хиллари Клинтон, по-видимому, стремится отвести мужа от ресторана быстрого обслуживания, но ей это мало удается» («Российская газета», 1995, 30 марта).

Как оказалось, Билл Клинтон больше всего обожает пиццу с толстыми сардельками, ветчиной и жирным сыром.

С известного постановления ЦК КПСС 1985 года началась антиалкогольная кампания. Премьер-министр Российской империи Сергей Витте, введший в России винную монополию, «не уставал повторять, что французская революция зародилась в местах для совместного распивания алкоголя и

длительных антиправительственных бесед, следующих за стаканчиком перно» («Московские новости», 1995, № 34). Но одновременно в нашей истории был и «наркомовский паек» в армии, в который входили и 100 граммов водки. КГБ также занималось поиском пептида, вызывавшего алкогольную эйфорию... Под влиянием этого пептида человеку можно было вводить важную информацию, но в трезвом состоянии он ничего не помнил. Процесс съема информации протекал только после ввода соответствующего пептида («Комсомольская правда», 1995, 2 июня).

Алкогольные напитки становятся символами страны: водка — России, коньяк — Франции, портвейн — Португалии, виски — Америки. То есть тип потребляемого продукта прошел серьезный процесс символизации. П. Бурдье писал (и исследовал) тип еды буржуа и пролетария. В одном случае важна некалорийность продукта, в другом, наоборот, требуется максимум калорийности. Соответственно, на первое место выходят иные предпочтения: мясо, к примеру, сменяется фруктами. По типу употребляемой еды мы можем составить образ человека.

Сегодня мы уже привыкли к тому, что вопросы о любимой еде стали достаточно стандартными при общении со знаменитостями, соответственно еда становится определенным символическим параметром, работающим на имидж той или иной звезды. Вот, к примеру, ответ Людмилы Гурченко: «Очень люблю вареники с картошкой, винегрет. Кстати, когда я голодна, то могу переесть всех. Никаких диет в жизни своей не знала» («Всеукраинские ведомости», 1995, 5 сент.). Интересно, что в подобных ответах и таких телепередачах удачно переплетаются несколько символических линий. Это и личностный, знаковый характер именно своего дома. Это и профессионализм в кулинарии, который читатель может перенести и на другие области. Это и вплетение собственной специальности. И самое главное — этот тип коммуникации ясен и понятен любому телезрителю. Его кумир оказался «переведенным» на понятный и доступный язык.

Еда становится значимым фактором для политика, поскольку он должен выглядеть *здоровым*. По рейтингам на За-

паде сейчас лидируют напитки, поддерживающие имидж «здорового образа жизни». Это — отражение общей символической линии, где еда является только одной из составляющих.

Врачи предлагают особый тип питания для политиков. За два часа до выступления с речью перед большой аудиторией — легкий, но полный завтрак: овсянка, салат, отбивная, citrusовые. Кофе придает уверенности. Определенная доза кофеина вызывает временный прилив сил, поэтому перед важным совещанием можно выпить чуть подслащенный кофе. То есть еда начинает связываться с определенными типами знакового поведения. Норма поведения поддерживается соответствующими нормами питания.

Политика в США предполагает такой тип публичной коммуникации, как благотворительные обеды. Верхний предел цены, если в обеде принимает участие кандидат в президенты, строго оговорен — не более одной тысячи долларов. Кандидатам надо собрать 20—30 миллионов долларов на президентскую избирательную кампанию 1996 года. Рекорд сегодня побил сенатор-республиканец Фил Грем, который за один вечер собрал в Далласе 4 миллиона 100 тысяч долларов («Литературная газета», 1995, 29 марта).

Еда играла и играет особую роль и в нашей политике. Леонид Кравчук так говорит о функциональной роли обедов времен политбюро:

«Ежедневно происходили так называемые обеды политбюро... Вот где тема для художников, для эпохальной картины! — это, считайте, обеды богов. Ежедневно на обед — в здании ЦК для этого выделили специальный зал, где собирались члены политбюро, и те, которые здесь работали, и те, кто в Совете Министров или в Верховном Совете, — если, конечно, кто-нибудь из них не находился в командировке. Во главе стола — первый. Блюда подавались особые. <...> Роскошные обеды были неспешными, длились долго, иногда по полтора — два часа. Тут, за столом, можно было и вопросы разные порешать — партийные, государственные, поскольку высшее руководство партии и государства собиралось. Получалось, как неофициальное заседание политбюро. И я часто на этих обедах решал разные важные вопросы — быстро и оперативно. Это было легче, чем ходить по кабинетам. <...>

А заведующие [отделами] обедали вместе с инструкторами. Потом их разделили: отдельно обедали завотделами, первые замы, помощники, у них был отдельный зал, у каждого было свое место. А инструкторы, консультанты и другие «нижние чины» обедали в другом зале» [196, с. 134—135].

А вот достаточно интересный эпизод, связанный с Биллом Клинтонем, который, как известно, перед визитом в Москву приземлился в Бориспольском аэропорту. Он пожаловался, что в поездке негде бегать, а Леонид Кравчук поведал ему то, о чем узнал из журнала «Америка», где говорилось, что 100 граммов водки заменяют для сердца один километр бега, поскольку при этом повышается активность крови и сердца.

«Высокопоставленный гость выслушал это с интересом, и хотя заметил, что не пьет, так как у него аллергия на выпивку, но от украинской с перцем не отказался. Она ему так понравилась, что глава американского государства опрокинул три чарки, развеселился, был в хорошем настроении и потом держался на общей пресс-конференции свободно. Хотя в Москве, куда полетел потом, уже не пил. Но об украинской с перцем отзывался с уважением» [196, с. 402—403].

Ритуальная проблема, как правило, возникает в случае официальных приемов. Из сообщений шефа протокола Бориса Ельцина узнаем, что американцы пользуются круглыми столами на 10—12 человек, испанцы, итальянцы, немцы предпочитают П-образные или Т-образные столы. Москва применяет овальные столы на 7—8 человек. На приемах провозглашаются два тоста: тост хозяина и тост гостя. Что касается меню, то ориентир сделан на чисто русскую кухню. В случае приема арабских гостей работает запрет на свинину. Ранее использовалась так называемая царская посуда с вензелями императора, до 1992 года — были тарелки с гербом Советского Союза. «Сейчас мы сделали свою посуду для приемов в Кремле. На хрустальных рюмках есть российский герб. Красивые фарфоровые тарелки сделаны с оттенком в серый цвет с гербом России» («Комсомольская правда», 1995, 22 сент.).

Разработаны соответствующие правила поведения и для людей бизнеса в случае подобных мероприятий, проводи-

мых на своем уровне. Например, встреча на коктейле предполагает следующие необходимые параметры:

1. В приглашениях должно быть четко оговорено время начала и конца коктейля, и это должен быть строго ограниченный отрезок времени (например, с 18.30 до 20.30).

2. Коктейли предоставляют прекрасную возможность возродить основы корпоративного гостеприимства — они не длятся долго и позволяют принять большое количество людей.

3. Большинство молодежи может провести пару часов на ногах, однако для более пожилых гостей следует предусмотреть несколько стульев.

4. Комнаты, где проходит коктейль, быстро нагреваются. Обязательно следует следить за температурой в помещении.

5. Если напитки подаются с подносов — прекрасно. Если есть бар — его должны обслуживать профессионалы.

6. Большинство собравшихся ожидает какую-то еду на коктейле — без разнообразных бутербродов не обойтись.

7. Организаторы должны следить за тем, чтобы у всех гостей оказались собеседники.

8. На коктейле может произойти все, что угодно, поэтому следует запастись средствами для быстрого наведения чистоты.

9. Наведение чистоты и порядка должно осуществляться тихо и незаметно.

10. Гости должны покинуть коктейль в течение пятнадцати минут после обозначенного времени его окончания, если не было объявлено о дополнительном продолжении коктейля.

И еще одно очень важное правило, которому нужно следовать неукоснительно: «Как бы прекрасно ни был организован вечер, всегда может найтись кто-либо, кто попытается выйти из-под контроля и устроить сцену» [267].

Прежде чем перейти к заключительному семиотическому анализу пищи, обратимся к поэзии Николая Олейникова:

Потеря аппетита связана у нас с особым состоянием:

Потерял я сон,
Прекратил питанис, -
Очень я влюблен
В нежное создание.
(Лидии)

Отсутствие аппетита свидетельствует о болезни, обратное — о выздоровлении:

Прочь воздержание. Да здравствует отныне
Яйцо куриное с желтком посередине!
И курица да здравствует, и горькая ее печенка,
И огурцы, изъятые из самого крепчайшего бочонка!
И слово чудное «бутылка»
Опять встает передо мной.
Салфетка, перечница, вилка, —
Слова, прекрасные собой.
Меня ошеломляет звон стакана
И рюмок водочных безумная игра.
За Генриха, за умницу, за бонвиана,
Я пить готов до самого утра.
Упьемся, други! В день его выздоровленья
Не может быть иного времяпровожденья.
(На выздоровление Генриха)

Этот срез символической действительности отразился также в кинофольклоре типа «гостируемый пьет до дна», «гостирующий пьет до дна».

Символика пищи связана также с определенными религиозными мотивировками, центральными из которых являются посты. Александр Мень говорил: «Пост прежде всего относится к пище, и это вполне естественно; ведь именно через пищу осуществляется наша связь с природной жизнью и ее законами. В какой-то мере ограничивая и контролируя эту связь, мы открываем большой простор для духа» [119, с. 168]. Поскольку пост связан с явным ограничением, его пытаются перебороть усиленной аргументацией: «В Православной Церкви Великий Пост — это время не уныния и мрака, а радости и укрепления наших сил любви к Богу и к человеку, просвещения всего нашего существа для причастия Святой Троице» [194, с. 146]. Но в любом случае здесь наличествует символизм, переводящий реальный мир в мир символический, где каждый реальный объект имеет то или иное символическое значение.

Религиозные догматы оценивают по-разному те или иные виды пищи. В мусульманском мире отрицаются свинина и алкогольные напитки. Еда в виде причастия входит в религиозные ритуалы. То есть существует достаточное

число контекстов, когда тот или иной тип еды начинает выступать в роли знака, например, маркировка праздничного обеда в отличие от обычного. Мы имеем разные типы блюд, их разную сервировку, разный тип поведения за столом (типа провозглашения тостов). Не теряя своего гастрономического функционирования, еда получает и дополнительный семиотический смысл.

Что касается пищи как языка, то Ролан Барт выделил такие срезы:

- 1) пищевые табу;
- 2) пищевые оппозиции типа соленый/сладкий;
- 3) сочетания «горизонтальные», например, горчица сочетается с сосиской, но не с пирожным, и «вертикальные»: компот не может подаваться раньше борща;
- 4) привычные способы приема пищи, обозначенные как «риторика питания» [16, с. 123].

В синтаксис могут попасть законы сочетания того или иного типа вина с видами пищи: красное вино — с мясом, белое — с рыбой, десертные — с фруктами. Вино вообще создало свой отдельный тип мифологии в современном мире. Некоторые страны (вроде Франции или Италии) фиксированы в массовом сознании как страны вина. Здесь с особенным трепетом относятся к «карте вин» и их выбору.

Пища как язык обладает своими текстами, например, привычный для всех ритуал дня рождения, или целая ода — типа государственного приема, где особенно значимым становится выбор каждого блюда. Приемы — такие же произведения искусства, как стихотворения и поэмы, только выполнены они из другого, невербального материала. И храниться могут только в воспоминаниях современников, поскольку фиксация их в том полном объеме практически невозможна.

В языке пищи также возможно разграничение языка и речи, когда речь (в смысле пищи) зависит от национальных, региональных особенностей, дня недели или конкретного потребителя пищи. Даже священники не всегда соблюдают пост: «В иные дни вынуждены употреблять скоромное, так как постные продукты очень дорогие»

Современная политика активно использует язык пищи при организации различных презентаций, фуршетов и при-

емов. Паблик рилейшнз достаточно подробно расписывает наиболее оптимальные варианты подобных мероприятий. В любой культуре язык пищи сопровождает каждый значительный ритуал: свадьба, похороны, юбилеи. И на официальном уровне празднования завершают приемом. Политик должен следить за обнародованием своих вкусов. Если такой украинский политик, как Александр Мороз, назвал в числе своих излюбленных напитков самогон, то этим он, безусловно, сблизился с определенными слоями населения, но принизил свой образ лидера.

Косвенно язык пищи сопровождается очень важным типом неформального общения (вспомним описание обеда в политбюро). Поэтому подобные мероприятия должны привлекать политиков, поскольку они предоставляют возможность установления и поддержания деловых контактов, которые невозможно установить в другой обстановке. Сопровождая человека и в будни, и в праздники, пища густо обрастает символическими предпочтениями. Во время выборов в Югославии в 2000 г., когда начались массовые акции протестов, принуждающие власть признать другие результаты выборов, бастовали все (мусорщики, водители такси, владельцы магазинов), кроме владельцев кафе, чтобы не лишать белградцев привычного времяпрепровождения. На этом примере мы видим уровень приоритета пищи.

СИМВОЛЫ В ИКОНИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ

Визуальное пространство достаточно активно «освоено» человеком, поскольку сообщения в нем: а) лучше запоминаются и б) дольше хранятся в памяти. Естественно, что такое выгодное сочетание положительных характеристик должно было привлечь внимание человечества. В рамках визуального пространства (как сырого материала) мы размещаем свои сообщения, выполненные в рамках принятого иконического языка.

Символы иконического языка обладают достаточной долговременностью, чтобы использоваться во всех сферах жизни человека. При этом оказывается возможным перенос

символов из одной точки пространства-времени в другую. Так, в выборах 1970 г. в Чили использовался плакат, на котором советские танки стояли на фоне Праги и на фоне Сантьяго, подчеркивая, что может произойти при неверном голосовании избирателей. Легкость переноса символов из одной ситуации в другую обеспечивается их наднациональной основой. Вербальный язык жестко связан с нациями, в то время как иконический язык — универсален.

Визуальное пространство и иконический язык часто используются в политической и религиозной коммуникации из-за универсального характера визуального пространства и достаточной его простоты. Поэтому нас окружает масса символов, отсылающих нас к тем или иным политическим или религиозным течениям. Перечислим некоторые из них.

Осел — символ демократической партии США. В прошлом веке в США возобладали обращения к библейским мотивам для обоснования использования именно этого символа.

Слон — символ республиканской партии США. Согласно словарю Хуана Керлота, слон есть воплощение мудрости, вечности, спокойствия и сострадания [80].

Роза служит символом чистоты и райской святости и посвящается Деве Марии. Вследствие именно этих католических ассоциаций символ розы не особенно приветствовался в России.

Красный Крест — символ милосердия; в мусульманских странах его заменяет Красный Полумесяц.

Трезубец — известен как знак Посейдона, княжеский знак в нашей истории. Сегодня — это малый герб Украины. Трезубец индийского бога Шивы символизировал три состояния — пассивность, инерция, активность.

Крест — один из древнейших символов, иногда рассматривается как изображение перекладин «солнечного колеса». Позднее христианство сделало его своим символом, добавив символизм распятия на кресте.

Свастика — интерпретируется как вращающееся солнечное колесо. Иногда рассматривается как вариант креста. В Средние века символизировала движение и силу солнца. Затем была заимствована нацистами как основной символ.

Пес — в католической традиции это эмблема верности папе, в целом же — эмблема преданности, дружбы. В русской геральдике эмблемой верности была рука, сжимающая меч, поскольку пес входит в число ненормативной лексики («су-

кин сын», «песья кровь» и проч., см. [143]). Одновременно «изображение собачьей головы и метлы служило символом опричнины Ивана Грозного, красноречиво манифестировавшим основные ее задачи: выслеживать, вынюхивать и выметать врагов» [67, с. 9].

На *Яблоко* сегодня претендует и город Нью-Йорк, и компьютеры «Apple». А также российский и украинский вариант партии «Яблоко». В последнем случае лидеры партии приходят на пресс-конференцию с яблоками. Свою же политическую коммуникацию они построили от противоположного: символом партии стал... ананас. Это нарушение перехода служит дополнительным средством привлечения внимания к партии. В принципе сегодня партии очень слабо отличимы одна от другой, что связано с недостаточным вниманием политтехнологов к этому информационному аспекту.

Весь срез визуальной символики активно используется в рекламе, при создании товарных знаков, что позволило Касперу Веркману заключить:

«Даже в символах, созданных с чисто коммерческими целями, можно до сих пор находить остатки древнего преклонения человека перед сверхъестественным объектом, а судя по той заботе, с которой дизайнеры и производители относятся к своим товарным знакам, кажется, что знаки эти постепенно начинают воспринимать как нечто большее, чем просто символы, имеющие ограниченную цель увеличения сбыта» [43, с. 396].

В главе «Символы, используемые в товарных знаках» автор рассматривает такие символы, как Солнце, Глаз, Женская фигура, Звезды, Короны, Руки, Кони.

Не только в рекламе используются ассоциации с древними символами. Ими же активно пользуются художники. «С 1939 года одной из самых популярных фигур в американских комиксах стал Бэтмен — человек, набросивший на себя костюм летучей мыши для того, чтобы пугать преступников, которые особенно отличаются суевериями. Бэтмен защищает свой город от зла. Его главным противником является влюбленная в него женщина-кошка» [22, с. 245]. Кошка — это символ ведьмы (вспомним сохранившуюся до наших дней боязнь черных кошек, особенно если они переходят дорогу).

Отмеченные графические символы — наиболее яркие и выразительные. Для получения максимального эффекта в них использовано минимальное количество материала. С этой точки зрения их форма является идеальной. Адольф Гильдебрандт по этому поводу писал, что форма — это главное средство воздействия, поэтому отбирается то, что воздействует наиболее сильно. И далее: «Посему так называемый греческий тип лица у древних статуй, например, или так называемый греческий нос возникли из подобной же потребности, а совсем не потому, что греки имели такие головы. Такая голова действует при всех обстоятельствах ясно и представляет типичные акценты воздействия» [53, с. 21]. То есть, не было греческого носа в реальной действительности, но он появился в действительности символической в качестве более сильно воздействующего средства. Или, другими словами: «Рисунки — даже реалистические — более похожи на карты, чем на зеркала» [221, р. 22].

Причем следует помнить, что поиск этой исходной воздействующей структуры зачастую следует осуществлять именно в сфере данной культуры.

«Теория иконологии Панофского состояла в том, что в каждой культуре существует глубинная структура, которая предопределяет, как культура символизирует мир или представляет его разными способами, задачей иконологов тогда становится определение этого иконогена, присвоение ему названия и демонстрация того, как все, что является культурой, представляется его вариантом. В его книге о готике, к примеру, осуществляется поиск иконогена, естественными реализациями которого были среди символических форм готическая архитектура и схоластическая философия, но несомненно, что существуют другие символические формы в этой культуре, которые могут быть объяснены на основе того же иконогена. В эпоху Возрождения был другой иконоген, и перспектива стала одной из его основных реализаций» [228, р. 229].

Очень важен следующий вывод:

«История искусства должна стать историей символических форм, другими словами, историей иконогенов, порождающих различные наборы символических форм» [228].

Визуальные знаки получили название *иконических*. Какие характерные черты выделяют в них исследователи?

Роман Якобсон считает, что для «зрительных знаков важнее пространственное измерение, а для слуховых — временное. Сложный зрительный знак включает ряд одновременных составляющих, а сложный слуховой знак состоит, как правило, из серии последовательных составляющих» [215, с. 84].

Павел Флоренский обратил внимание на различия изображения анфас и в профиль с точки зрения политической рекламы. В отношении изображения анфас он пишет: «Всякий фасовый портрет композиционно относится к разряду икон и, следовательно, в замысел художника должна входить идеализация изображаемого, возведение его к божественной норме, к Божьей мысли о нем. Тут лицо приводится к лику, и, следовательно, такой портрет должен быть рассматриваем как убажение, апофеоз» [183, с. 144]. Если мы обратимся к иному представлению, то тогда привносится и иное значение: «Со спины человек мыслится и воспринимается беззащитным, не имеющим силы отпора и даже не осознающим грозящей опасности» [183, с. 145]. Функцией изображения в профиль он считает «возвещать власть изображенного» [183, с. 164]. Речь идет об изображении на медали, на монете, «табакерка с изображенным на ней профилем есть дар облеченного властью и представляет за него: изображение на ней не просто украшает ее и даже не просто интересно само по себе, а ценится прежде всего именно потому, что имеющий власть сам дал эту табакерку и тем вручил какой-то луч своей силы» [183, с. 161].

Эти примеры подтверждают мысль, что не только об иконическом подобии идет речь в случае данного типа знака, а также об определенной символизации, вкладываемой в изображение. Сюда же мы можем отнести пример из президентской кампании в США в 1992 г., когда стало ясно, что «говорящие головы» на экране хороши, если рейтинг политика и так высок, но поднять рейтинг исключительно ими довольно сложно. Психологи также установили, что говорение с экрана анфас и в профиль зрителями воспринимается по-разному: большее доверие отдается говорящему в

профиль, ведь так с экрана обычно говорят реальные лица, свидетели события, а не профессионалы говорения (дикторы, журналисты), которые всегда обращаются к нам лицом.

Необычную разницу в живописи и фотографии увидел *Рудольф Арнхейм*. Он говорит в отношении живописи:

«У людей не возникало ощущения, что за ними подсматривают или следят, если, конечно, они в тот момент случайно не оказывались на скамейке перед художником; ведь всем было очевидно, что художника интересуют не актуальные события, а нечто совсем другое. Только сиюминутное является личным, а художник непосредственно наблюдал за тем, чего в данный момент не было, потому что это было там всегда. Живопись никогда никого не разоблачала» [13, с. 120].

Следует обратить внимание еще на один важный момент: «Животные и дети, прототипы неконтролируемого поведения, — это любимые герои фотографии. Однако необходимые при этом осторожность и изобретательность бросают яркий свет на коренную проблему фотографии: фотограф неизбежно оказывается частью изображаемой им ситуации» [13, с. 123]. Он также пишет о том, что в фотографии для передачи обобщенного образа надо уничтожить некую изначально имеющуюся информацию.

«По аналогичной причине фотография охотно прибегает к официальному портрету, призванному передать высокое лицо или высокое общественное положение данного лица. В крупных династических или религиозных иерархиях, таких, какие были в Древнем Египте, предполагали, что статус правителя олицетворяет мощь и сверхчеловеческое совершенство его должности, и пренебрегали его индивидуальностью; и даже в наше время фотографы, специализирующиеся на портретах президентов и крупных бизнесменов, вынуждены искажать их, чтобы не подчеркивать художественные достоинства своей работы» [13, с. 134].

Как видим, все эти замечания весьма важны для политических символизаций. Каждая конкретная задача, которая ставится перед изображением, решается путем использования иного инструментария. Так, когда в раннем христианском искусстве человеческое тело как символ греховного не могло провозглашать красоту, оно должно было стать «визу-

альным символом духовного». Как это удавалось сделать? «Посредством упразднения глубины и объема, сокращения цветовых оттенков, упрощения позы, жестов и выразительных черт достигалась дематериализация мира и человека. Симметричность композиционного расположения изображаемых объектов передавала устойчивость иерархического порядка, создаваемого церковной властью» [12, с. 133].

Игнасио Арраухо, как бы продолжая вышесказанное, следующим образом разграничивает значения, которые несут симметрия и асимметрия:

«Симметрия предполагает: строгость, отдых, спокойствие, классицизм, силу.

Асимметрия означает: слабость, движение, динамизм, “жизнь”, свободу, как в совокупности, так и в деталях.

Симметричные формы соответствуют формам “важным”, “представительным”. Асимметричные представляют известный уровень “приятности» [14, с. 113].

Сергей Эйзенштейн увидел в творчестве Уолта Диснея такую главную характеристику — «отказ от скованности раз и навсегда закрепленной формы, свобода от окостенелости, способность динамически принять любую форму» [208, с. 221]. Продолжая эту формальную характеристику, он переводит ее в содержательную: «Естественно ожидать, что такая сильная тенденция к преобразению стабильных форм подвижности не может удерживаться только в средствах формы: эта тенденция выходит за пределы формы и переходит в сюжет и тему. Героем фильма становится лабильный персонаж, т.е. такой персонаж, для которого изменчивость облика... естественна» [208, с. 222]. Эти все характеристики, по Эйзенштейну, доказывают то, что Дисней моделирует мышление фольклорное, мифологическое, пралогическое. И этот инструментарий в результате действует безошибочно: «Он творит где-то в области самых чистых и первичных глубин. Там, где мы все — дети природы. Он творит на уровне представлений человека, не закованного еще логикой, разумностью, опытом» [208, с. 211].

Ролан Барт посвятил ряд работ разбору визуальных образов.

В статье «Риторика образа», где рассматривается рекламный плакат фирмы «Пандзани», он формулирует главное отличие иконического языка от вербального. Для последнего характерно наличие кода до сообщения, мы знаем слово до того, как встретим его в тексте. Не так обстоит дело в случае визуального языка: «Знаки иконического сообщения не черпаются из некоей кладовой знаков, они не принадлежат какому-то определенному коду, в результате чего мы оказываемся перед лицом парадоксального феномена... — перед лицом *сообщения без кода*» [17, с. 301].

Пьер Паоло Пазолини выразил эту же характеристику такими словами: «Если деятельность писателя — это чисто художественное творчество, то деятельность автора фильма — творчество вначале лингвистическое, а уже потом художественное» [131, с. 18], имея в виду, что режиссеру приходится создавать не только текст, но и язык для данного текста, как это имеет место в случае писателя.

Кино не имеет готовых знаков, отсюда следует невозможность грамматики фильма, «поскольку всякая грамматика основывается на фиксированности, единичности и условности знаков. Все попытки в этом направлении неизменно заканчивались провалом», — пишет *Жан Митри* [122, с. 42].

Умберто Эко говорит об иконических кодах как о более слабых, они могут реализовываться даже в восприятии отдельного лица.

«Иконический знак очень трудно разложить на составляющие его первоначальные элементы членения. Ибо, как правило, иконический знак — нечто такое, что соответствует не слову разговорного языка, а высказыванию. Так, изображение лошади означает не “лошадь”, а “стоящую здесь белую лошадь, обращенную к нам в профиль» [210, с. 85].

Генрих Вельфлин пытается проследить в особенностях визуального языка тот или иной стиль эпохи. Так, барокко он характеризует следующим образом:

«Барокко пользуется той же самой системой форм, но дает не совершенное и законченное, а движущееся и становящееся, не ограниченное и объемлемое, а безграничное и необъятное. Идеал прекрасной пропорции исчезает, интерес

приковывается не к бытию, а к становлению. Массы — тяжелые, неясно расчлененные массы — приходят в движение. Архитектура перестает быть искусством расчленения, которым она в высочайшей степени была в эпоху Ренессанса, и расчлененность архитектурного тела, доведенная некогда до впечатления высшей свободы, заменяется нагромождением частей, лишенных подлинной самостоятельности» [42, с. 15].

Мы так подробно остановились на характеристике визуальных знаков потому, что все они имеют самое прямое отношение к политической рекламе, поскольку в данном случае это уже особенности совершенно нового языка, и сообщение на нем требует уже совершенно иных подходов. Так, *Павел Флоренский* вводит еще один вариант изображения, поворот в три четверти, промежуточный между анфас и профилем:

«Лицо, которое имеет стремление стать профильным, но бессильно осуществить это свое стремление до конца. В этом смысле поворот в три четверти дает некоторое беспокойство, некоторую неопределенность и потому волнует, заставляя нас бессознательно доискиваться, как пойдет это движение дальше... Портрет в три четверти дает впечатление интимности» [183, с.171].

Он продолжает:

«Изображение в три четверти, как сказано, выражает близость изображаемого к зрителю и, можно сказать, соизмеримость их между собой, а пространство такого изображения наиболее сродни пространству чувственных восприятий. Отсюда понятно и применение такого поворота во всех тех случаях, когда от художника требуется дать интимный портрет, выразить чувство, особенно чувство нежное, — вообще стать на полюс, прямо противоположный монументальности. Если прямое изображение подобает святым, а профильное — властелинам, то поворот в три четверти по праву принадлежит прежде всего красавицам, и притом — в понимании нового времени, т.е. при богатстве духовных переживаний. Этот поворот — по преимуществу женственный и, точнее, женский, ибо в женской душе в особенности разбивается эмоциональность» [183, с.174].

Символизации анфас, профиль и три четверти сопоставляются Павлом Флоренским. Он устанавливает их опреде-

ленную вариативность в зависимости от стоящей коммуникативной задачи:

«Хотя и не только святой может быть изображаем в прямом повороте, но изображается так он как святой, идеализированный в направлении святости, и дело художника — показать правомерность такой идеализации. Точно так же, профильным может быть изображение не императора только, или другого властелина, но и многих других. Однако, кто бы ни был изображен так, раз уж он повернут в профиль, требуется дать этому профилю силу, выразительность и четкость, дать ему энергию и власть, без которых профильность была бы лишь смешной претензией. Тут черты лица тоже должны быть идеализованы, но по совсем иной линии, нежели в случае фаса. Одно и то же лицо, когда оно изображено прямо и в профиль, прорабатывается художником в прямо противоположном смысле, как бы расщепляется на два полярно противоположных лица. А если художник не понимает необходимости этого, то полезнее будет ему заняться вывесками» [183, с. 175—176].

Визуальный язык получил совершенно новые позиции в XX веке благодаря развитию телевидения. Сильной стороной телевидения стало психологическое ощущение у зрителя того, что перед ним настоящая реальность. В случае вербального языка есть определенный зазор, позволяющий порождать в тексте несуществующие в действительности события. Это имеет место, к примеру, в романах и сказках. Здесь явно гиперболизируется роль того, кто рассказывает. Роль свидетеля как бы состоит в вычеркивании себя. Но, как пишет А. Хокарт:

«Даже два свидетеля могут ввести суд в заблуждение. В некоторых странах не доверяют даже пятидесяти свидетелям, рассказывающим одну и ту же историю <...> Для проверки фактов, записанных историками, были собраны надписи, но им так же нельзя доверять, как и историкам. Надписи редко бывают искренними, они часто льстят или носят “пропагандистский” характер. В любом случае они относятся к событиям, которые в то время казались наиболее значительными, но которые ни в коей мере не помогают нам понять развитие культуры. Горшки и кастрюли не лгут только потому, что не умеют говорить» [193, с. 88—90].

У телезрителя создается впечатление, что телевидение является каналом правдивым, достоверным. По крайней мере, зритель не ощущает предшествующего тройного вмешательства в этот процесс:

- 1) вмешательства на уровне отбора (что снимать, что нет);
- 2) вмешательства на уровне обработки (монтаж);
- 3) вмешательства на уровне показа (что именно попадает в новости).

Маршалл Маклюэн в целом считал телевидение слабо подходящим инструментом для политики. «Телевидение подходит скорее для передачи того, что непосредственно происходит, чем для заранее оформленных, однозначных по смыслу сообщений. Отсюда понятны большие неудобства, связанные с его использованием в политике» [117, с. 168]. Правда, это высказывание скорее надо читать по-другому, в случае политики наибольший эффект может быть получен при показе происходящих событий, а не аналитики «говорящих голов». Выигрышность роли телевидения заключается в создании толпы из индивидов, сидящих в разных местах. Это вариант толпы именно двадцатого века. Это толпа, поскольку в ней наблюдается синхронизация получения сообщений и выработки единых реакций на них. А поскольку, по Маклюэну, телевидение — это холодное средство, требующее максимального участия при восприятии его, мы можем применить для характеристики его тот же тип поведения, который Владимир Бехтерев выделил по отношению к толпе: «При ограничении произвольных движений все внимание устремляется на слова оратора, наступает та страшная гробовая тишина, которая страшит всякого наблюдателя, когда каждое слово звучит в устах каждого из толпы, производя могучее влияние на его сознание» [30, с. 132]. Телевидение действительно привязывает нас к экрану в отличие от радио, соответственно ограничивая в наборе возможных действий. И концентрация при этом равносильна той, которая есть в толпе. Только это реализуется в развлекательном срезе типа «Поля чудес»; в этом случае слово «оратора» не является концентрированным, а как бы разбивается на мелкие осколки. М. Маклюэн даже замечает, что «не очень приятно включать телевизор самому в гостинице

или дома. Телевизионный мозаичный имидж требует социального дополнения и диалога. Так было с рукописным текстом до изобретения типографии, поскольку рукописная культура является устной и требует диалога и дебатов, как и вся культура в древности или в Средние века» [247, р. 255].

Телевидение выполняет в современном обществе функции, аналогичные функции барда в прошлой культуре, так считают Джон Фиске и Джон Хартли. Реально оно является поставщиком новых мифов, которые позволяют социализировать общество, дает возможность получения единой интерпретации происходящих событий. Вероятно, основная интерпретация события, исходящая из авторитетного источника, более важна для населения, чем любая другая альтернативная. К примеру, директор ФБР Эдгар Гувер всегда стремился первым выступить перед репортерами, чтобы официальное событие и его разрешение слилось в единый знак. Результаты захвата заложников в Москве 14 октября 1995 года и их освобождение комментировал мэр Москвы Юрий Лужков. Приведем и отрицательный пример: в случае похорон патриарха Владимира в Киеве 18 июля 1995 года практически отсутствовала интерпретация событий, исходящая из авторитетного источника. Джон Фиске и Джон Хартли приводят в качестве примера показ в новостях ИТН действий британской армии в Белфасте. При этом армия предстает как наши парни, профессионалы, которые прекрасно вооружены. Съемка ведется из-за плеч солдат, что позволяет совместить позиции зрителей и армии. Практически тот же знак используется в популярных военных фильмах или в традиционных вестернах, где герой защищает форт (усадьбу, обоз) от антигероя или индейцев. Новости и литература используют те же знаки, потому что они обычно отсылают к тем же мифам в нашей культуре [235, р. 42—43].

В результате просмотра новостей мы получаем одновременно четкий современный миф, и соответственно враги наших парней становятся нашими врагами.

Юрий Лотман даже употребил термин «иконическая риторика». Однако важно то, что сообщение не просто трансформируется благодаря риторическим приемам, а просто невозможно без них, неразрывно с ними. «Риторическое

высказывание, в принятой нами терминологии, не есть некоторое простое сообщение, на которое наложены сверху «украшения», при удалении которых основной смысл сохраняется. Иначе говоря, при удалении высказывание не может быть выражено не-риторическим образом [113, с. 242]. Он же говорит и о возможности использования вербальных приемов в визуальном языке.

«Риторика — перенесение в одну семиотическую сферу структурных принципов другой — возможна и на стыке других искусств. Исключительно большую роль играет здесь вся сумма семиотических процессов на границе “слово/изображение”. Так, например, сюрреализм в живописи, в определенном смысле, можно истолковать как перенесение в чисто изобразительную сферу словесной метафоры и чисто словесных приемов фантастики» [113, с. 251].

Создавая образ друга/врага данного общества, телевидение выступает в роли социального ориентира, задает определенные границы хорошего/плохого поведения. Тогда к лицу, помещенному в рамки плохого поведения, возможно применять и не совсем хорошие приемы. Человек на экране, политик на экране — это тоже имидж человека, имидж политика. Его специально гримируют, готовят к ответам, запрещают отвлекающие телодвижения. (Хороший набор таких правил, но с точки зрения журналиста см. в: [51]).

Проанализированный исследователями фотоимидж президента Украины Л. Кучмы был представлен в пяти плоскостях: «Кучма вне работы», «Кучма-коммуникатор», «Кучма, несущий бремя власти», «Кучма-дипломат», «Кучма — «младший брат» [46]. Образ президента оценивался по шкалам: довольный-недовольный, спокойный-тревожный, напряженный-расслабленный, искренний-неискренний, уверенный-неуверенный, официальный-неофициальный. Наиболее неудачной оказалась группа фотографий, где Л. Кучма изображен с Б. Ельциным. «Президент Украины описывался как неискренний, подобоострастный, подавленный, зависимый, выражающий чисто “протокольную” радость после совместной работы со “старшим братом”» [46, с. 13]. Наиболее удачными представляются фотографии, где президент снят в домашней обстановке. «Они, судя по оценкам зрите-

лей, привносят в его имидж такие черты, как “домашний”, “довольный”, “радостный”, “искренний”, “расслабленный”, “доступный”, “такой же, как мы”» [46].

Есть другой набор фотографий президента Украины, сделанный фотографом пресс-службы, где президент предстает именно в человеческом измерении, который недоступен в других, официальных контекстах, например, президент с дочерью. Ведь основной объем визуальной информации, который зритель получает по телевидению, как раз и состоит из официальных ситуаций. Другие ситуации просто невозможны в формате новостей, которые являются наиболее частым вариантом продвижения образа президента. Кстати, одной из находок политической рекламы в период избрания Б. Ельцина стал «прислонившийся к дереву президент» [100, с. 276]. Это помогло создать соответствующий неофициальный контекст.

Новости символичны и с точки зрения отбора и отражения тех или иных мифов. Здесь важна не столько новизна сама по себе, а соответствие мифологии своего времени. Смена мифологии приводит к смене новостного режима. Здесь можно воспользоваться театральной аналогией, используя мысль Юрия Лотмана:

«Существенным моментом выделения “живописной ситуации” является сегментация того потока времени, в который данный объект включен в своем реальном бытии. Непрерывности и безостановочности временного потока, в который погружен объект изображения, противостоит вчлененный и остановленный момент изображения. Психологическим инструментом реализации этого переключения часто является предварительное осознание жизни как театра. Имитируя динамическую непрерывность реальности, театр одновременно дробит ее на отрезки, сцены, вычленяя тем самым в ее непрерывном потоке целостные дискретные единицы. Внутри себя такая единица мыслится как имманентно замкнутая, обладающая тенденцией к остановленности во времени. Не случайны такие названия, как “сцена”, “картина”, “акт”, в равной мере охватывающие области как театра, так и живописи. Между недискретным потоком жизни и выделением дискретных “остановленных” моментов, что характерно для изобразительных искусств, театр занимает промежуточное положение» [100, с. 246].

То есть, у нас появляется еще один источник символизации — превращение недискретного пространства в дискретное естественным образом порождает символы, даже если их не было в исходном объекте. Визуальный язык выступает в качестве генератора символов, ибо по-другому он даже не может функционировать. Он как бы берет из всего многообразия объекта только одну его четко определенную сторону. Мы видим бригадира колхоза в поле, оратора на трибуне, зато мы не видим всех сторон их жизни, догадываться о которых мы можем лишь косвенно. Мы все равно воспринимаем их как реальных людей, ибо живем «иллюзией тождества объекта и его образа» (Ю. Лотман), хотя реагируем на него символически, например, не пытаемся здороваться в ответ на приветствие телевизионного ведущего.

Однако есть и очевидное объяснение того психологического чувства достоверности телевидения. Рудольф Арнхейм написал: «Следует ли поэту писать революционные гимны у себя дома или художник должен идти для этого на баррикады? В фотографии такого “географического” конфликта нет и быть не может: фотограф всегда должен быть там, где происходит действие» [13, с. 124]. Есть еще один аспект соответствия визуального искусства, только теперь уже соответствия не объекту, а зрителю. Мы получаем то, что хотим увидеть. Особенно явно это ощущается в случае кино, что на материале фашистской Германии показал З. Кракауэр.

«Даже нацистские военные фильмы, эта чистейшей воды пропагандистская продукция, отражали некоторые особенности национальной психологии. То, что справедливо по отношению к пропагандистской продукции, еще лучше прилагается к коммерческим фильмам. Голливуд не мог не принимать в расчет непосредственную реакцию публики. Всеобщее недовольство фильмом сразу же оборачивается скудными кассовыми доходами, и кинопромышленность, живо заинтересованная в прибыли, принуждена по мере сил приноравливаться к капризам зрительской психологии» [91, с. 15].

То есть символ создается благодаря наложению эквивалентностей с двух сторон: реальному объекту и реальной аудитории. Эти требования и кристаллизуют для нас новую данность.

Мы не упомянули еще об одной важной функции телевидения — «гедонистической», реализуемой наравне с мифологической и чисто информационной. Это развлекательная функция, благодаря которой человек может «отключаться» от повседневных забот. Кстати, именно такие мотивы называют женщины, отвечая на вопрос, зачем они смотрят «мыльные оперы» типа «Тропиканки». На телевидении очень велик пласт развлекательных передач, и по объему эфирного времени он опережает все остальные. Это те передачи, которые никого не нужно заставлять смотреть, в этом их привлекательность для рекламодателей. Но и для политиков тоже. Есть примеры определенной «смеси» развлекательности и политики. Так, Ирина Хакамада сыграла принцессу в клипе эстрадной группы «Дубы-колдуны» («Комсомольская правда», 1995, 13 окт.).

Все это используется и в случае рекламы, только теперь уже актеры служат знакомой ступенькой, от которой отталкивается рекламное сообщение. Такого рода клипы строятся с учетом отсутствия кода в визуальном языке. Ведь здесь каждый раз используется либо знакомое лицо, либо известный герой. Он только ставится в новый контекст. «У меня это просто не получается, — говорит Армен Джигарханян, который считает, что для роликов нужны иные актерские типы. — Они требуют совершенно иной мимики, другого взрыва. За долю секунды нужно в чем-то убедить зрителя, внушить ему какие-то политические чувства. Между делом заниматься рекламой нельзя — это все-таки искусство» («Московские новости», 1995, № 39). Соответственно возникают претензии в случае несбывшихся ожиданий от рекламы. Так, в газете «Киевские ведомости» упоминалось в этом аспекте имя ведущего УТН, который в свое время рекламировал благополучно исчезнувший впоследствии Кийтраст («Киевские ведомости», 1995, 1 сент.).

Совмещают рекламу и политику довольно часто. Компания «Бенеттон» показала в виде больного СПИДом Рональда Рейгана. Для рекламы своего цветного ксерокса Ренк Ксерокс изобразила Джона Мейджора с оранжевыми волосами («Теперь любой может стать ярким» // «Коммерсант-Дейли», 1995, 15 июля).

Политическая борьба развивается в рамках визуального пространства не менее яростно, чем на уровне пространства вербального. Бельгийская газета «Де Морген» опубликовала два портрета Жака Ширака — сегодняшнего и после ядерных испытаний: лысого и с язвами на лице («Всеукраинские ведомости», 1995, 15 сент.). Или такой пример: разворачивание очередного скандала с принцем Чарльзом в Великобритании сопровождалось фотографиями в газетах: спальня его самого с фотографией на столике не принцессы Дианы, а его любовницы Камиллы; фотография спальни Камиллы с огромной кроватью, с комментариями, что именно здесь приятно проводил время принц; фотографии узкой кровати бригадного генерала, мужа Камиллы («Зеркало недели», 1995, 18 февр.).

Визуальное пространство подлежит сознательной организации и заполнению, чтобы не оставлять зазора для непредвиденных двусмысленных трактовок. Жена Юмжагийн Цеденбала в качестве примера самостоятельности мужа также использует иллюстрацию организации визуального пространства: «В период Хрущева снимали памятники Сталину. В то время Сталин для монголов был очень важной фигурой. Цеденбал говорит Хрущеву: “Вы снимаете памятники Сталину, но наш народ этого не поймет”. И Хрущев отвечает: “Ну и пусть торчит, у нас и цари торчат”. Так наш памятник и остался» («Комсомольская правда», 1995, 8 окт.). Кстати, перестройка вновь продемонстрировала любовь именно к визуальной организации социального пространства: власть активно стала уничтожать старые памятники и расставлять новые. Все это говорит о том, что это очень идеологически насыщенное пространство, которое требует четкого ответа на вопрос, что такое хорошо и что такое плохо.

Эрнст Неизвестный как-то обмолвился, что памятники в тоталитарный период имели в первую очередь не эстетическую ценность; их функция заключалась в занятии визуального пространства, не допуская на это место иной объект. Это маркировка пространства нужным символом. Ведь не зря на месте снесенного храма возникал бассейн, или храмы становились складами, то есть самыми малозначимыми видами помещений. То есть их не просто нейтрализовали, а переводили в негативную плоскость.

Контроль над визуальным пространством в виде возникновения письменности исследователи также четко связывают с властными функциями. А.Н. Мещеряков так говорит о древней Японии:

«Лишь с VIII века можно говорить о более или менее широком распространении письменности, главным потребителем которой становится в первое время государство. Письменность выступает в качестве инструмента идеологического оформления власти и средства ее самосознания и утверждения. На первый план выступает содержательная сторона коммуникативного акта, в то время как практически в любом устном ритуализированном сообщении всегда наблюдается непомерный (с точки зрения носителя письменной культуры) сдвиг в сторону трансляции текста» [120, с. 6—7].

Он связывает это с резко возросшими объемами социальной информации:

«Размах государства во времени и пространстве таков, что оно оказывается не в состоянии адекватно усваивать и реагировать на всю получаемую им информацию и отбирает лишь необходимо важную. При этом активный объем памяти государства не должен превышать объем памяти отдельного человека, поскольку государство стремится к тому, чтобы его самооценка всегда совпадала с оценкой его подданными. Иными словами, государство ставит своей целью создание коллективных представлений о себе, т.е. формирует общегосударственную идеологию» [120, с. 13].

И именно визуальное пространство здесь наиболее важно, поскольку сообщения в нем строит само государство, и даже диктует некоторые свои модели для других государств. Так произошло с церемонией «поцелуев вождей», которую воспринял и Запад. Хотя разные страны относятся к этому по-разному. «На Кубе, например, где нежности между мужчинами в общественных местах могут носить лишь однозначный характер, публика была бы несколько смущена, наблюдая, как Брежнев врасос целовался с Кастро» («Известия», 1995, 23 сент.).

Мы видим, что государственная идеология наиболее адекватно отражается в визуальных символах. Так, для США это статуя Свободы, дядя Сэм, ковбой, индеец, а также сим-

волы партий — осел и слон, которые разграничиваются следующим образом (в дополнение к вышеназванному):

«Эмблема осла (у демократов) и эмблема слона (у республиканцев) и являются теми внешними объектами, которые символизируют всю политику этих партий. В то время как республиканцы подчеркивают мощь, помпезность, импозантность и даже стремление идти напролом, как слон, в своих политических выступлениях, демократы же держатся более скромно, даже в известной степени подчеркивают свою “серость” (эпитет “серый” — синоним осла, широко введенный в мировую литературу еще Сервантесом)» [143, с. 164].

Для нас тут необычным является использование как бы негативного с нашей точки зрения символа, но он очень хорошо противопоставлен помпезности, преувеличенности «слона».

Визуальное пространство очень выгодно для политики, поскольку его воздействие не растянуто во времени, а осуществляется сразу в большом объеме. Подлинно визуальные объекты даже нельзя перевести в вербальную форму. Например, как это сделать со статуей Свободы или трезубцем? Подлинно визуальные объекты в рамках телевидения воспринимаются зрителем как наиболее достоверные, по сравнению с радио или прессой. А раз это наиболее достоверный канал, именно в рамках его и следует пропускать свои сообщения.

Визуальное преобразуется в иконическое, что позволяет насыщать эти типы знаков любыми значениями. Даже ГКЧП отличился использованием именно визуального пространства. С одной стороны, танки и БМП поменяли визуальную картинку мирного города, задав ему тип иной действительности, в которой разрешены уже иные типы реагирования. С другой, «Лебединое озеро» как сообщение визуального порядка надолго осталось знаком именно переворота, что находит отражение в воспоминаниях.

Глава вторая

ТЕОРИЯ СЕМИОТИКИ

СЕМИОТИКА: РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ

Семиотика изучает знаковые системы политики, культуры, общества. Умберто Эко писал, что для семиотики наиболее интересны точки, где возможно возникновение лжи [230]. В свою очередь Брендан Брюс называет политиков «суперлжецами» [225]. Роберт Ходж и Гюнтер Кресс относят к семиотике «систематическое, всестороннее и последовательное изучение коммуникативного феномена в целом, а не отдельных его примеров» [242, р. 1]. Наименьшей семиотической формой они считают сообщение. Сообщение обладает направленностью, что особенно важно для политической рекламы. Сообщение имеет источник, адресат, социальный контекст и цель. Ходж и Кресс защищают свое понимание семиотики, названное ими «социальной семиотикой». Традиционная семиотика считает, что значения присущи тексту, поскольку вложены туда его автором, и при получении мы их декодируем. «Социальная семиотика не признает, что тексты производят те значения и эффекты, на которые надеялись их создатели, в действительности должна изучаться их борьба и неопределенность результатов, которая возникает на уровне социального действия, а также их влияние на формирование смысла» [242, р. 12].

При этом семиотическому изучению подлежат как вербальный, так и невербальные языки, в том числе и визуальный. Так, анализируя иконическое изображение «Благовещение», Ходж и Кресс рассматривая расстояние между фигурами, приходят к следующим выводам: «Близость...

означает сильные отношения, которые могут быть либо позитивными (любовь, интимность), либо негативными (агрессия, враждебность). Близость сама по себе несет противоречивость. Это в сильной степени неоднозначный знак... Отдаленность также неоднозначна, хотя проявляется не столь остро» [242, р. 53]. Как же мы прочитываем этот код? При этом идет подсказка при помощи других знаков, которые дают возможность однозначно прочесть расстояние между фигурами как знак.

Включенность в ту или иную знаковую систему позволяет интерпретировать и реинтерпретировать один и тот же знак. Вспомним, к примеру, сказку «Гадкий утенок». Утенок был гадким в системе птичьего двора. Когда же его поместили в иную систему координат, он оказался прекраснейшим лебедем.

Политическая реклама, так же как и семиотика, является многофакторным феноменом, в рамках ее воздействие осуществляется не по одному каналу, а по целому ряду одновременно. Поэтому именно семиотика как наука о разных знаковых системах представляет особый интерес для политической рекламы.

Семиотика изучает знаковые процессы передачи информации. Есть ли они в политике и культуре? Они там присутствуют в первую очередь. Ведь в отличие от прямой передачи, характерной для обыденной коммуникации, любая коммуникация в политике и культуре носит как бы косвенный характер. Если мы слышим реальный разговор в троллейбусе — в нем присутствует одна мера условности. Этот же разговор, представленный на сцене, резко расширяет границы условности. Теперь перед нами будет не разговор, а изображение разговора, т.е. знак знака. Более того, этот разговор будет предназначен не для говорящих, а для нас, зрителей, т.е. знаковый характер приобретает и фигура слушающего. Он выступает уже не в естественной роли, характерной для обыденного общения, а в роли особой, зрительской, принципиально знаковой. Поэтому исследование художественных коммуникаций и представляет особый интерес для семиотики. Здесь проявление знаковости носит особо яркий характер.

Анализ политических и художественных коммуникаций в семиотическом аспекте возможен в первую очередь с использованием методов, выработанных в лингвистике. Почему язык оказался базой выработки и проверки семиотических методов? Почему именно там черпаются подходы?

Проявления тех или иных закономерностей наиболее заметны там, где они четче проявляются. Там, где они выражены неярко, с ними работать сложнее. Часто обучение профессии происходит на моделях. Потому что модель акцентирует лишь существенные черты объекта, как бы «забывая» о несущественных. Архитектор имеет дело с эскизом, моделью дома, врач изучает схемы, картины, скелет и лишь потом — человека. Так и языковая коммуникация — это модель иных коммуникаций, поскольку, как нам представляется, человек изначально подходит к порождению любых видов коммуникаций. Именно опираясь на лингвистические в своей основе методы анализа, В.Я. Пропп изучал сказку, К. Леви-Строс — миф, итальянские и французские семиотики — кино, Г. Шпет — театр.

Мир — это язык. Войны начинаются из-за языка. Благодаря языку они же и кончаются, как и обычные ссоры. Язык дан дипломату, как говорил Талейран, чтобы скрывать свои мысли. Это семиотическая проблема, решаемая в рамках моделирования политического мышления и политических рассуждений, нового направления политической науки.

Мир — это язык, понимаемый в широком смысле: семиотическом смысле, когда культура рассматривается как конгломерат языков: язык кино и язык театра, язык живописи и язык балета...

Поведение как знаковый язык сопровождает человека от седой древности до наших дней. Китай в далеком прошлом считал себя центром Вселенной, все остальные страны рассматривались им как подчиненные. Чтобы и поведенчески это выглядело так, в зал для приемов вела комната с низкими потолками, и послы, чтобы войти, должны были низко согнуться. Так, реальность была заменена семиотикой реальности, и, как следствие, подарки императору со спокойной душой записывались как дань. На этом примере можно увидеть, что один и тот же факт может получать разную интер-

претацию. Эти разнообразные знаковые интерпретации и станут предметом нашего рассмотрения, и поскольку политика — это коммуникация, мы не можем обойтись без опоры на те знания, которые накоплены в рамках семиотики.

Общение — и художественное, и политическое, и обыденное — возможно при наличии ряда условий. Передача информации осуществляется лишь в случае предельной ее концентрации. Примером может послужить картина, в отличие от чистого холста, который в большей степени может явиться элементом окружающей действительности. Для общения же нужно видоизменить эту действительность. Это сознательное изменение и становится основой передачи.

Схема передачи информации едина и для коммуникации художественной, и для коммуникации обыденной. В ней должен быть адресант (или тот, кто является отправителем-создателем сообщения), адресат (тот, кому оно адресовано) и само сообщение. Перед нами минимальный набор составляющих элементов:

АДРЕСАНТ—СООБЩЕНИЕ—АДРЕСАТ

Рассмотрим эти три составляющие коммуникативного процесса подробнее.

Адресант в зависимости от художественной или обыденной коммуникации выполняет принципиально разную работу. В обыденной коммуникации адресант, как правило, не затрачивает усилий на то, чтобы создать язык (предварительно или в ходе самого порождения), на котором происходит общение. Он получает его готовым, язык существует вне его и до него. Адресант художественной коммуникации в этом плане выполняет двойную работу. Ему надо создать не только сообщение, но и сам язык этого сообщения. Ведь что такое те или иные художественные школы? Каждая художественная школа — это каждый раз создание нового художественного языка. Импрессионисты отличаются от абстракционистов, театральный язык Станиславского отличается от театрального языка Вахтангова. Это касается и политической коммуникации. Вспомним, как президентская кампания в США 1992 года потребовала внести кардиналь-

ные изменения в тип коммуникации, который даже получил название «ток-шоу» из-за сильной ориентации на интерактивный характер взаимоотношений с аудиторией.

Сообщение в политической коммуникации также отличается от коммуникации обыденной. В обыденной коммуникации мы в значительной степени сориентированы на объекты, находящиеся в пределах физической видимости. Политическая коммуникация с неизбежностью выходит на глобальные проблемы, соответственно ее объекты практически невозможно потрогать руками. Но политическая коммуникация стремится перевести эти глобальные объекты на уровень комнаты, дома, что снова ярко продемонстрировала президентская кампания в США 1992 года, когда все было переориентировано на показ преимуществ того или иного подхода с точки зрения дома, города, штата. Собственно говоря, это общее правило, заимствованное политиками из опыта рекламы, оно предусматривает приоритет преимуществ над характеристиками. Отсюда следует вывод, сделанный Бренданом Брюсом: «Каждая политическая партия должна понимать, как обещаема ими политика улучшит ежедневную жизнь избирателей и как эти преимущества, когда они определены, относятся к основным ценностям партии» [225, р. 88].

И третий аспект — *адресат*, или *аудитория*. При рассмотрении данного аспекта следует помнить, что не только он, но и два предыдущих, практически выстроены так, чтобы в первую очередь учесть интересы и пожелания именно аудитории. И в этом — главная особенность политической коммуникации, в отличие от других видов. Ярким примером работы именно в этом направлении может послужить кампания по приближению к населению английского премьер-министра Эдварда Хита, когда ставилась задача сделать из него Теда Хита для всех, Брендан Брюс рассказывал: они обнаружили, к примеру, что в частных беседах у Хита был нормальный, приятный голос; выступая же публично, он вдруг начинал говорить слишком помпезно. Скрытно была записана его частная беседа, и имиджмейкеры стали работать в этом направлении. Чтобы избавиться от имиджа отдаленного от всех холостяка, они сделали фильм, где Хит плыл под

парусами с молодой женщиной. Но Хит сам испортил показ, упомянув перед журналистами, что это прислуга. Он также подвел имиджмейкеров, разговаривая с избирателями в манере инспектирующего, обращаясь с вопросом: «Нет ли жалоб?» В целом эта важная работа не дала ожидаемого результата. Но в нашем случае она интересна как пример различных подходов команды имиджмейкеров в правительственных кругах.

Итак, мы видим, что семиотика и политическая реклама пересекаются по многим параметрам и во многих областях, поэтому знание семиотики столь необходимо для специалистов в области публик рилейшнз, поскольку вооружает их необходимыми инструментариями теории и практики.

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Лингвистика (Ф. де Соссюр), логика (Чарльз С. Пирс)

Движение лингвистической мысли, и в определенной степени гуманитарной мысли в целом, задал в начале XX в. *Фердинанд де Соссюр* (1857—1913). В соответствии с общим стремлением к объективизации научного процесса идеи де Соссюра привлекли внимание и предопределили переход к лингвистике нового типа. Они увлекли лучшие умы того времени, и тем самым задали новую интеллектуальную схему развития лингвистики. Подобные представления в той или иной форме высказывались и до, и одновременно с де Соссюром, но он впервые изложил их в виде новой научной концепции. Сходные идеи объективации (формализации) были характерны и для ряда представителей языковедческой мысли в России. Здесь следует назвать Бодуэна де Куртене, который практически параллельно разрабатывал понятие фонемы, формально-грамматические идеи Фортунатова, Пешковского, Дурново и др. Многие стучались в эту дверь, но решительно открыл ее Фердинанд де Соссюр.

Де Соссюр попытался вычленил в традиционном объекте лингвистики новые стороны и сконцентрировать на них свое исследовательское внимание. Ведь каждое новое нап-

равление строит свою модель предпочтений, избирая в языке те или иные его аспекты. Де Соссюр очертил новый круг представлений, вводя следующие разграничения: язык и речь, синхрония и диахрония, системный (структурный) характер языка, знаковые основания языка. Это была попытка сконцентрироваться на языке как абстрактном механизме, вычленив как бы интеллектуальные основы языка, когнитивные его основы, если говорить сегодняшним языком. Новый подход получил широкое признание и задал определенный виток развития лингвистической мысли. Из него выросли школы структурной лингвистики, получившие широкое распространение в мире, он задал основы нового типа лингвистического мышления и аргументации. Естественно, что наиболее консервативные институты общества в виде школ и университетов остались непоколебимыми, ибо стандартное преподавание и стандартное представление о языке не претерпело в XX столетии никаких изменений. Школьная модель языка XXI века принципиально та же, что и в XIX веке. Ф. Де Соссюр задал лишь смену исследовательских ориентиров, оставив в неприкосновенности школьный набор знаний. И это в какой-то мере правильно, так как на смену Соссюру затем пришли новые исследовательские школы. Но роль де Соссюра все равно значительна, особенно потому, что эти идеи дали всплеск новых разработок не только в лингвистике, но и во многих других гуманитарных областях — теории литературы, антропологии, мифологии и т.д.

Рассмотрим некоторые идеи Ф. де Соссюра.

Язык и речь

Где хранится язык, на котором мы говорим, который мы изучаем? В какой форме? Де Соссюр подчеркнул, что каждый носитель языка сталкивается с речью, а не языком. Все то, что мы слышим или произносим, пишем или читаем, — это примеры применения языка, т.е. речь. Язык же представляет собой абстрактный механизм, спрятанный в глубине интеллекта. Он словно эталон метра, существование которого предопределяет те десятки тысяч разных метров, что

существуют в магазинах. Без такого эталона, с которым можно сверяться, любые нарушения, которые мы допускаем в речи, моментально изменили бы язык. Обладая же таким консервативным механизмом, мы не боимся, что наш язык, к примеру, изменится, когда мы выйдем после лекции из аудитории. Ф. де Соссюр сравнивал язык и речь с нотами симфонии и исполнением ее, относил язык к абстрактному, потенциальному механизму, речь же — реальному его осуществлению. При этом одно невозможно без другого: реализация не состоится без предварительного существования правил. Но и правила узнаются и меняются путем закрепления в речи.

Ф. де Соссюр призвал лингвистов сконцентрировать свое внимание на изучении языка, речь же считал чем-то вторичным. И это на долгие годы отодвинуло изучение реального использования языка в речи, мы не считали лингвистическими темами такие области, как контекст, подтекст и под. Призывая изучать язык в себе и для себя, де Соссюр лишил лингвистику не просто прикладного характера, он в принципе увел ее от массового столкновения с действительностью, с любым реальным использованием языка. Возможно, что это не ошибка де Соссюра, а вина его многочисленных последователей, которые сами не смогли выйти за пределы того варианта представлений о языке, который был очерчен де Соссюром. Но факт остается фактом. Авторитетом своей концепции де Соссюр задержал развитие многих областей лингвистического анализа. Причем нельзя утверждать, что его современники не видели этой опасности. Выдающийся русский гуманитарий М. Бахтин, к личности которого мы еще вернемся, уже в довоенное время подчеркивал опасность и неверность этого, как он называл, «абстрактного объективизма» Ф. де Соссюра.

Синхрония и диахрония

Синхрония определяет срез языка в настоящем измерении, диахрония представляет собой взгляд в прошлое. Обычный носитель языка сталкивается только с синхронией, диахрония языка интересна в первую очередь специа-

листам. Ф. де Соссюр ориентировал лингвистику на синхроническое изучение языка, как бы в противовес тому всеобъемлющему диахроническому представлению о языке, которое было характерно практически для всех школ языкознания в XIX веке. Поэтому Соссюр и строил новую синхроническую лингвистику.

Системный (структурный) характер языка

Де Соссюр считал, что основу языка задают не сами элементы, его составляющие, а отношения между ними. Он иллюстрировал это положение на примере игры в шахматы, где нам все равно, из чего сделаны фигуры на доске (то ли из слоновой кости, то ли из дерева, то ли из пластмассы), и вообще утерянная фигура может быть заменена, например, пуговицей, что не приведет к изменениям в игре. Таким образом, фигуру определяет не она сама, не материал, из которого она сделана, а сеть отношений с другими фигурами. Эти структурные отношения всегда важнее самих элементов.

Это очень важный параметр, задавший многие теоретические концепции нашего века. Он поднимает теоретическую модель выше возможных вариантов ее реализации. Проявление подобного взгляда мы можем найти в разных науках. Вот, например, в анализе работы разведки [139], говорится практически о том же, но используются другие примеры. В. Плэтт утверждает, что сам по себе факт не имеет значения. Если известно, к примеру, что Советский Союз готовил 10 тыс. инженеров, это еще не несет реальной информации. Факт должен быть поставлен в определенный контекст: а сколько инженеров было необходимо для Советского Союза, сколько инженеров использовалось в военных целях, сколько инженеров выпускалось в США и т.д. Лишь в подобном контексте факт обретет информационную ценность. Сам по себе он смысла не имеет.

Осуществив подобный переход от факта к системе в качестве основания теории, де Соссюр предложил новую парадигму построения лингвистического знания.

Знаковая теория языка

Де Соссюр поставил лингвистику в ряд возможных наук о знаковых системах, назвав эту общую науку *семиологией*. Лингвистика — лишь часть семиологии, поскольку она занята изучением знаков лишь одного из существующих языков — естественного. Де Соссюр признал главенствующим для лингвистики понимание знака как двухсторонней сущности. В одной его плоскости лежит материал (форма), или *означающее* (в терминах де Соссюра), в другой — значение, или *означаемое*. Это единство двух сторон невозможно разорвать, как лист бумаги не разделится на прямую и обратную стороны.

Ф. де Соссюр назвал два основополагающих принципа строения знака:

1) связь между формой и содержанием, между означающим и означаемым носит условный характер;

2) означающее (форма) выстроено линейно. Это значит, что мы должны произносить слово за словом, а не одновременно, звук за звуком, а не сразу все. Линейный характер формы связан с определенными, вероятно, чисто биологическими ограничениями, которые наложены на наш речевой аппарат природой.

Условный характер связи означает, что данное содержание вполне могло называться по-другому, получить иное наименование. Мы относительно свободны в том, что можем придумать любое обозначение. Ведь при употреблении, при синхроническом взгляде, нас не интересует, почему слово «портфель» или «лавка» получили именно такое название.

Этот принцип критикуется последователями де Соссюра в том аспекте, что для носителя языка именно его условная связь кажется наиболее естественной. Так, слово «стол» более естественное обозначение соответствующего предмета для носителя русского языка, чем слово, к примеру, «table» или «tisch». Подобная критика представляется нам не совсем точной, поскольку включает в рассмотрение межязыковые наблюдения, что фавнословно использованию диахронических доводов. Де Соссюр же все время стремился к тому, чтобы сузить возможный лингвистический объект, а не расширить его.

Ф. де Соссюр задал возможное развитие семиотики, исходя из лингвистических представлений о ней, хотя и четко отделил лингвистику в качестве одной из частных семиотик. Именно он впервые заявил о существовании совершенно новой науки о знаках и знаковых системах.

Американский логик *Чарльз С. Пирс* (1839—1914) в отличие от лингвистической направленности Ф. де Соссюра, считал уже логику иным названием для семиотики, понимая под последней формальное изучение знаков.

В области знаковой теории Ч. Пирс известен введением в рассмотрение человеческого фактора — ИНТЕРПРЕТАТОРА, что получило дальнейшее развитие в работах Ч. Морриса, другого американского ученого. Ч. Пирс предложил рассматривать знаковые отношения в виде треугольника с вершинами: Знак, Объект, Интерпретатор. Знак он рассматривал в качестве заместителя объекта, однако заместителем только в одном аспекте, а не по всем параметрам.

Знаки, по Ч. Пирсу, делятся на три вида: иконические, индексы и символы. Для **иконических** знаков характерно определенное подобие объекту. Например, рисунок. И фотография — это не сам объект, а лишь его изображение, организованное фотографом.

Знаки-индексы характеризуются фактической смежностью знака и объекта. Ч. Пирс отмечал, что они обязательно должны иметь какие-то общие характеристики с объектом, только характеристики реальные, а не относительные, как в предыдущем иконическом типе. Примерами знака-индекса служат: дым над лесом как знак костра, дыра от пули как знак выстрела, след на песке как след прошедшего человека. Как видим, с точки зрения семиотики перед нами как бы наименее интересный знак, поскольку он является кусочком самого объекта или реальным результатом его воздействия.

Третий тип знака — **символ** — не имеет никакой связи между знаком и объектом, примером чего могут служить слова естественного языка. Мы сегодня не знаем, почему рыба названа «рыбой», но это не мешает нам пользоваться этим словом. Как видим, здесь Ч. Пирс вышел на ту же характеристику условной связи, которая отмечалась и Ф. де Соссюром.

Условность связи в знаке нарушается только звукоподражательными словами (типа «буль-буль», «кукареку» и т.д.). Однако эта звукоподражательность работает только в рамках данного языка. В другом языке часто тот же самый внешний звук моделируется уже по-другому. Слова с внутренней формой типа русского «подснежник», украинского «немовля» (младенец) также раскрывают нам схему, по которой они были построены. Однако таких слов не так уж и много.

В народном сознании могут осуществляться вторичные попытки ввести связь в слова, где она сегодня отсутствует. С научной точки зрения они выглядят странно. Это называется народной этимологией. Например, «спинжак», т.е. пиджак, образованный от слова «спина». Или, например, переход к разрешающему движению красному цвету в Китае в период культурной революции, поскольку как революционный красный цвет не мог запрещать движение.

Перед нами естественная человеческая черта — внести системность в совершенно хаотический материал. Ср.: гадание на кофейной гуще, тест Роршаха, когда люди видят различные рисунки в чернильных пятнах. Вспомним интерпретацию пионерского галстука, трех его концов, интерпретацию и реинтерпретацию красного флага (кровь героев или кровь жертв).

Р. Якобсон справедливо отмечал, что строгое деление на три типа знаков — это условность, большая натяжка. В реальности каждый отдельный знак может нести в себе характеристики нескольких типов сразу. При этом он приводил следующие примеры. Иконический знак может иметь символизацию — в древнеегипетской живописи фараон изображался большим, а его подданные — маленькими. Или: в некоторых средневековых школах живописи злодеи и честные люди различались типом изображения: анфас или в профиль. Посмотрел на такую картину, и сразу видно: кто там плохой, кто хороший. Вспомним типичный вид предателя в фильмах тридцатых годов, а также типичный вид нашего открытого парня. Знак-индекс с символизацией: у некоторых африканских племен указание пальцем является проклятием. Кстати, не с этим ли связан запрет на указание пальцем и в нашей культуре? Правда, ребенку просто запрещают это делать, не приводя никаких обоснований.

Типы знаков Ч. Пирса похожи на лингвистическое деление по переносу значений — метафору и метонимию. Метафора (типичный пример: «горлышко бутылки») похожа на иконический знак. Метонимия (типичный пример: «съесть тарелку») повторяет в этом плане характеристики знака-индекса. Знак же символ аналогичен просто слову с одним значением. То есть типология знаков по Пирсу и множественность значений (множественность переходов между значениями) имеют тождественность определенной степени.

Двоичность как объект семиотики

Стремясь стать метанаукой, семиотика в то же время должна ограничивать области своего применения для того, чтобы остаться реальной наукой.

Ю.М. Лотман, представитель тартуско-московской школы семиотики, акцентирует внимание на вторичных моделирующих системах, понимая под ними системы, построенные по принципу языка: «естественный язык — не только одна из наиболее ранних, но и самая мощная система культуры в человеческом коллективе. Самой своей структурой он оказывает мощное воздействие на психику людей и многие стороны социальной жизни» [112, с. 16]. В разных искусствах Ю. Лотман видит «семиотические объекты — системы, построенные по типу языков».

Нам представляется, что вторичность действительно может рассматриваться в качестве объекта семиотики, однако по другим причинам. Ведь не все искусства, что признается и самим Лотманом, так мощно покоятся на естественном языке, например, скульптура или музыка, но это не снимает с повестки дня знаковость. И даже в искусствах, которые основаны на жесткой зависимости от языка, возможны отклонения от такой зависимости. Так, А. Тарковский сближал фильм скорее с музыкой, а не литературой. Более того, подобная вторичность и связанные с ней характеристики могут быть свойственны и самому языку одновременно с другими явлениями и совершенно по иной причине: вероятнее всего это связано с тем, что в основе лежит работа мозга. Эти единые структуры тем порождены единообразием рабо-

ты мозга человека, только так, а не иначе он и может мыслить. Однако саму идею вторичности/двоичности нам бы не хотелось сбрасывать со счетов. Поскольку в явной или неявной форме она будет присутствовать во многих рассуждениях о семиотике.

Так, У. Эко связывает семиотику с точками в коммуникации, где возможно возникновение лжи. Ложь — это полюс двоичного представления, другая точка — это правдивая информация. Сам Ю. Лотман в работе «Культура как коллективный интеллект и проблемы искусственного разума» называет интеллектуальным только такое устройство, которое в принципе «может сойти с ума» [111, с. 5]. И здесь мы тоже наблюдаем двоичное рассмотрение ситуации. Подобное двоичное представление может активно использоваться в авторитарных системах. Так, например, объявление сумасшедшим П. Чаадаева позволило сразу же занизить уровень созданных им текстов. Не менее активно подобная практика использовалась и совсем недавно по отношению к диссидентам.

Двоичные представления — правда/ложь, норма/сумасшествие — пронизывают и другие аспекты человеческой культуры. Двоичность характерна также для цепочек управления человеческой деятельностью, например, церковная/государственная власть, или партийные/советские структуры. А. Богданов писал о таких случаях как о возможном многоцентрии в рамках агрессии, что возможно при разграничении области их действия. В противном случае реализуется дезорганизация.

«На принципе единоцентрии легко лишний раз иллюстрировать практическое значение организационной науки. В истории русской социал-демократии есть пример нарушения этого принципа, которое привело к немалым вредным последствиям. На съезде 1903 г. руководство партией было поручено сразу двум центрам, редакции центрального органа и центральному комитету. Конечно, это было сделано по разным политическим соображениям, вытекавшим из группировки сил на съезде; но важно то, что не подумали исследовать заранее и обсудить организационные результаты этого решения. Если бы вопрос был поставлен так, то легко бы выяснилось, что это — неизбежно конкурирующие уч-

реждения, ибо поле деятельности у них было намечено, в общем и целом, одно и то же: ее основное содержание заключалось в политическом руководстве партией. Было смутное, инстинктивное сознание, что нужно разграничить роли так, чтобы один центр организовали одни активности, другой — другие, “литературные” и “практические”; но самый умеренный организационный анализ показал бы, что литературные активности служат только для организации тех же активностей практических и особой системы составить не могут» [34, с. 123].

В целом можно говорить о параллелизме, о наложении, об определенном дублировании как о свойстве человеческого моделирования мира. *Знаковость* возникает уже при любом моделировании действительности, поскольку между действительностью и ее описанием образуется определенный зазор, «люфт». Зазора нет, например, в термометре, поскольку никакого минирасхождения с действительностью в этом случае нет. Знак же можно представить как мостик между двумя действительностями: реальной и, например, вербальной. И чем это расхождение больше, тем знаковость выражена сильнее. Еще мощнее она проявляется, когда мы начинаем строить следующую модель, учитывая и действительность, и первую модель — здесь и возникает проблематика вторичных моделирующих систем тартуско-московской школы семиотики. Поскольку проявится то, что можно назвать не просто знаком, а суперзнаком.

П. Богатырев аналогично писал о театральных декорациях и костюмах, подчеркивая, что они являются «знаками знаков, а не знаками вещей» [32, с. 7]. Это связано с общей проблемой театральности, поскольку театр как язык призван не только отражать жизнь, но и свой театральный тип коммуникации. И чем четче выражена эта театральность, тем дальше отодвигается отражение жизненных реалий. К примеру, «Любовь к трем апельсинам» является самодостаточным вариантом символического продукта, для которого аспект отражения жизни имеет второстепенное значение.

Двойственные структуры управления, вероятно, более стабильны, если они не имеют претензий на смежные области. Существует явная тенденция превращения полицентризма в бицентризм. Так, любая многопартийность с неиз-

бежностью приходит к соперничеству двух ведущих партий. Вероятно, мы можем найти определенные корни рассматриваемого явления в двойственности гуманитарного сознания. Финский логик Э. Итконен [244] показал, что в случае естественных наук исследователь и его объект разделены, но в случае гуманитарных наук, в частности лингвистики и семиотики, исследователь и изучаемый им объект слиты воедино. Сходно писал уже достаточно давно русский религиозный философ С.Л. Франк:

«Обществоведение отличается той методологической особенностью, что в нем субъект знания в известном отношении совпадает с его объектом. Исследователь муравейника не есть сам участник муравейника, бактериолог не принадлежит к другой группе явлений, чем изучаемый им мир микроорганизмов, обществовед же есть сам — сознательно или бессознательно — гражданин, т.е. участник изучаемого им общества» [187, с. 36].

О двойственности китайской модели мира говорил С. Эйзенштейн в своих работах «Чет—Нечет» и «Раздвоение единого» [206, 207].

Знак, если быть точным, отражает не действительность, он отсылает нас к той или иной модели действительности. Именно поэтому возможны «русалка» и «леший» в русском языке, отсылающие к нулевому объекту в действительности. Резко понижена роль семантического компонента в музыке. Жесткое соответствие действительности даже и неинтересно с точки зрения семиотики. Оно более характерно для языка животных, где мы предполагаем, что курица не может, например, лгать. В рамках же естественного языка позволительно строить самые разные тексты. И если нехудожественные тексты тяготеют к полюсу соответствия действительности, то художественные тексты лишь моделируют это соответствие, принципиально однако не признавая его.

Двойственность самого знака заключается в том, что он реализуется не в самостоятельной, а в текстовой форме. Он возможен только в рамках текста. В чем различие этих двух его реализаций? Для знака разрешен повтор. Слова не являются индивидуальным изобретением говорящего. В то же время текстовые структуры являются индивидуальными. И

после того как человечество прошло период анонимного авторства, писатель и текст сливаются воедино. Возникает проблема плагиата, заимствований и т.д. Если знак является принципиальным дублем прошлой реализации, то текст является таким же принципиально новым элементом. Знак — универсален, текст привязан к конкретной реализации. Поэтому любой текст всегда принципиально авторский. И даже «Не прислоняться» на двери вагона метро вполне может иметь подпись начальника метрополитена.

Знак не может быть забыт (если такое случается, то это представляет собой нарушение нормы). Незнание вообще семиотически плохо. Поэтому признаться в незнании чего-то запрещено по требованиям этикета. Этикет разрешает демонстрацию незнания только определенных бытовых, заземленных характеристик жизни человека для «дам высшего света». Человек не может, например, не знать своего имени. Он может не знать, как выглядит, к примеру, площадь во Франкфурте, но в соответствии с этикетом выгоднее обладать даже таким дополнительным знанием. Русские староверы считали греховным знание определенных аспектов современности. Но в целом ЗНАНИЕ в рамках нашей культуры оценивается выше НЕЗНАНИЯ. Текст вообще не должен помниться целиком. Чтобы не оказаться забытыми, тексты прошлого (во времена отсутствия письменности) тяготели к ритмическим и семантическим повторам. Все эти ухищрения помогали сделать их более долговечными. Свидетелям при продаже земли драли уши, чтобы событие осталось в памяти на более долгий срок.

Текст обладает не только своим автором, но и своим читателем. Сложные тексты по определению Ю. Лотмана, сами отбирают свою аудиторию: «всякий текст (в особенности, художественный) содержит в себе то, что мы предпочли бы назвать *образом аудитории* и что этот образ аудитории активно воздействует на реальную аудиторию, становясь для нее некоторым нормирующим кодом» [114, с. 55].

Общество санкционирует создание текстов, но не санкционирует (поскольку практически не принимает) создание знаков. Редкость авторских новых слов, вошедших в язык, лишь подтверждает это.

Общество наказывает создателей текстов, идущих вразрез с его представлениями, о чем красноречиво свидетельствует история с С. Рушди.

Текст может быть волевым усилием вычеркнут из обихода. Со словами это случается значительно реже. Например, при Павле особым декретом одни слова были заменены другими

<i>запрещено</i>	<i>разрешено</i>
сержант	унтер-офицер
общество	этого слова совсем не следовало писать
граждане	жители или обыватели
отечество	государство

(цит. по: [44, с. 193]).

Павел заменил также «магазин» на «лавку», запретил носить фраки, жилеты и панталоны. Однако текстовые запреты намного многочисленнее и их практически невозможно перечислить.

Вероятно, все эти характеристики связаны с тем, что есть система языка, объединяющая знаки, и нет системы текстов, которая могла бы выступить в роли защитника отдельного текста. В истории культуры отдельные тексты были спасены только из-за различного отношения к ним разных государств. Очевидно, не существует текста, который бы получил принципиальный запрет повсюду, и тем самым был бы обречен на полное исчезновение.

ЗНАК И СИМВОЛ

Задачей семиотического процесса является совмещение не только модели мира, но и пространственно-временных характеристик отправителя и получателя сообщения. Читая «Исповедь» св. Августина, мы совмещаемся с его пространственно-временным континуумом. Отложив в сторону книгу, мы вновь оказываемся в своем пространственно-временном континууме.

Для простого коммуникативного процесса, индивидуального речевого акта характерно изначальное совпадение пространства-времени отправителя и получателя. В качестве примера можно привести бытовой разговор. Для процесса семиотического свойства характерна пространственно-временная оторванность отправителя от получателя. Человечество, освоив письменность, стало эксплуатировать именно этот процесс в наибольшей степени. Основным стало опосредованное, а не прямое общение.

Запись, стенограмма, протокол — все это выработанные цивилизацией формы фиксации данного процесса. До появления письменности этой же цели служила опора на свидетеля события, использовалась клятва, божба, для того, чтобы участник события впоследствии не мог изменить свои свидетельства. И сегодня при засилье письменной фиксации мы все равно имеем реликтовые остатки института свидетелей: они встречаются в юридической форме, как это имеет место при заключении брака, или в ритуальной, как, например, при вручении диплома.

Фиксация может быть направлена как на визуальное, так и на аудиальное восприятие. П. Флоренский различал по принципу зрительной или слуховой ориентации соответственно католицизм и протестантизм, в православии он видел гармоническое объединение той и другой ориентации (подробнее о дальнейшем разграничении зрительной/слуховой ориентации см. [254]).

Процесс общения мы можем разбить на три основные составляющие: коммуникативную, семиотическую и символическую. В случае коммуникативного процесса центральным является передача содержания, в случае семиотического — к содержанию добавляется и форма, в которую оно воплощено, причем они оба становятся обоюдоважными. Подчеркнем обязательность именно двух сторон, поскольку со времен русской формальной школы бытует разграничение следующего свойства: «Речь, в которой присутствует установка на выражение, называется *художественной*, в отличие от обиходной, *практической*, где этой установки нет» [171, с. 9]. Мы же считаем, что для семиотического процесса характерна двойная установка: и на форму, и на содержа-

ние. В процессе же символическом играет роль ориентация и на форму, и на содержание, и на самих получателя/отправителя. Разграничивая знак от символа, Н.С. Мухелишвили и Ю.А. Шрейдер подчеркивают: «Знак часто выступает как заменитель (субститут) обозначаемого... Но каждый раз граница между знаком и означаемым, субститутом и субституируемым проводится достаточно четко... В случае символа аналогичная граница размывается и в пределе исчезает совсем, ибо адекватное восприятие символа есть придание сознанию той самой направленности, на которую этот символ указывает» [127, с. 64]. Без подключения человеческого фактора символ невозможен. Поэтому, например, анализ символа, проведенный П. Сорокиным, страдает из-за попытки «объективизированного» взгляда на этот субъект, только со стороны наблюдателя, но не со стороны участников.

Фетишизация, проводимая как отрицательная характеристика у П. Сорокина, не является таковой, если мы взглянем на нее не с позиции знака, а с позиции символа. В этом случае она сразу становится естественной и, как следствие, положительной характеристикой. Символ является принципиально расширяющимся, а не замкнутым знаком. Это расширение может идти в сторону абсолютного начала, как это имеет место у П. Флоренского, который в качестве характеристики символа рассматривает то, что за ним стоит гораздо больший объем. «Символ — такого рода существо, энергия которого растворена с энергией другого, высшего существа, поэтому можно утверждать, — хотя это и могло бы показаться парадоксальным, — что символ есть такая реальность, которая больше себя самой» [185, с. 329—330, 287, 293].

Все это говорит об ином объекте и об ином инструментарии, характерном для анализа символа. «Символика не может анализироваться в рамках семиологии, так как она не располагает свойствами языков и кодов», — пишет Ж. Молино [249, р. 114] (перев. В. Мейзерского). Это не значит, что она не системна. Язык и код образно можно охарактеризовать как горизонтальную системность, это как бы системность однородных явлений. Символика более индивидуальна, ее мы можем обозначить в качестве вертикальной системности, где и один в поле воин, что отнюдь не исключает, а даже предполагает существование и других.

Это, вероятно, связано с тем, что человечество использует две фундаментальные системы коммуникации: одна из них тяготеет к передаче *информации*, другая — к передаче *иерархии* (ценностей). При этом вербальные структуры стали базовыми для передачи информации, невербальные — иерархии. Поскольку передача информации более изучена, остановимся на передаче иерархии. Именно этому служат типы одежды, причёски, поэтому на улицах воздвигают памятники. Вспомним, как выглядел, например, типичный номенклатурный кабинет (портрет на стене, собрание сочинений под стеклом, телефоны на столе и т.д.). Символ кроме знаковости передает иерархию. Знак выполняет основную роль в передаче информации, хотя и обладает определенными характеристиками символа. Человеческое общество сильно диверсифицировано. Ф. Хайек даже пишет, что «в культуре, сформированной групповой селекцией, установление эгалитаризма должно привести к прекращению дальнейшей эволюции. Большинство, конечно, не держится эгалитаристских взглядов. Они возникают в условиях неограниченной демократии, когда правительству надо заручиться поддержкой самых низов» [190, с. 253].

Вероятно, мы сейчас попадаем в ситуацию, вслед за С. Трубецким удачно подчеркнутую В. Зеньковским в «Основах христианской философии», когда он разбирает мир платоновских идей. Наши символы и знаки становятся в нашем рассмотрении самодовлеющими единицами, когда они как бы замкнуты на себя. Кто же является субъектом знаков и символов, ведь получая черты вещиности, они переходят в разряд самосуществования. В. Зеньковский пишет, что «лишь учение о том, что идеи суть *мысли Божии*, что субъектом идей является Бог, освобождает учение об идеях от момента овеществления» [66, с. 127]. Продолжая подобный подход, единицу-слово мы можем сделать принадлежностью тварного бытия, знак определяет собою соборное бытие, а символы лучше рассматривать в качестве приближения к сфере абсолютного бытия. И все это вмещается в единой сфере сознания. Однако и тут мы сталкиваемся с ограничением возможности вхождения во все уровни нашего сознания. Как прекрасно пишет П. Адо в книге о Плотине:

«Мы можем подниматься до духовной жизни лишь путем постоянного движения вверх-вниз между отдельными уровнями нашего внутреннего напряжения. Обращая свое внимание вовнутрь, мы должны быть готовы испытать единство Духа, затем опуститься на уровень сознания, чтобы узнать, что именно наше “я” находится там, и вновь утратить сознание, чтобы обрести свое подлинное “я” в Боге. Точнее, в момент экстаза надо смириться с тем, что осознаешь себя лишь смутно» [4, с. 30].

Возможно построение коммуникации, которое исходит из абсолютного начала. В этом случае элементарной коммуникативной единицей становятся символы. Замена слов символами даст речь максимально афористичную, частично не понятную для обыденного сознания. С точки зрения стандарта, это нечто вроде «мнимостей в геометрии» П. Флоренского — мнимости в коммуникации. Знак, преодолевая себя в иной системе координат, становится символом. Но переход знак — символ не может носить всеохватывающий характер, поскольку перед нами две разные системы. Обратная перекодировка из символа в знак делает рутинным, заземленным исходно возвышенное сообщение. Знак меняет процесс коммуникации, символ меняет самого человека. Возникновение этих новых единиц и служит вехами развития человечества. При этом мы находимся не только в послезнаковом, но и в послесимволическом отрезке цивилизации. Если список знаков ограничен, но в принципе он может расширяться, то список символов, наоборот, сужается с нашим движением вперед. Мы черпаем символы принципиально из прошлого периода. Ю.М. Лотман пишет:

«В символе всегда есть что-то архаическое. Каждая культура нуждается в пласте текстов, выполняющих функции архаики. Сгущение символов здесь особенно заметно. Такое восприятие символов не случайно: стержневая группа их, действительно, имеет глубоко архаическую природу и восходит к дописьменной эпохе, когда определенные (и, как правило, элементарные в начертательном отношении) знаки представляли собой свернутые мнемонические программы текстов и сюжетов, хранившихся в устной памяти коллектива» [111, с. 11].

Тем самым мы вновь вернулись к исходной зрительно-слуховой ориентации.

Таким образом, человеческому общению свойственна *семиотичность*, под которой мы понимаем непрямой путь передачи информации. Естественный язык не подлежит в этом плане семиотическому изучению, поскольку он является системой прямой передачи. С другой стороны, он вообще не является системой передачи, а скорее системой фиксации информации в целях последующей передачи. Семиотическими являются определенные изменения закономерностей, заложенных в языке.

Например, в рамках языковой передачи информации речь идет об общении *истинном* — о соответствии языковых референтов неязыковым денотатам. Но литература, этикет, ложь, ирония, являясь неперенным спутником человеческой цивилизации, а отнюдь не случайным исключением из нее, ни в коей мере не выполняют этого требования.

Или иной пример. В рамках языка знание кода первично, лишь на базе этого знания порождается и понимается текст, который в этом плане является вторичным. Но кино-текст, как и любой другой художественный текст, порождает свой код постфактум. В этом случае первичен текст, код же становится вторичным.

Язык в аспекте передачи информации иной, чем язык в аспекте фиксации информации. Де Соссюр был прав, ограничивая лингвистику языком. Ибо речь (которая социально, этикетно нормирована) уже подчинена закономерностям иного, неязыкового порядка, что в свою очередь имеет именно семиотическую ценность.

Представим рассмотренные различия в таблице, куда добавим несовпадение значений автора и читателя, с которыми мы имеем дело в языках культуры.

структура	обязательная характеристика		
	истинность	код до текста	значение автора= значение читателя
семиотическая	—	—	—
языковая	+	+	+

В этой же области лежит расхождение между единицами элементарного порядка. Для структурной (традиционной) семиотики, выросшей из исследования языка, — это знак. Для социальной семиотики (Кресс, Ходж) — это сообщение или высказывание.

Причем нельзя признать имеющей объяснительную силу идею первоначального этапа тартуско-московской семиотической школы о том, что первичная моделирующая система (т.е. язык) предопределяет структурность вторичной моделирующей системы (т.е. литературы, театра, кино и пр.), поскольку базируется на языке. Ведь живопись, балет и т.д. не опираются на язык в такой же степени, однако подчиняются однотипным закономерностям. Все это говорит о том, что данные структурные закономерности вытекают не из языка, а являются отражением особенностей функционирования нашего мозга, нашего сознания. Вот где лежит единый источник, разграничивающий хаос и систему. Для этого не требуется никаких осознанных усилий, все это может проходить вне воли человека. Как заметил Ф. Хайек, «человек цивилизовался в значительной степени вне своей воли» [190, с. 247]. В другом месте он отмечает:

«Поведение, необходимое для поддержания жизни маленькой группы охотников и собирателей, в корне отлично от поведения, которого ждут от человека в открытом, основанном на обмене обществе. Но если на приобретение и генетическое закрепление первого типа поведения у человечества уже ушли сотни тысяч лет, то для появления второго типа поведения необходимым условием стало не только заучивание новых правил, но и подавление с помощью некоторых из них инстинктивных реакций, более не соответствующих открытому обществу. Поддерживает эти новые правила отнюдь не сознание того, что они более эффективны. Наша экономическая система не является результатом работы нашего интеллекта: его возможности недостаточны для этого. Мы натолкнулись на нее, и она увлекла нас на невозобразимую высоту...» [190, с. 241—242].

В языковой структуре целью является ускоренная передачи информации. В семиотической — запаздывающая. Детектив невозможен в языковой модели, поскольку тогда требуется раскрытие имени убийцы уже на первой страни-

це. Здесь важна не сумма, а результат, основным становится сам процесс передачи.

Стандартная языковая ситуация знает, кто отправитель, кто получатель. Семиотическая ситуация может скрывать это, может совершать замену истинного автора на аниматора текста, т.е. семиотическая ситуация представляет собой отступление от базовой коммуникативной схемы. Поэтому, наверное, не совсем точным является базовое представление о семиотике как о науке о коммуникации. Семиотично лишь нарушение определенных норм, характерных для обыденного языкового общения. Почему неинтересен светофор, часто используемый в качестве примера в учебных пособиях по семиотике? Там нет отступлений, которые, конечно, лишили его простоты. В то же самое время большое число неучебных трудов посвящено текстам культуры, которые как раз построены на нарушении параметров, нормальных с точки зрения естественной коммуникации.

Увеличение разрыва в пространстве и времени заставляет отправителя и получателя увеличивать длину текста (сходно действует и иерархический разрыв), поскольку тормозится ответная реакция одного из участников. Исчезновение визуального подтверждения разговора (при этом один рассказывает другому, что тот не видит своими глазами) увеличивает его семиотичность, которая теперь не может быть подтверждена реальностью. Мы должны поверить либо автору, либо своей собственной модели мира.

Аналогично действует любое изменение стандартной ситуации разговора. «Уберите микрофон», «Не будем при свидетелях» — это тип коммуникации, которая не стремится к распространению. Любопытно сравнить воздействие свидетелей на влюбленных, которым приходится замолкать, и на спортсменов, которые свои лучшие результаты, как установлено в социальной психологии, показывают как раз при наличии болельщиков.

Информация, направленная на передачу результата, стремится к сжатию, та же, которая передает процесс, стремится к расширению. В результате образуются разные речевые жанры:

	<i>сжатие</i>	<i>расширение</i>
<i>характерные черты</i>	газетная заметка	роман
<i>следование реальности</i>	обязательно	необязательно
<i>временной разрыв между реальным событием и его вербальным описанием</i>	важен	не важен
<i>общественно</i>	значимое событие	незначимое событие
<i>противоречивые версии одного события</i>	не может быть	может быть
<i>о событиях будущего</i>	не может	может
<i>привлечь к суду за искажение</i>	можно	нельзя
<i>событие сильнее вербального текста</i>	да	нет
<i>требуется дальнейшее отслеживание события</i>	да	нет

В качестве подраздела социальной семиотики можно выделить политическую семиотику, где происходит реализация общих идей на конкретном политическом материале.

Возьмем к примеру цветовую символику. Уже при рождении человека розовый и голубой цвета используются как символы для девочек/мальчиков. Затем красный (а это — вариант розового), как подсказали Ходж и Кресс, постоянно используется женщиной. И губная помада, и цвет ногтей, и румяна — все они в качестве основного заявляют красный цвет.

Мы наблюдали борьбу за цвет флага во время становления украинской государственности. Это пример ограниченной системы, поскольку цветовые визуальные системы не имеют большого числа вариантов. При этом накал страстей становится еще больше, поскольку семиотические различия утрированно велики. Например, когда поднимался красно-черный флаг УПА, всегда звучал голос председательствующего: «Кто поднял? Уберите. Это провокация».

Можем отметить целую серию подобных закономерностей:

1) Чем ограниченнее система, тем сильнее идет процесс фетишизации, поскольку значение каждого символа возрастает. Вспомним борьбу за снятие памятников Ленину. Даже в апреле 1992 года депутаты российского парламента требовали восстановить старое убранство зала.

2) Масштабная фетишизация (символизация) одновременно порождает минифетиши. Она носит максимально системный характер, происходит проникновение данного символа во все возможные сферы. К примеру: красный флаг — красный галстук — значок — красная скатерть — красный уголок.

3) Символизация стремится к распространению на другие уровни. Предыдущий вариант распространения был как бы горизонтальным распространением, а есть и вертикальное. Американский флаг есть в каждой американской школе и перед многими частными домами. Бюст Ленина мы стремились установить в любой точке пространства.

4) Возможна фетишизация пространства и времени. Например: залп «Авроры» как открывающий новую эру человечества. Пространственная фетишизация: Москва, Мавзолей.

5) Перемены в пространстве могут давать такую же фетишизацию, как и перемены во времени. Если во времени — это переход ребенок-взрослый, который маркируется паспортом (вспомним «краснокожую паспортину» и пр.), то переход пространственный может иметь такие же семиотические свойства. Например: хадж в мусульманской религии, «прочане» и «чумаки» в рамках украинской модели мира.

6) Фетишизация возможна даже в данной точке пространства, ср.: символику левого и правого [170]. Причем наше политическое деление отличается от западного, где наши левые партии считаются правыми, и наоборот.

7) Фетишизация прослеживается и при сопротивлении возврату старой символики, ср. яростное неприятие гимна Александра-Михалкова в российских СМИ.

Каковы же общие выводы из предложенного рассмотрения? Знак и символ являются центральными событиями человеческого бытия. Именно наличие их сделало человека человеком, а примитивное общество — цивилизацией. Смена

исторической системы, которую мы сегодня проходим, в первую очередь отражается на смене символов. И основные усилия этого периода носят вербальный характер: перед нами проходит борьба со старыми символами и борьба за новые символы (подробнее см.: [144, 145]). Интересно, что при этом вновь возникает безальтернативная модель. Символы разных систем не могут сосуществовать. Демократические символы с таким же упорством ведут борьбу с символами социалистическими, как это было в предыдущий период с ними самими. Это говорит о том, что в основе символа лежит единственность. Знак же носит более системный характер.

СЕМИОТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ КАК ЯВЛЕНИЯ СФЕРЫ ДОСУГА

Определяющей чертой современной цивилизации, как показал Ф. Хайек, стало понятие свободы:

«Человек развился не в условиях свободы. Член маленькой группы, принадлежность к которой равносильна для него выживанию, может быть кем угодно — только не свободным существом. Свобода — артефакт цивилизации, избавивший человека от оков малой группы, внезапным настроениям которой вынужден подчиняться даже ее лидер. Свобода сделалась возможной благодаря постепенной эволюции дисциплины цивилизации, которая есть в то же время дисциплина свободы» [190, с. 240—241].

Мы же остановимся на другой стороне явления свободы — *leisure*, свободное время, ничегонеделанье (в дальнейшем, Л-сфера). Некоторые исследователи связывают этот процесс с *молчанием* [251; 252], понимая под ним противоположность активной деятельной жизни. Но в Л-сфере также есть действия, они просто иные. Для Л-сферы характерно то, что действия, которые там происходят, делаются ради них самих. Чтение книг ради подготовки к экзамену — не Л-сфера, но чтение книг ради удовольствия — Л-сфера [219]. То есть перед нами (с точки зрения внешнего мира) полностью автономная деятельность, поскольку она зам-

кнута сама на себя. В этом плане она сходна с ритуалом, который также направлен вовнутрь. Но в отличие от ритуала, где положительные эмоции черпаются в строгом его выполнении, Л-сфера разрешает любые варианты импровизации, любые варианты своего собственного решения проблемы времени [204].

Здесь перед нами откроется иная иерархия основных форм поведения. Центральные образцы поведения в мире могут быть второстепенными для Л-сферы, и наоборот. В Л-сфере основные позиции может занять, к примеру, игровая деятельность. Поведение человека в его раннем возрасте, возможно, отражает смену этих моделей поведения в истории человечества. Ребенок играет с куклами до того, как сядет за учебники. Так и человеческая цивилизация выросла, постепенно вытесняя игровые функции, характерные сегодня для Л-сферы. Й. Хейзинга находит точку смены этих моделей в XIX веке [243].

Таким образом, перед нами иной, *параллельный* основному мир. Он принципиально закрыт от вмешательства других и принадлежит всецело самой личности — «*leisure* возвращает нас в наше собственное время», — пишет М. Дэвис [229, р. 111]. Попытки государства войти в него, регулировать его наталкиваются на наши внутренние преграды. Здесь мы четко воздвигаем границы нашей *privacy*...

Задачей нашего рассмотрения будет показать то, что характеристики объектов семиотики, возможно, не являются самостоятельными, а отражают характеристики этой параллельной Л-сферы. Они создаются в соответствии с теми требованиями, которые выдвигает к своим объектам Л-сфера. Тогда окажется, что то, что мы принимаем и анализируем как явления семиотического порядка, на самом деле оказываются явлениями Л-порядка. И если это окажется так, то это в какой-то мере потребует от нас смены направлений нашего поиска, смены каких-то составляющих нашего семиотического инструментария. Л-сфера выступит при этом как первичный феномен, а объекты семиотики — как феномены вторичные.

Что характерно для поведения человека в Л-сфере? *Во-первых*, свободное включение — это принципиально личное

решение (о чтении книги и т.д.). Ощущение этой свободы очень важно. В учебниках по изобретательству даже пишется, что идеи возникают при наличии подобного свободного «зазора». В мозге, постоянно загруженном конкретными задачами, ничего не появляется. Как обратное явление отметим, что для борьбы со слухами рекомендуется загружать, к примеру, воинские подразделения конкретной работой [261]. *Во-вторых*, перед нами не только пассивное участие, как кажется на первый взгляд. Очень большой объем Л-сферы связан с активной работой — вышивание, игра в шахматы, гадание на картах — все это вполне активные действия. Не меньший объем и у пассивного участия: от просмотра телевизора до прослушивания «романов» в тюрьме. *В-третьих*, это принципиальная непересекаемость с внешним миром. Даже при чтении книг или во время просмотра фильма получатель информации, попадая в Л-мир, понимает, что это не есть реальность. Спасает ситуацию то, что он полностью погружается в Л-мир, поскольку, как установлено психологами, нам трудно воспринимать действительность многоканально. Мы воспринимаем ее через один канал, а переключаясь на другой, мы уходим из первого.

Какие свойства семиобъектов признает реальными семиотика? Гартуско-московская школа активно подчеркивала двойственный характер семиобъекта, который часто реализуется в повышенном уровне неоднозначности, характерном для всех языков культуры (см., к примеру [112]). К сожалению, мы не знаем, насколько действительно не совпадают прочтения у разных людей. Но можно признать, что несовпадение читателей приводит к индивидуальному фактору дополнительности, накладывающемуся на художественное произведение. К примеру, мальчики и девочки возьмут из «Трех мушкетеров» разные линии в качестве наиболее привлекательных. Точно так же теория коммуникации разграничивает людей по полу, возрасту, принадлежности к социальным, религиозным группам, по разной степени воздействия на них [219]. Как угодить всем этим разным группам? Семиобъект принципиально многослоен, что создает возможность разнопланового вхождения в него, тем самым обеспечивая элементы импровизации-

онности, нетрафаретности, которые ищет человек, уставший от своих серых будней. Столь же неоднозначен объект дискурс-гаданий — там неоднородность закладывается, чтобы более точно «угодить» заказчику, который скорее дополнит туманное предсказание своими собственными догадками и предположениями [239].

Объект Л-сферы обладает индивидуальным временем и пространством. Время в нем течет по своим собственным законам. Вспомним частые высказывания типа «заигрались и не заметили, как время прошло». Время в Л-сфере может соответствовать совсем иным временным измерениям в физическом мире. К примеру, рождение и смерть героя должны уложиться в гораздо меньший объем времени физического порядка. Время художественное более спрессовано по сравнению со временем реальным. Следовательно, оперирование с художественным временем всегда выгодно — ты выигрываешь время, «проживая» за физически малый отрезок времени целую жизнь героя. Ю.А. Шрейдер связывает этот парадокс с реализацией большого числа моментов выбора, к примеру, в детективе или игре в карты, чем это может произойти с человеком в реальности [205].

Реальное время выступает только в качестве границы, в рамках которой расположено Л-время. Скажем, футбол — интересный или неинтересный в аспекте своего времени — продолжается в рамках отведенных ему двух таймов по 45 минут.

Л-время замкнуто на начало, на точку отсчета, оно относится к внутреннему пользованию. «Раньше начнем, больше поиграем», — говорят дети, назначая время празднования своего дня рождения пораньше. Внутреннее время романа, пьесы также замкнуто на начало, из которого выводится и к которому, как бы на ином уровне, вновь приходит.

Структура реального мира — конечна. Все объекты его жестко ограничены во времени и пространстве. Л-сфера не имеет своего внутреннего конца. Игра в футбол могла бы продолжаться бесконечно, не будь она ограничена таймами. Игра в куклы прерывается лишь отходом ко сну. Конечность Л-мира приносит контакт с внешним миром, необхо-

димось укладываться в его временные рамки. Для книги бесконечность реализуется возможностью повторного прочтения. Семиообъекты в этом плане принципиально бесконечны. В ряде случаев это может быть цикличное время, а не линейное, каким является время внешнее. Цикличность позволяет прерывать, к примеру, чтение, потом вновь приступать к нему, когда будет свободное время, или желание вновь перечитать данную книгу.

Отсюда следует семиозакон — задержка времени в художественной литературе, она реализована не только Прустом, ее можно обнаружить в любом художественном произведении. Армейский приказ видит своей целью конечное *невербальное исполнение*, поэтому в нем перформативный характер выступает на первое место. Художественный текст замкнут в своем собственном вербальном пространстве. Поэтому перформативность для художественного текста (типа паломничества в определенные места после прочтения «Бедной Лизы» Карамзина) не является его характерной чертой, а скорее исключением. Правилom для него является как бы «обратная перформативность»: массовое невербальное действие в подключении к данному типу текста. Перед нами все время проходит волна такого массового прочтения/просматривания («Унесенные ветром», «Скарлетт», «Рабыня Изаура», «Богатые тоже плачут» и т.д.).

Еще одной особенностью семиообъекта, отмеченной тартуско-московской школой, была его принципиальная устроенность в соответствии с вербальными законами. По этой причине представители данной школы первоначально даже именовали эти типы объектов *вторичными моделирующими системами*, относя к первичной язык.

Семиообъекты действительно вторичны, но первичным моментом при этом выступает исходная составляющая — Л-сфера. Эта вторичность опирается на свойства течения времени и изменения пространства в Л-сфере. Основным свойством, которое приводилось как довод представителями тартуско-московской школы, было наличие *кода*. Но, *во-первых*, он предварителен (то есть существует до порождения текста) только в структурах естественного языка, а в художественных языках он вторичен и возникает после самого

текста, после его прочтения или просмотра. *Во-вторых*, мы можем увидеть сходную структурность и в невербальных объектах Л-сферы. Возьмем, к примеру, вышивание как процесс и вышивку как результат. Они явно обладают своим кодом, своей грамматикой. Вряд ли влияние собственно языка может быть столь решающим на невербальную сферу. Еще одним доводом тартуско-московской школы служило наличие более мощной структурности в языке, которая якобы продиктовывала эту свою сильную структурность в более слабые образования, которые начинали строиться по подобию языка. Посмотрим на возможность такого процесса пристальнее.

Если код (грамматика), скажем, в фильме возникает после его просмотра (или же в процессе просмотра), то это принципиально иной код. Если подобный код столь тексто-во зависим, то тогда подобных кодов возникает слишком много. Если он не зависим внешне (от языка), то тогда он зависим внутренне и формируется, находясь в Л-пространстве и времени. Следовательно, скорее можно говорить, что мы просто берем определенные свойства Л-пространства и времени и выдаем их за свойства данного фильма, поскольку это формирование происходит принципиально в Л-время.

Ф. Хайек отметил, что все институты человечества, включая язык, сформировались совершенно спонтанно, вне сознательной воли самого человека [190]. Тем более это касается Л-сферы, для которой как раз характерна сосредоточенность. Та степень рациональности, которую мы пытались найти, обусловлена скорее влиянием самой Л-сферы на объекты, которые в ней «обитают». Именно они формируются под влиянием тех особых требований, которые накладывает на них Л-сфера. Для наиболее адекватного удовлетворения ей, этим объектам приходилось выстраиваться в соответствии с ее законами. Мы не можем требовать соответствия этим законам (код, грамматика и т.д.), скажем, от молотка как явления рабочей сферы. Кстати, любой возникающий подобный объект Л-сферы с точки зрения сферы рабочей явно выглядит лишним, он как бы возникает «с жиру». Взглянем хотя бы на моду. Здесь существует интересный механизм распространения, основанный на жела-

нии повторить, но повторить первым. Это удивительный, внутренне противоречивый, парадоксальный механизм повторить, но первым. Обратный процесс отмечен в воспоминаниях Валентинова (меньшевик, активно работавший в первые годы советской власти). Он продолжал носить котелок, и таких, как он, в Москве обнаружилось только трое. Здесь котелок работает уже как анти-мода, как принципиальное нежелание следовать новой моде. Ведь как справедливо отмечали В. Живов и Б. Успенский: «Немецкий кафтан на немце не значит ничего, но немецкий кафтан на русском превращается в символ его приверженности европейской культуре» [64, с. 72].

Замкнутость Л-сферы, ее ограниченность позволяет вводить свои собственные нормировки по всем параметрам. К примеру, Р. Барт очень детально описывает одежду, еду, поведение, даже позы в рамках мира де Сада. Все эти характеристики, с одной стороны, выводимы из эротической направленности построенного мира. С другой, — благодаря этому они носят в сильной степени системный характер. Вот как Ролан Барт описывает один из элементов этого мира:

«Садическая “сцена” — это одновременно и упорядоченная оргия, и культурный эпизод, имеющий нечто от мифологической живописи, от оперного финала и от номера из программы “Фоли-Бержер”. Одежда в таком случае сделана обычно из блестящих и легких материй (газ, тафта) с преобладанием розового цвета (по крайней мере, у юных подданных): таковы характерные костюмы, в которых по вечерам облачаются в Силлинге четверки (азиатский, испанский, турецкий, греческий костюмы) и старухи (костюм сестры милосердия, костюм феи, костюм волшебницы, костюм вдовы). За вычетом этих знаков, садическая одежда “функциональна”, приспособлена к нуждам сладострастия. раздевание должно происходить мгновенно» [20, с. 189].

Своя нормировка — тоже принципиальная особенность Л-сферы, и она же один в один соответствует особенностям семиосферы. Овладение Л-временем — мечта не только отдельного человека, но и государства, особенно тоталитарного. Оно все время пытается включиться в управление Л-сферой. Это и определение тематики произведений искусства, и

подразделение на героев/врагов, и узко утилитарная организация свободного времени в виде кружков, спортивно-массовой работы, подчиненной лозунгу «Готов к труду и обороне». На партийных съездах поднимался вопрос о недостаточности политмассовой работы по месту жительства. Государство пыталось занять активные позиции в этой сфере, справедливо ощущая, что из-за неконтролируемости в ней могут содержаться зачатки непокорности. Вспомните: разговоры на кухне как явление! Именно в Л-сферах хранился огонь будущих изменений. Л-сфера несла в себе принципиально иные оценки событий внешнего для нее мира, чем те, которые давались средствами массовой коммуникации. Эту закономерность хорошо выразил Е. Шварц в образе начальника тайной полиции, который выходил на улицы подслушивать, но в сапогах со шпорами, поскольку в противном случае такого наслушаешься, что потом ночь не спишь. Тоталитарное государство все время стремилось разрушить Л-сферу, вводя туда дополнительных участников — обязательный третий во время прогулок в заокеанских портах наших моряков или туристов и т.д. Государство почему-то считало, что именно наличие третьего, а не второго возвращает такой мини-ячейке принципиально советский вид.

Мы снова вернулись к вопросу о важности Л-сферы как для гражданина, так и для государства.

Ю.М. Лотман называл культуру коллективной памятью и видел в явлениях культуры наложение нескольких языков (полиглотизм культуры) [111]. Л-сфера как параллельная рабочей несет такую изначальную двойственность в себе. Все порожденное в ее рамках несет в себе печать сразу двух миров. И в человеке попеременно побеждает то один из них, то другой. Человек не стал бы тем, кем он есть, без участия обеих сфер. Его сделали не только труд, но и Л-сфера. Все попытки тоталитарного государства лишить человека Л-сферы потерпели фиаско. Л-сфера продолжала порождать свои устные тексты (анекдоты, слухи, воспоминания), тем самым побеждая тоталитаризм.

Л-сфера важна для нас также следующим: это естественный контекст, в котором происходит восприятие любой коммуникации, включая рекламную и политическую. Есть

определенная несогласованность в адресанте и адресате в этом смысле, например, новости читает человек в галстук, а слушает его человек в пижаме. Один находится в рабочей сфере, другой — в Л-сфере. Политическая коммуникация пытается уменьшить это несоответствие, заставляя политика вести себя на манер актера, выстраивая политическое торжество по типу эстрадного. На уровне коммуникации происходит явное сужение объема рабочей сферы в пользу Л-сферы.

СТЕРЕОТИП ГЕРОЯ И СОБЫТИЯ

Семиотический характер биографии был вскрыт в пионерской работе Григория Винокура «Биография и культура» [45]. Это можно увидеть уже в исходном определении биографии: «Биография, как историческое явление весьма высокой сложности, есть, разумеется, не просто структура, а как бы структура структур, т.е. такая структура, в которой каждый отдельный член в свою очередь обладает структурным строением» [45, с. 41]. И тип биографии сегодня становится объектом для социологического изучения. «Классовые общества, предположительно открытые, отличаются не только тем, что они считают успехом, но и образцами карьеры, которые они предпочитают и поддерживают как средство достижения успеха» [167, с. 121]. Мы сталкиваемся с тем или иным набором биографий, к примеру, в листовках о кандидатах в депутаты.

Все цивилизации обладают механизмами героизации своих членов, четко разделяя хорошее поведение от плохого. Соответственно возникает и проблема описания и фиксации героического. Сергей Аверинцев писал о древнегреческой риторике:

«Поэтика синкрисиса [сопоставления. — Г.П.], игравшая столь важную роль в античной литературе и столь чуждая современному восприятию, имела своей “сверхзадачей”, очевидно, именно этот эффект восхождения от конкретного к абстрактному, к универсалиям. Когда мы говорим “синкрисис”, трудно не вспомнить Плутарха, а потому оглянем-

ся на его «Сравнительные жизнеописания»: если в пределах каждой биографии герою еще как-то допускается быть самим собой, то, как только дело доходит до синкрисиса, оба героя преобразуются в нечто единое — в двуединый инструмент для выяснения некоторой общей ситуации или общего орально-психологического типа» [2, с. 20].

Мы видим в биографии знаковые и незнаковые ситуации. В этом же плане можно прочесть фразу Ролана Барта: «Гангстеры и боги не разговаривают — они помахивают головой, и все своршается» [21, с. 116]. Только знаковые, только работающие на определенный символизм события отбираются в целях политической рекламы. К примеру, в избирательный фильм Клинтона попадают кадры его встречи с Кеннеди, соответственно обеспечивая символическую привязку. В этом плане Григорий Винокур говорит о синтаксисе: «Самая последовательность, в которой группирует биограф факты развития, а отсюда и все свои факты вообще, есть последовательность вовсе не хронологическая, а непременно синтаксическая. Разве не этим объясняются все так называемые «хронологические отступления» в исторических повествованиях?» [45, с. 33].

Таким же знаком биографии становится слово как поступок. «Само содержание слова теперь только признак, указывающий на личность того, кто говорит. Не *что* сказано в слове, а только что *он* сказал в этом слове — так формулируется теперь наша проблема, не что сказано, а *кем* и *как* сказано» [45, с. 81]. Здесь мы видим тесное сближение с идеями М. Бахтина, еще более заметное в следующем отрывке: «Слово — не только выражение некоторого смыслового содержания, но также некоторый социально-психологический акт того, кто его произносит. Оно, следовательно, не только передает нам, в своих предикативных формах, идеи и образы, но еще и подсказывает нам, в формах экспрессивных, каковы поза, манера, поведение того, кто совершает самый акт предикации» [45, с. 80].

М. Бахтин, анализируя философию поступка, писал: «Великий символ активности, нисхождение Христово... Мир, откуда ушел Христос, уже не будет тем миром, где его никогда не было, он принципиально иной» [23, с. 94].

Героическое присутствует постфактум, это общество затем приписывает тому или иному поступку оттенок героического. Мы начинаем действовать в соответствии с этим стереотипом, внося в жизнь ощутимый элемент идеализации. Ю. Лотман писал, что декабристы рассматривали свое вступление в тайное общество как переход в мир исторических лиц, отсюда — смена поведения.

«Осознание себя как исторического лица заставляло оценивать свою жизнь как цепь сюжетов для будущих историков, а вслед за ними — поэтов, художников, драматургов. С этой позиции в оценку собственной реальной жизни невольно вмещивался взгляд со стороны — с точки зрения потомства. Потомок — зритель и судья того, что великие люди разыгрывают на арене истории. И декабрист всегда ощущает себя на высокой исторической сцене» [107, с. 338].

Еще более активно, чем в жизни, мир героического порождается каналами коммуникации, и в первую очередь литературой. Именно там собирается «банк данных» героического. Герой мифа, как считал У. Эко, частично предсказуем, что нельзя сказать о герое современной цивилизации, «где нам предлагается рассказ, в котором основной интерес читателя перемещается в непредсказуемую суть того, что *должно* произойти и, соответственно, к изобретению сюжета, который теперь удерживает наше внимание. Событие не происходило *до* рассказа; оно происходит *во* время рассказывания, и обычно даже автор не знает, что будет дальше» [231, р. 109]. Этими словами Умберто Эко анализирует такое явление массовой культуры, как супермен. В массовой культуре, и особенно в романах Я. Флеминга, Умберто Эко видит большой массив избыточной информации. Так, для романов о Джеймсе Бонде характерно то, что читатель с самого начала знает все о противнике, его характерных чертах и планах. При этом Флеминг использует архетипические схемы, наполняя их новым содержанием. Бонд — это «принц, который спасает спящую красавицу; между свободным миром и Советским Союзом, Англией и неанглосаксонскими странами реализуются примитивные эпические отношения между привилегированной расой и низшей расой, между белыми и черными, хорошими и плохими» [231, р. 161].

Каждая эпоха выносит на поверхность свой элемент героического. В довоенное время — это героика «трактористов», «танкистов», «летчиков», в соответствии с теми задачами, которые тогда решало государство. В зависимости от исторического периода оно выносило на пьедестал победы то Павлика Морозова, то Зою Космодемьянскую. Макс Вебер писал: «Протестанты... подвергают критике аскетические (действительные или мнимые) идеалы жизненного уклада католиков, католики же в свою очередь упрекают протестантов в “материализме”, к которому привела их секуляризация всего содержания жизни» [41, с. 65]. Он сам цитирует утрированную форму этого противопоставления: «протестант склонен хорошо есть, тогда как католик предпочитает спокойно спать» [41, с. 66]. Если мы обратимся к понятию «джентльмен», то здесь также возникает свой набор характеристик: «Джентльмен должен выделяться отвагой и щедростью. Его одежда и доспехи должны соответствовать его положению; от него требуется также большая образованность. Он должен содержать прислугу, не занятую ничем, кроме обслуживания его особы» [130, с. 132].

Американцы выделяют два типа героев бизнеса — предприниматель и организатор. Предприниматели — это сильные личности, на счету у которых вся индустрия Америки, это они создали железные дороги, нефтяные компании и т.д.. «Поскольку предприниматель сделал так много из ничего, он становится героем для среднего человека Америки. Предприниматель часто сам начинает как обычный человек, у него нет унаследованного положения или унаследованных денег, он становится сам по себе миллионером. Потому он представляет собой прекрасный пример Американского идеала равных возможностей» [245, р. 106]. Предприниматель этого типа принадлежит девятнадцатому веку. Организатор, наоборот, является примером, как из ничего получается что-то. Он управляет организацией, созданной кем-то, каким-то предпринимателем. Постепенно поднимается вверх, но никогда не становится боссом, над ним всегда есть кто-то. «Он поднимается вверх своей организации не на основе своих способностей, но на базе того, что он умеет быть нужным тем, кто наверху... Обычно он разделяет ответственность с други-

ми организаторами, которые принимают решения вместе. Предприниматель, с другой стороны, был единственным и бесспорным руководителем своего бизнеса» [245, р. 108]. Как видим, героический имидж американского бизнесмена испытывает упадок.

При этом герои могут избирать ту или иную манеру поведения для закрепления своей «героичности». Приведем примеры из античности:

Нерон: «Желание бессмертия и вечной славы было у него всегда, но выражалось неразумно: многим местам и предметам он вместо обычных названий давал новые, по собственному имени: так, апрель месяц он назвал Неронием, а город Рим собирался переименовать в Нерополь» [174, с. 174]. «Но более всего его увлекала жажда успеха, и он ревновал ко всем, кто чем бы то ни было возбуждал внимание толпы» [174, с. 173].

Клавдий: «Сам он в своем возвышении держался скромно, как простой гражданин. Имя императора он отклонил, непомерные почести отверг, помолвку дочери и рождение внука отпраздновал обрядами без шума, в семейном кругу. Ни одного ссыльного он не возвратил без согласия сената» [174, с. 136].

Александр Македонский: «...они посоветовали Александру напасть на врагов ночью... Знаменитый ответ Александра: «Я не краду победу» [138, с. 76]

Цезарь: «Держать надгробные речи при погребении старых женщин было у римлян в обычае, в отношении же молодых такого обычая не было, и первым это сделал Цезарь, когда умерла его жена. И это вызвало одобрение народа и привлекло его симпатию к Цезарю как к человеку кроткого и благородного нрава» [138, с. 118]. Или: «В самом Риме Цезарь, благодаря своим красноречивым защитительным речам в судах, добился блестящих успехов, а своей вежливостью и ласковой обходительностью стяжал любовь простонародья, ибо он был более внимателен к каждому, чем можно было ожидать в его возрасте. Да и его обеды, пиры и вообще блестящий образ жизни содействовали постепенному росту его влияния в государстве» [138, с. 117].

Мы видим последовательное перечисление тех или иных характеристик, которые как бы выстраивают позитивный или негативный облик. Причем интересно, что эти основ-

ные параметры *не изменились* со времен античности. Если, скажем, мы откроем «Характеры» Феофраста, то все его определения годятся нам и сегодня, с тем же негативным оттенком. Например, «Тщеславие мы определяем как низменное стремление к почету» [183, с. 28]. Возможно, это связано с тенденцией видеть общее, а не частное, что С. Аверинцев считал особенностью античности. Он написал: «Общее место — инструмент абстрагирования, средство упорядочить, систематизировать пестроту явлений действительности, сделать эту пестроту легко обозримой для рассудка. ...Вся античная культура воспитывала вкус к общим местам...» [2, с. 16]. Ср. также: «Познавательный примат общего перед частным — необходимая предпосылка всякой риторической культуры» [1, с. 8]. Именно поэтому эти «формулы» читаются сегодня столь современно, в них осталось то общее, что близко и нашему времени, и времени античности.

Опираясь на такую агиографию, находясь в заключении, Даниил Андреев, Василий Опарин и Лев Раков создали «Новейший Плутарх. Иллюстрированный биографический словарь воображаемых знаменитых деятелей всех времен и народов от А до Я» [8]. Здесь (часто в юмористической форме) обыгрываются стереотипы подобных биографических описаний. Например: «В ночь рождения его мать Секлетей вышла из избы на двор (источники дружно молчат о цели ее выхода, и в исторической литературе есть несколько мнений об этом)» [8, с. 234]. Основоположник новой научной дисциплины «Сравнительной истории одежды» описывается при помощи изложения его проектов одежды для нищих первого, второго и третьего рангов: «Второй рисунок изображает проект формы “городского нищего 2-го ранга”, имеющего право просить милостыню “у подъезда всех общественных зданий города”. На его служебный разряд указывают две заплаты и наличие черной кожаной сумы для сбора милостыни, украшенной гербом города» [8, с. 231].

Стереотипы событий также существуют, и мы практически лишены возможности их избежать. Многочисленные эксперименты показали, что изменить стереотип невозможно, борьба с ним — напрасная трата денег. Американская избирательная кампания направлена не на борьбу за тех,

кто уже принял решение, за кого голосовать, а только за тех, кто такого решение еще не принял. Причем в их случае это может быть 2—3%.

Столкнувшись со стереотипом, надо принимать его как данность. И попытаться построить рядом новый стереотип, что в результате может оказаться разумной тратой денег. Но еще более эффективной может оказаться попытка использовать имеющийся стереотип, чтобы на базе его построить свое сообщение, как бы надстраивая этаж за этажом. Таким образом, перед нами возникает два пути движения, в зависимости от того, положительна или отрицательна направленность имеющегося стереотипа. С одной стороны, мы можем присоединиться к уже существующему положительному стереотипу. Взяв положительное событие, с которым многие согласны, политик как бы «встраивает» себя в его структуры. Сюда можно отнести и такой парадокс, о котором упомянул президент Эстонии на похоронах Юрия Лотмана. Часто, при посещении какой-либо страны, в разговорах выяснялось, что Эстонию знают как республику, где живет профессор Лотман [116].

В случае отрицательного стереотипа политик также может воспользоваться им, выступив в роли защитника от этого «лиха». То есть чем большей оказывается беда, тем большие лавры может стяжать защитник. Часто «оппонент» сознательно конструируется.

Если стереотип из положительного становится отрицательным, то от него надо вовремя отойти. Так поступила компания «Пепсико», разорвав контракт о спонсорстве 26 миллионов долларов с Майклом Джексонем из-за его пошатнувшейся репутации. Соответственно отсылку на подобную ситуацию сразу же использовал конкурент — компания «Кока-кола»: «после того как личный доктор Джексона заявил, что ноябрьский концерт в Бангкоке отменен из-за обезвоживания организма музыканта, все крупные местные газеты напечатали рекламу “Обезвожен? Пей кока-колу!”» («Аргументы и факты», 1994, №16).

Возможно и обратное движение — продажа товара с отрицательным стереотипом. Так произошло с 500 экземплярами автомобиля «Трабант» (производимого в ГДР). Это

пластмассовое двухтактное чудо было названо последней мезью Ульбрихта восточно-немецкому народу. Они застряли на пять лет на таможенном складе в Турции, поскольку двухтактные модели нельзя было ввозить в эту страну. Теперь «сами же западники, изошренные в приемах маркетинга, умело вызвали в народе ностальгию по ушедшим временам и автомобилям. Бывшего «гадкого утенка», недостойного немецкой инженерной мысли, они теперь с успехом продают как «трабант, легенду на колесах!» («Московские новости», 1995, № 67).

Стереотип столь же реален, и без учета его противодействия нельзя строить воздействие. Учет этого помогает политику использовать сам стереотип как плавсредство.

ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ: СЕМИОТИКА И РЕКЛАМА

Семиотика как наука выросла скорее на анализе рационального, чем иррационального. Ведь многочисленные исследования художественных феноменов, которые особенно характерны, например, для тартуско-московской школы, состоят в первую очередь в анализе их рациональной стороны. Эта традиция идет от русской формальной школы в литературоведении, где внимание исследователей также привлекал рациональный аспект художественного произведения, а именно, его конструкция. Тенденция к исследованию более материализованных, более объективизированных структур, характерная вообще для научного знания, оставляет за порогом изучения элементы (вкрапления) иррационального в наши весьма обширные рациональные потоки.

Каковы возможные рационально-иррациональные структуры коммуникации в жизни современного человека? К ним следует отнести рекламу, ведение переговоров, разрешение конфликтов, слухи. Это области, которые при строго рациональном построении терпят вполне объяснимый крах. При этом практическое обучение в этих областях направлено на то, чтобы сделать рациональным поведение говорящего. Слушающий (получатель информации) всегда признается в

этих схемах иррациональным партнером. Тем самым задача подобных текстов состоит в том, чтобы, будучи рациональным с позиции говорящего, быть одновременно иррациональным с позиции слушающего.

Таким образом, типология текстов с соотношением иррациональности/рациональности может быть представлена следующим образом:

ГОВОРЯЩИЙ	СЛУШАЮЩИЙ	ПРИМЕР ТЕКСТА
рациональный	рациональный	инструкция
иррациональный	иррациональный	поэтический
рациональный	иррациональный	реклама

Неиспользованный вариант (иррациональный говорящий — рациональный слушающий), вероятно, представляет собой пример общения пациента с врачом, например, в психоанализе. Следует также добавить, что приведенная таблица говорит не о полной иррациональности или рациональности текста, а об определенном преобладании в его структуре тех или иных составляющих. В целом же структура человеческой коммуникации несет в себе как иррациональные, так и рациональные элементы. И только в результате исследования предстает перед нами чисто рациональным образованием, ибо исследование часто в состоянии увидеть в естественном коммуникационном потоке только его рациональные составляющие.

Где кроются истоки иррациональности?

«Нет слова без ответа», — пишет Ж. Лакан. «Слово ориентировано на собеседника», — вторит ему М. Бахтин, который также считает, что слово само по себе есть ответ в рамках произнесенного/непроизнесенного диалога. Слово, высказывание — это элемент речевой цепочки, на котором временно остановлено внимание. Все предыдущие и последующие фазы этой речевой цепочки выступают в качестве полюса иррациональности, поскольку уже слабее контролируются сознанием. Поэтому их влияние является скорее косвенным, чем прямым.

Не все области человеческого поведения одинаково рационализированы. Культура состоит и из лакун, вслед за

Э. Холлом отмечает Б. Огибенин. В качестве примера такого значимого отсутствия для русской культуры Б. Огибенин приводит эротические тексты [250]. Возможности этого направления воплощались в единичных случаях Арцыбашевым, Кузьминым, Набоковым. При этом в данной области существуют «низкие» тексты, что говорит о применимости их для литературы, но нет текстов «высокой» культуры. Мы видим неравномерное, неравноправное устройство культурного пространства, где постоянно сосуществует рациональное и иррациональное.

Сходные явления можно наблюдать и в каждой отдельной области культуры. Не наличием ли иррациональных элементов можно объяснить невозможность свести романские структуры к простым моделям? Как пишет Ю. Лотман, «обескураживающе неудачными были попытки непосредственного перенесения на роман в его развитых формах методов, успешно применяющихся в работе с более простыми видами текстов. Так, опыты реализации на материале романа модели волшебной сказки В.Я. Проппа (и его последователей, пытавшихся, вопреки Проппу, придать его схеме, соответственно модифицированной, характер универсальной структуры нарративного текста) не дали ожидаемых результатов».

Реклама сегодня все более нуждается в качественных, а не количественных подходах. Она все больше обращает внимание на семиотику. С точки зрения семиотики рекламный текст также представляет особый интерес, поскольку активно опирается на получающего информацию. Лингвистика в целом — это лингвистика говорящего. Вероятно, требуется аналогичная разработка лингвистики, ориентированной на слушающего. Некоторые понятия современной лингвистики, такие, как, например, пресуппозиция, представляются нам объектами этой новой лингвистики, переориентированной на слушающего. В принципе, мы можем разделить тексты на те, где первенство отдается говорящему, и те, где главенствует слушающий. Все тексты массовой культуры, как считает У. Эко, формируются в значительной степени под влиянием слушающего. Подобным же образом рождаются тексты беседы взрослого с ребенком, где рассказ должен быть сориентирован (и переведен) на язык ребенка.

Семиотика в целом неоднородна и объединяет в себе два существенно разных направления. Одно — на сегодня более традиционное и, соответственно, более распространенное — можно назвать структурной семиотикой. Родоначальником его следует считать Ф. де Соссюра, а свое наиболее яркое развитие оно получило в русской формальной школе в прошлом и ныне в ряде работ представителей тартуско-московской школы. Здесь центральным моментом является изучение структуры целого. Задача — создать как бы «чертеж» определенного текста, какого-то аспекта культуры. Причем достаточно часто теряется ощущение собственно семиотичности рассматриваемого объекта: кажется, что исследование переносится в область литературоведения, истории, музыкознания и т.д.

Если Ф. де Соссюр акцентировал в этих целях понятие знака и от него начинал восхождение в структуру языка, то тартуско-московская школа практически не интересуется явлением знаковости, полностью перескакивая через этот уровень сразу на уровень знаковых систем и описывает только его, исходя из своих представлений о культуре как о генераторе кодов (и соответственно текстов). Если представить себе трехчленное условное отношение культура — текст — знак, то тартуско-московская школа занята преимущественно первым из них:

культура (как набор языков)
 текст
 знак

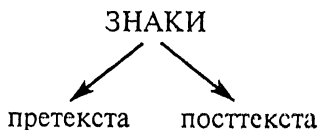
При этом широкое понимание языка (что является одним из основных признаков тартуско-московской школы) позволило представить культуру как генератор кодов, набор разных языков:

Я1
 Я2
 Я3
 ...
 текст(ы)
 знак(и)

И поскольку лингвистика (на которую в своей основе было сориентировано это направление) была лингвистикой говорящего, это направление построило в основном семиотику говорящего, или структурную семиотику.

Второе направление, вслед за металингвистикой М. Бахтина, можно назвать метасемиотикой, или коммуникативной семиотикой. «Структурализм, — пишет Дж. Куллер, — подчеркнул понятие кода и представил читателя как набор кодов, но часто в своих теориях оставлял неясным статус коммуникации» [227].

Коммуникативная семиотика, как это ни парадоксально, в качестве одного из первых своих шагов должна отказаться от традиционного понимания знака. Собственно, его нет и в первом направлении, почему-то никто не занимается собственно знаком, кроме первоначальных разработок классиков Ч. Пирса и Ф. де Соссюра, что тоже является важной приметой классиков. Все это связано с тем, что в реальных процессах коммуникации мы никогда не сталкиваемся со знаком как таковым. Знак заметен только в результате определенного утрирования, преувеличенного внимания, анализа исследователя. Ни говорящий, ни слушающий со знаком дела не имеют, если не заняты интроспекцией. Ведь высказывание, с которым они реально сталкиваются, не разделено на знаки. Более того, основной поток коммуникации художественной (театр, кино и т.д.) вообще имеет иное понимание знака. Существование стандартного и художественного понимания знака позволяет разграничить тексты на два типа: те, которые обладают знаками до текста (типа естественного языка), и те, где знак возможен лишь после текста (театр, кино, живопись и др.). Соответственно знаки можно разделить на дотекстовые и послетекстовые, или знаки претекста и посттекста.



Реклама в этом плане состоит в основном из посттекстовых знаков, хотя бы потому, что собственно вербальная информация (рационального порядка) занимает в ней пространственно не основное место, кроме того, психологически она играет отнюдь не ключевую роль.

Если воспользоваться представлениями А. Богданова (русского предшественника кибернетики), то знак вообще будет выглядеть весьма сильной идеализацией, реально не существующей в природе [34]. Термином «депрессия» А. Богданов называл защиту мягких, пластичных структур образованиями более жесткими. В качестве депрессии можно рассматривать форму знака по отношению к его значению. Однако содержание его не носит столь же прямой и однозначный характер, что и форма. Оно скорее представимо как серия более или менее вероятных содержаний. Соответственно можно произвести деление информации (т.е. возможных содержаний) на более вероятные и менее вероятные. В стандартный знак, в область, ограниченную его оболочкой, и попали более вероятные представления — мы имеем практически стопроцентное согласие по поводу формы и несто процентное, но достаточно большое согласие по поводу того, что такое содержание (С1) у слова «корова» — это животное, которое дает молоко. Но при этом в предложении «Его забодала корова» уже будет использовано С2 — у коровы есть рога. А «Корова родила теленка» уже дает нам новое С3. Получается, что знаки в своей семантической части предстают скорее как фрейм. Использование слова позволяет отбирать те или иные ветки этого дерева, если мы имеем представление в виде дерева.

Знаки рекламы, что еще сложнее, формируются *окончательно* в сознании получателя, практически никогда не существуя заранее. Р. Барт в своем разборе конкретного рекламного текста наглядно это демонстрирует. Большинство его результирующих наблюдений, хотя и покоятся на определенном предшествующем знании, реально фокусируются читающим только после «прочтения» рассмотренного визуального изображения [19].

Рекламный текст главенствующую роль отдает именно визуальным изображениям не только потому, что они носят более универсальный характер, что соответственно ускоря-

ет восприятие, а главным образом потому, что они обрабатываются иным полушарием головного мозга, не допуская той меры рационализации при восприятии, которая имеет место в случае восприятия вербального текста. Поэтому нам сложно отрицать изображение, поскольку оно более реально в восприятии, чем вербальные характеристики. Его отрицание в какой-то мере и невозможно. Как можно найти отрицание, например, для типичной рекламы сигарет «Мальборо», где изображены мужественные ковбои с лассо и лошадью, а пачка сигарет предстает на их фоне? Рекламное изображение в этом смысле принципиально не подлежит оценке по параметрам ложь/истина, поскольку достаточно трудно отрицать то, что мы видим. В лингвистике наиболее действенные типы высказываний, получившие название «перформативы», также не подвержены применению категорий истины/лжи, в них речь идет только об искренности/неискренности. Это связано с тем, что перформативы (а это, например, выражение просьбы, извинения, угрозы) не описывают ситуацию, а сами формируют ее. Реклама по своему главному предназначению также является глубинным перформативом, поскольку ее конечной целью является стимуляция интереса покупателя. Поверхностно она может быть обычным констатирующим высказыванием, но на глубинном уровне — обязательно перформативом.

Следует дополнительно подчеркнуть *отграниченность* рекламы от других типов текстов; она сразу оказывается заявленной как реклама и потому имеет право на свои, специфические законы. Мы сразу воспринимаем подобный текст именно как рекламный. На это отделение работает место, форма подачи, преобладание визуальной над текстовой частью и др.

Семиотика обладает достаточно наработанным ассортиментом идей, которые могут получить свое воплощение в рекламе. Анри Бромс и Генрик Гамберг рассказали о своем опыте претворения в жизнь идей карнавализации Михаила Бахтина [223]. Рекламная кампания по моделированию такого карнавального поведения была проведена в Хельсинки в 1986 году. Идея состояла не в воздействии посетителя, а в

попытке создания шоу для совместного времяпрепровождения. Можно описать эту ситуацию разграничением фольклорного и нефольклорного искусства, предложенного Юрием Лотманом. В нефольклорном искусстве резко завышена роль автора, аудитория же полностью пассивна.

«Положение фольклорной аудитории отличается в принципе. Фольклорная аудитория активна, она непосредственно вмешивается в текст: кричит в балагане, тычет пальцами в картины, притопывает и подпевает. В кинематографе она криками подбадривает героя. В таком поведении ребенка или носителя фольклорного сознания “цивилизованный” человек письменной культуры видит “невоспитанность”. На самом деле перед нами иной тип культуры и иное отношение между аудиторией и текстом» [108, с. 10–11].

В сегодняшнем нефольклорном типе культуры запрещены перемещения зрителя на позиции актера. Но именно реклама как отграниченный от других вид текста может позволять себе любые эксперименты.

С другой стороны, исследователи рекламы вышли на достаточно четкие формулировки тех или иных коммуникативных законов, без которых не построить эффективно работающих семиотических теорий, ибо базисные кирпичики конкретных фактов невозможно обойти. Так, японцы установили, что в передаче новостей первые полторы минуты выслушиваются активно, потом внимание рассеивается. Поэтому западных политиков учат, что отвечая на вопрос, они не должны говорить больше этого времени. Возникло множество конкретных рекомендаций по написанию рекламы.

«Для мужчин, например, запретным является то, что может задеть самолюбие. Они ценят абстрактные формулировки, которые имеют только отрицательный эффект в отношении женщин. Более убедительными для женщин являются конкретные положения, которые непосредственно связаны с жизненными действиями. Большой степенью воздействия на женщин обладают, например, тексты, касающиеся здоровья и воспитания детей: <...> “сыну одну, а маме три” (таблетки витамина). Эффективными являются и тексты, содержащие запрещения, например, в рекламе женской парфюмерии: <...> “лицам моложе 25 лет пользоваться этим запрещается”. Иногда полезно отметить и отрицательные

стороны предмета, являющегося целью убеждения. На их фоне выгоднее выглядят достоинства: <...> “удаленность от центра города, конечно, недостаток, но какая замечательная природа вокруг!” (реклама жилых домов); <...> “неприятно пить, но дает прекрасный результат” (реклама лекарства)» [128, с. 211].

Рекламный текст с неизбежностью становится объектом семиотического изучения, поскольку семиотика как раз и предлагает аппарат для анализа коммуникации, идущей сразу по нескольким каналам.

Глава третья

ЗНАК И ОБЩЕСТВО

ЗНАКОВОЕ И НЕЗНАКОВОЕ

Знак представляет собой переход от мира материального, считываемого органами чувств, к миру информационному, который не может существовать без соответствующей кодировки. Для того чтобы передать информацию от одного человека другому, необходимо другому человеку облечь ее в форму, доступную для считывания органами чувств.

Эту роль выполняет знак элементарная единица, которая объединяет в себе две стороны: материальную и информационную. Знаковость будет варьироваться при переходах от одного типа культуры к другой: европейский сад, к примеру, будет подчеркивать упорядоченность, восточный — случайность. В одном случае будем иметь приближенность к артефакту, в другом — к природе. Но и в первом, и во втором случае это будет сознательно сконструированное и поддерживаемое свойство. И оно будет восприниматься, как эстетически правильное только теми, кто заранее знаком с данной системой. Таким образом вместе со знаком возникает необходимость понятия кода как жестко заданного типа перехода от мира формы к миру содержания. Мы не рождаемся с ними, мы обучаемся им.

Нарушители знаковости наказываются обществом (школой, семьей). Знание той или иной знаковой системы всегда престижно и регулируется этикетом. Человеческие общества обладают безграничным количеством знаковых систем, владение которыми с точки зрения чисто биологического существования человека необязательно, но необходимо в рамках

социального существования. Любой человек всегда владеет не одной, а несколькими знаковыми системами.

Человечество не менее активно управляет знаковыми системами, чем системами реальности. Человек как «символическое животное» большое значение придает не самой реальности, а ее знаковому обозначению. Смена социальных систем приносит смену знаковых обозначений, например, после 1917 — министр сменился наркомом, а после 1991 г. генсек — президентом.

Другим примером служат террористические акты в Америке. Они были направлены на символические объекты, чтобы вызвать наибольшее психологическое давление на массовую аудиторию, а в качестве объекта атаки были избраны башни Всемирного торгового центра, Пентагон и Белый дом. Подобные символические цели и вызвали в результате то шокирующее впечатление во всем мире, на которое и рассчитывали террористы. Но террористы «стреляли» не по реальным объектам, а по символическим. Это была демонстративная знаковая атака.

Избранный тип знакового обозначения того или иного объекта определяет и предопределяет наше реагирование на него. На традиционные профессии нет очереди, очередь возникает при появлении нового названия. Одно из блюд, о котором узнали россияне по приезду Ким Чен Ира, главы Северной Кореи, звучит как шашлык из «небесной коровы». Но как оказалось, это всего лишь ослятина на палочке. То есть человек реагирует как на объект, так и на его знаковое обозначение. Поэтому некоторые варианты придуманных названий для товаров подвергаются серьезной проверке, причем затраты на подобные исследования могут достигать до одного миллиона долларов. Такова цена придуманного знака.

Семиотика является наукой, объектом которой являются знаковые системы. Это значит, что она изучает практически все результаты работы разума человека, поскольку именно его представления об отличии хаоса от порядка лежат в основе понимания любой структурности, упорядоченности. Случайное не является знаковым. Знаковое и не может быть случайным, поскольку предполагает отсылку на базисный

вариант перевода увиденного/услышанного. Я знаю, что это значит, поскольку сталкиваюсь с этим не в первый раз. Новое полученное сообщение понимается сквозь прошлый опыт, где это или подобные сообщения уже прошли обработку. Ребенка учат пользоваться вилок и ножом. Тогда в последующем он именно такой вариант сочетания использует в своей жизни. Если этого обучения не произошло бы, люди пользовались бы руками и столовыми приборами в хаотическом порядке.

Необходимо отметить и такой момент. Изучая и описывая, мы как бы увеличиваем степень знаковости объекта. Например, Ю. Лотман, описывая дуэль, балы или быт декабриста, несомненно увеличивал системность, даже в большей степени, чем может принять гуманитарный объект, который, вероятно, характеризуется другим соотношением упорядоченного и случайного, чем это имеет место в случае объектов физического мира, где роль порядка несомненно выше. В результате системность физического мира накладывается на гуманитарный объект.

Если перед нами есть два типа знаковых систем — зачаточная и развитая, то посредством описания мы резко увеличиваем знаковость, то есть системность. «Предзнаки» (если можно воспользоваться таким сконструированным термином) переходят в знаки. Это происходит потому, что описание видит только системные характеристики, оставляя несистемные за бортом. Например, для русского (как и любого другого) языка тембр голоса не является системной характеристикой: голос может быть мужской, женский, детский, но это не повлияет на наше понимание, за исключением особых контекстов, вроде крика «Руки вверх!», исходящего от ребенка.

Анализ повышает знаковость объекта, реально трансформируя его в совершенно иной объект, что часто не учитывается исследователями. Активное внимание к объекту не просто находит в нем скрытые стороны, но и меняет их приоритетность, поскольку они оказываются теми компонентами, которые искомы исследователем.

Зачаточная знаковая система



Развитая знаковая система

Возможно, это может быть связано также и с тем, что мы описываем данный объект с помощью достаточно сложной системы — естественного языка. В свое время тартуская семиотика говорила о первичных и вторичных знаковых системах, рассматривая вторичные моделирующие системы (театр, кино и др.) как таковые, в которых структурность продиктована прототекстом, на котором они были записаны.

Еще одним вариантом увеличения системности, знаковости становится первое вхождение в данную систему знаков. Часто это оформлялось особым образом в виде обрядов инициации. Это был вариант внесистемного/системного нахождения одновременно.

Это срабатывает даже тогда, когда подобные обряды не существуют или носят факультативный характер. Например, мы увеличиваем диапазон системности своего мира, когда наряжаем елку ради ребенка. Мы начинаем поддерживать этот виртуальный мир другими способами: покупкой подарков, рассказами о Деде Морозе. Хотя мы и не верим в это, но являемся активными участниками всех праздников. А участие в процессе часто более значимый фактор, чем вера, как это, кстати, очень часто происходит и в случае религии.

Александр Бенуа писал о первом выходе своих дочерей в театр. Хотя они жили в десяти минутах от Мариинского театра, «было решено прибегнуть к карете, и это не столько из опасения простуды (стоял ноябрь и уже сыпал снег), сколько именно для придачи всему большей торжественности» [25, с. 379]. То есть происходит сознательное увеличение знаковости события. Сходным образом мы увеличиваем знаковость во всех событиях-переходах в иное социальное состояние. Например, свадьба, получение диплома, рождение ребенка. Процессы подобных переходов человеческая цивилизация делает максимально знаковыми.

Таким образом, вся жизнь человека строится на постоянном увеличении знаковости, числа знаковых систем, которыми он постепенно овладевает.

Семиотика в своем первом приближении в теории Ф. де Соссюра рождается из исследования такого объекта, как естественный язык. Семиотика советского периода (Ю. Лотман, Б. Успенский и др.) основывается на таком объекте, как язык культуры. При этом Ю. Лотман активно подчеркивал, что главное отличие художественной коммуникации состоит в базировании на неоднозначности, что позволяет, например, читать одно и то же стихотворение неоднократно. В то же время естественный язык стремится к однозначности. Таким образом, первый вариант семиотики возникает при одном типе перехода от хаоса к порядку, второй — при другом, гораздо более структурно сложном типе объекта.

<i>Автор подхода</i>	<i>Объект анализа</i>	<i>Характеристика системы</i>
Ф. де Соссюр	Естественный язык	Однозначность
Ю. Лотман	Языки культуры	Неоднозначность

Суммарно можно сказать, что семиотика как наука возникает при изучении объектов сложного типа, которые можно охарактеризовать следующим набором особенностей:

- нет единства интерпретации;
- могут переходить в иные системы: театр, кино, живопись;
- характерной является также человеческая неоднородная среда (например, русский «серебряный век» характеризуется пересечением разных типов творцов: от художников до писателей);
- неоднородность восприятия, когда, например, зритель, воспитанный на одном типе кодов, переходит к другому;
- полиструктурность в отличие от моноструктурности (например, роман в отличие от инструкции по пользованию утюгом).

Все это говорит о сознательно усложненной структуре. Она усложнена на уровне отправителя сообщения, на уровне самого сообщения, и на уровне получателя сообщения. То есть уровень структурности, сложности на каждом из

этапов не понижается, а возрастает. Например, какая-нибудь «эзотерическая» художественная школа будет иметь не только особого типа художников, но и особого типа адептов. Они будут взаимно усиливать друг друга.

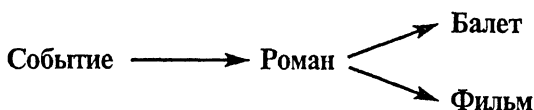
Иной полюс — массовая культура — базируется на принципиально упрощенном типе получателя информации, следовательно, в любом случае будут иметь место «лимиты» структурности, пределы сложности, наложенные как на сообщение, так и косвенно, на его отправителя, который в ответ может порождать сообщения только определенного уровня. Массовая и «высокая» культура отличаются даже по контекстам потребления. Уединенность, индивидуальность и тишина характерны для «высокой» культуры, чего нельзя сказать о культуре массовой.

Возможно, по этой причине в рамках массовой культуры порождаются типичные герои и стандартные сюжеты, например, в мильной опере или вестерне. Подобное ограничение естественным образом облегчает восприятие, поскольку получатель информации обладает заранее заданными предсказующими механизмами по развитию сюжета, по типуажу героя и его поведению.

Знаковый характер возникает, как мы видим, не только на уровне слова, но и на уровне сюжета. «Правильный» сюжет отличается от «неправильного», и они рассчитаны на различные аудитории. По этой причине все массовые жанры, от фантастики до мильной оперы, тяготеют к определенному единству сюжетного порядка. Отклонение от нормы может возникать только в случае отдельных произведений, за которыми сегодня не стоят «школы». Это произведения-единицы, где знаковость содержится только в них самих, отличаюсь от знаковости, продиктованной извне законами жанра.

Главной особенностью семиотического объекта следует признать наличие параллельных структур. Знаковость разворачивается параллельно в плоскости форм и в плоскости значений. Знаковость реализуется в процессах интертекстуальности, когда в любом из текстов можно увидеть скрытые и явные отсылки на другие тексты. Идеальным семиотическим объектом является такой, который имеет длинную историю «переводов» из одного семиотического языка в дру-

гой. Например, роман о реальных событиях, на базе которого сделан фильм или поставлен балет.



Каждая из реализаций, являясь самостоятельной, с неизбежностью будет учитывать прошлые попытки создания системы, организации данного набора фактов в художественную конструкцию. При этом часть событий принципиально не сможет попасть в новый тип художественной конструкции, что связано со знаковыми возможностями именно данной системы.

Семиотика направлена на изучение параллельных структур. Отсюда и возникает ее известная междисциплинарность. Семиотика «подпитывается» подобной междисциплинарностью. Это вдвойне очевидно, поскольку понять законы одной семиотической системы можно только при наличии другой семиотической системы. Нахождение внутри системы не позволяет увидеть и разграничить знаковое и незнаковое, характерное именно для данной системы. Именно в этих переходах от сырого фактажа к художественной конструкции и находят свою реализацию семиотические закономерности.

Общим для массовой и художественной коммуникации следует признать и то, что главенствующей для них является гедонистическая функция. Например, вряд ли зрителя, который садится к экрану телевизора, интересует переворот в Зимбабве как знание, как реализация информационной функции. Вероятно, это в определенной степени модельное проигрывание чувства страха в условиях комфортности, в которых расположен зритель. Перед ним проходят наводнения и перевороты, совершенно неопасные для него.

Человеческое общество заинтересовано в поддержании определенного уровня знаковости. Это дает возможность кодировать и сохранять в человеческой памяти важные варианты человеческого поведения. Наличие подобных вари-

антов делает жизнь последующих поколений более сложной, но и более богатой, поскольку резко усложняется именно виртуальный мир. Обладая практически теми же биологическими качествами, что и столетия назад, современный человек живет в гораздо более усложненном варианте виртуального мира.

Способствует этому и принципиальный переход к иному типу общества, который произошел с человечеством. Общества прошлого тяготели к закрытости, общества настоящего стремятся к открытости. Закрытые общества порождают более прогнозируемые решения, поэтому происходит постепенная ритуализация общества. Для них требовался определенный тип лидеров. Например, Л. Брежнев был бы плох для общества открытого, но идеален для общества закрытого.

Поскольку тип Хрущева был другим, ему пришлось уйти с политической сцены. Немецкий разведчик Маркус Вольф вспоминал: «В Америке Хрущев, наверное, стал бы сенатором. У Хрущева был абсолютный дар общения с людьми. В ГДР он был очень популярен даже тогда, когда его разлюбили в СССР. Помню, сопровождал его на Лейпцигскую ярмарку. Там был жуткий ветер, который унес конспект его выступления. Так Хрущев говорил без бумажки в пять раз дольше, чем предполагалось» («Известия», 2001, 17 июня).

Советский Союз был обществом закрытого типа, поэтому он проиграл соревнование с Соединенными Штатами Америки. При этом интересно, что в последние годы происходит строительство подобной «империи», но уже в чисто виртуальном пространстве. В русской литературе возникло «имперское сознание», что дает большие возможности именно семиотического порядка. Например, романы Хольма ван Зайчика, которые описывают виртуальную империю, за которой четко угадывается СССР. То есть *Советский Союз* — исторический трансформировался в *Советский Союз* — виртуальный, где часть объектов получила свое воплощение, а часть осталась вне его. И сегодня именно он стал источником вдохновения для ряда литературных произведений. Постепенно возникает нечто подобное культурному об-

разу Австро-Венгерской империи. В наших романах произошло определенное переосмысление. В самом Советском Союзе были значимыми одни характеристики, у его критиков — другие, теперь на авансцену вышли третьи. Именно они подчиняют себе сюжет, разворачивая его в нужную сторону. Например, империя — это бюрократия. В рамках настоящего Советского Союза она строилась как «подчиненная народу» (вспомним пропагандистскую трактовку депутатов как «слуг народа»). В модели диссидентов бюрократия была правящим классом, захватившим в свои руки власть. В романах ван Зайчика бюрократия возникает как «бюрократия с человеческим лицом», в числе которых находятся наиболее сильные профессионально и подготовленные граждане. В этом случае сосредоточение большей власти в их руках уже не является отрицательной чертой.

Чем большим количеством кодов обладает общество, тем более сложный виртуальный мир оно порождает. В критические периоды (война, революция) происходит кратковременное или долговременное уничтожение части кодов. Начинают функционировать не только избранные коды, но и разрешенные типы сообщений. В этот период общество более жестко наказывает за нарушение этих закономерностей. Но такие критические периоды скоротечны. В своей норме общество благосклонно относится к порождению новых кодов и новых текстов. Правда, часто оно спасается тем, что закрывается от реагирования на эту новизну, отнеся ее либо к компетентности только специалистов, либо выделив ее в закрытые сферы (например, отнеся ее к жизни «богемы»).

Семиотический компонент оказался очень существенным для функционирования общества на любой стадии его развития, поскольку в нем находят свое воплощение многие цивилизационные характеристики. Цивилизация полностью создана разнообразными семиотическими механизмами.

По характеру своего функционирования семиотические механизмы дают возможность потребителю совершать определенные энергоинформационные скачки. Материальная форма слова дает в результате его понимания бесконечно более богатую энергоинформационную структуру. Напри-

мер, несколько произведений А. Гайдара в закодированном виде дают практически все варианты развития советского общества в виде определенной аксиоматики. Причем А. Гайдар сделал этого до того, как процессы подобного рода были реализованы в стране во всей полноте.

«Чук и Гек» отражает тягу к захвату новых территорий, свойственную всем новым и активно развивающимся странам.

«Судьба барабанщика» — борьбу с врагами как основополагающую аксиому советского общества.

«Сказка о Мальчише-Кибальчише» — мобилизационную готовность советского народа в мирное и военное время.

Советская цивилизация очень серьезным образом эксплуатировала знаковый образ «врага», что вполне соответствует достаточно простым видам реакций обществ прошлого. Набор возможных действий «врага» вновь укладывается в простые нарративные схемы.

Нарратив, как способ организации опыта, пронизывает всечеловеческое существование. Вероятно, по этой причине Х. Олкер попытался применить нарративные структуры В. Проппа, созданные на материале волшебной сказки, к описанию событий мировой истории [217]. То есть перед нами более универсальный механизм, чем считалось до этого. Например, при подготовке документов ГКЧП использовался опыт латиноамериканских диктатур, зафиксированный в соответствующих разработках («Версия», 2001, 21-27 авг.). То есть нарратив латиноамериканский стал предметом изучения для переноса на нашу почву.

Семиотика выступает как определенный «структурный переводчик», «путеводитель по структурам», «взломщик кодов». Владение одним из кодов, понимание одной из структур дает возможность совершить то же самое с новой структурой, изучить новый код.

Вероятно, можно считать, что есть два вида форм: формы, направленные на процесс, и формы, направленные на результат. Примером первой является музыка или детектив, где важно находиться в процессе, наличие конечного результата уничтожает процессность. В результате возникает стремление удержать внимание без движения вперед. Именно поэтому возникает бесконечное разнообразие

форм. Утрированно можно считать, что это формы, ориентированные на начало, в отличие от форм, ориентированных на завершение.

Семиотика занимается конструкциями социальной памяти, это определенная социальная инженерия. Но они могут быть реализованы как в тексте, что более стандартно, так и запечатлеться просто в памяти. Миф в этом плане и становится одним из способов организации социальной памяти. Это нетекстовый тип, поскольку обычно текст следует из события, а миф, наоборот, сам порождает события, поскольку носитель данной картины мира все происходящее объясняет сквозь инструментарий памяти.

Событие \longrightarrow Текст

Миф \longrightarrow Событие

Миф реализуется в текстах, событиях, картинах, музыке и т.д. Число текстов стремится к бесконечности, число мифов ограничено.

Виртуальные миры очень значимы для человека, для функционирования общества и государства. Каждый может найти в них требуемое, в ряде случаев они могут компенсировать те или иные «огрехи» мира реального. Компенсаторная функция важна как для государства, так и для человека. Государство порождает сообщения для своих граждан, живописующие то, что они все идут верной дорогой. А отдельные искривления этой верной дороги могут компенсироваться с помощью индивидуального вхождения в эти виртуальные миры, создаваемые средствами телевидения, кино, фантастики, детектива. Как пишет Т. Толстая: «Вот читаешь, губами шевелишь, слова разбираешь, и вроде ты сразу в двух местах обретаешься: сам сидишь али лежишь ноги подогнувши, рукой в миске шарить, а сам другие миры видишь, далекие али вообще небывшие, а все равно как живые» [169, с. 219]. Человек живет частично в реальном, частично — в символическом мире. Вероятно, для каждого это соотношение будет разным.

СЕМИОТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ

Семиотическое противопоставлено естественному, поскольку является результатом выбора того или иного варианта, а не прямым продолжением ситуации. Например, если западный вариант построения эстетического характеризуется поиском эстетики симметрии, то восточный строится на эстетике асимметрии.

Семиотическое является принципиально публичной реализацией, где играет существенную роль наличие как адресата сообщения, так и наблюдателя. Семиотическое всегда является порождением общества и общественного. С одной стороны, на это выталкивают потребности коммуникации, исходя из которых следует определенным образом структурировать действительность, чтобы она была одной как для отправителя сообщений, так и для получателя их. С другой, общество в целом требует структуриации для облегчения процессов управления и понимания. Порядок отличается от хаоса именно его структуриацией, в результате которой уже можно говорить об определенной предсказуемости. Осмысленность — это предсказуемость. Я понимаю только тогда, когда могу предсказывать появление следующих элементов.

Семиотическое позволяет экономить ресурсы, кодируя социальный опыт в большом количестве виртуальных миров. Мир хочет учиться на чужих ошибках. Это ему позволяют сделать семиотические механизмы, которые в состоянии кодировать и создавать условия для раскодировки больших объемов информации. Возникает третье условие, подталкивающее мир в сторону все большей семиотизации — это облегчение условий хранения информации как в памяти индивидуальной, так и в памяти социальной. При этом мы постоянно вводим новые символизации. Так, «Лебединое озеро» после путча 1991 года отсылается не только в область культуры, но и в область политики.

Учитывая проблему интертекстуальности (т.е. взаимозависимости одного текста от других), можно говорить о семиотике как о механизме, позволяющем входить в иноструктуры (считывать с иноструктур). Семиотика наводит мостик в

виртуальный мир. Это определенные механизмы входа и выхода, переходов на более высокие уровни концентрации информации. И обратные переходы: от текста к действительности. Мы начинаем трактовать, например, поступки политических лиц с точки зрения мифологических представлений, в которые мы их вписываем. Выборы в этом случае выглядят как смена мифа: миф Ельцина должен был смениться мифом Путина. Если Ельцин стал восприниматься как Царь, то Путин стал чиновником. Если Ельцин, в соответствии с советской историей, переставал ходить сам, то Путин, наоборот, наглядно демонстрировал свои физические возможности (на татами, на корабле, в кабине истребителя, на горных лыжах). У Царя также бывает героическое прошлое, но только до того, как он воцарится. Как Царь Ельцин имел право на исключения, на фаворитов. То есть мы можем даже оправдывать определенные поступки реальных исторических фигур в зависимости от присвоения им определенных канонических поведений, зафиксированных в виртуальной плоскости. Самое удивительное заключается в том, что сами эти исторические фигуры ведут себя в соответствии с запрограммированностью этого уровня. Например, Ельцину нравилась неофициальная фиксация его как царя в кругу его сподвижников. Виртуальный мир, изучаемый семиотикой, имеет более существенное значение для мира реального, чем это кажется на первый взгляд.

Семиотическое может реализоваться как в самом знаке, так и в его контексте. Паблик рилейшнз, например, в отличие от рекламы, порождает положительные контексты, а не сами тексты. Или такой пример: М. Суслов не любил пьесы М. Шатрова за «неконтролируемые контексты» (передача «Старый телевизор», НТВ, 2001, 23 авг.). То есть практически чистый с точки зрения текст, к которому трудно придаться, все равно вызывал у зрителя не те реакции, которые хотелось бы, что, кстати, говорит и о М. Суслове как не о таком глупом догматике, каким мы представляем его сегодня. Это был умный догматик, результатом целенаправленной работы которого и был образ Советского Союза как сильного и, самое главное, понятного игрока на политической арене (и внутри страны, и за ее пределами).

Знак и система знаков

Знак объединяет в себе форму и содержание. Если форма тяготеет к единству, повторяемости, то в случае содержания мы имеем принципиальное стремление расширять области своего применения. К примеру, *горлышко (бутылки)* возникает в результате такой «экспансивной» политики содержания. Человек вынужден описывать мир меняющихся объектов с помощью сложившейся системы знаков. Поэтому динамика, которая не может быть применена на уровне формы, находит свое применение на уровне содержания.

В семиотике считается аксиоматическим такое положение, при котором знак не может существовать сам по себе, а только в системе. Минимальное количество знаковых состояний — два. Например, наличие или отсутствие цветка на подоконнике в «Семнадцати мгновениях весны», что должно было говорить о провале. Постоянное присутствие цветка или его постоянное отсутствие, т.е. система из одного знака, не смогло бы нести никакой коммуникативной функции. Таким образом, для функционирования необходима как минимум двоичная система знаков.

Знак и символ

Знак всегда функционирует в своем контексте, в окружении других знаков, символ может существовать и один. Отсюда следует, что знак всегда системен, нет системы, состоящей из одного знака. Символ же может существовать самостоятельно.

Символ «звезда» или «свастика» не имеет одноуровневых с ним единиц. Хотя мы можем сконструировать соответствующую знаковую систему из них. Например, та или иная комбинация звездочек на погонах русского офицера.

В определенные исторические периоды политическое пространство вдруг становится очень чувствительным к символам. В качестве примера можно привести неоднозначную реакцию на смену знамени и государственного

гимна во всех постсоветских республиках. Борьба за символику становится главнейшим стимулом политиков девяностых, чего не было в прибалтийских республиках, которые просто вернулись к старым вариантам символики.

В принципе, человечество более сильно реагирует на символы, чем это можно было бы предположить, исходя из принципиальной виртуальности подобного мира. Определенные виртуальные объекты начинают функционировать как гораздо более значимые, чем любые реальные объекты. Например, значимыми становятся номера телефонов, номера автомобилей, за обладание которыми бьются чиновники всех рангов.

Определенные исторические периоды выступают как эпохи создания символов, а определенные — как эпохи разрушения символов. Любые революционные варианты изменений связаны с изменением символов. Принципиально меняется базисный набор, например, революция 1917 г. привнесла «звезду» и новый канонизированный список фигур (Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин), смену флага, гимна, типажей героев.

Все страны прошли смену героев, вызванную доминантностью телеэкрана: от героев производства они перешли к героям досуга, потребления, которые более адекватны данному каналу коммуникации (Ч. Рисмен). В этом случае канал коммуникации продиктовывает тип содержания, который он более эффективно может передавать. В результате политики переняли актерскую манеру поведения, поскольку эффективность ее воздействия выше.

Визуальное и иконическое

Визуальное пространство мы будем трактовать как «сырое». На его базе возможно возникновение иконических знаков. Глядя в одно и то же визуальное пространство, носители разных кодов могут увидеть в нем разные типы знаков. Черный или белый, например, в качестве знака печали по умершим у разных народов. Или такой бесконечно

употребляемый пример, как противоположные типы выражения «да» и «нет» у русских и болгар.

В человеческой цивилизации визуальные знаки не получили того же уровня развития, той сложности, что и знаки вербальные. По этой причине визуальные знаки носят более универсальный характер, они в меньшей степени детерминированы тем или иным вариантом культуры. Они также условны, но степень условности в них меньше. Следовательно, для их понимания требуется владение кодами более общего порядка.

Визуальное пространство может воспринять разнообразные виды знаков и кодов. В нем могут размещаться скульптура, флаг, одежда и еда. Все они имеют обязательный визуальный компонент, поскольку в визуальном пространстве происходит их частичная или полная реализация.

Визуальное пространство может обладать иконическими знаками, а может быть свободно от них. Свободным оно также будет казаться тому, кто не владеет соответствующим иконическим кодом, поскольку он не сможет «прочитать» заложенного в это пространство сообщения.

Государства любят контроль над визуальным пространством не в меньшей степени, чем контроль над пространством вербальным. Если написать роман может каждый, то поставить памятник не так легко, поскольку:

а) сообщения в визуальном пространстве носят гораздо более долговременный характер,

б) на вербальные тексты выходят только те потребители, которые их запрашивают, а на подобные визуальные сообщения будет выходить гораздо более обширный круг потребителей.

Имидж

Имидж является принципиально знаковым сообщением, поскольку несет в себе только определенный объем заранее отобранных характеристик. Ограничения во времени, ресурсные ограничения требуют создания такого типа сообщения, которое бы носило наиболее эффективный характер. Эти ог-

раничения могут возникать из-за цели кампании, например, выборов, когда требуется за краткий период времени завоевать голоса наибольшего количества сторонников.

Имидж с точки зрения политтехнологов - это конструирование образа из знаковых составляющих. Это конструирование находится всецело в области семиотики. За каждой из подобных характеристик стоят нарративы, принятые в данном обществе для данного типа «героя». Уже способы дальнейшего продвижения этого образа к целевым аудиториям и выбор каналов коммуникации всецело принадлежит политтехнологии.

Сложность такого знакового конструирования образа состоит в том, что в данном случае используются не только знаки системного порядка, но и знаки, которые мы обозначим как досистемные. Наличие очков как признак интеллигентности может не являться системным признаком. Путин в самолете или на подводной лодке в предвыборный период также не являются системными признаками. Имея значение «хорошее здоровье», противопоставленное болезням Ельцина, это все равно разовые сообщения, не построенные на системной основе.

Имиджевые характеристики — *хозяин* или *рыцарь* — по сути своей являются «осколками» мифов, и в этом залог их эффективности. Они подключают к воздействию на потребителя уже проверенные веками типы историй.

Массовая коммуникация

Массовая коммуникация порождает столь же мифологические интерпретации действительности, как и художественная коммуникация. Это связано с тем, что массовая коммуникация осуществляет переход от случайного к типическому, а это тот же вариант организации действительности, который наблюдается при переходе к сюжету в литературе. Реальный порядок фактов может не удовлетворять требованиям художественной конструкции. Одна норма (художественная) становится важнее другой нормы (достоверности).

Массовая коммуникация мифологизирует окружающую действительность также и в следующем аспекте. Газета, новости на телевидении имеют ограниченный объем для размещения сообщений. Однако в мире происходят миллиарды событий, которые в результате должны превратиться в десяток новостей. Этот процесс выбора в основе своей мифологизирует действительность, поскольку мы начинаем руководствоваться уже имеющимся представлением об организации мира, под который мы подводим те или факты.

Вероятно, по этой причине особой популярностью среди новостей пользуются те, которые вольно или невольно направлены на изменение картины мира. Например, войны и военные действия, извержения вулканов или исчезновение самолетов.

История как наука также направлена на мифологизацию действительности, поскольку оставляет за бортом случайное, точнее то, что кажется случайным тому или иному исследователю.

Все это говорит о том, что есть определенная схема общей модели мира, которая начинает манифестироваться то в виде литературы, то в виде картины, то в виде теленовостей, и она ничем кардинальным не отличается от художественного варианта коммуникации. Новости подчеркивают специальными операторами свой принципиально реальный характер.

И новости, и миф совпадают в том, что оперируют предельными величинами. Маресьев как вариант советского мифа вполне совпадает с новостной подачей того же факта. Эксплуатация предельного позволяет очерчивать границы нормального, границы разрешенного. И новости, и миф фиксируют нарушения пределов, чтобы подтвердить их явное существование.

СООБЩЕНИЕ И ТЕКСТ

Мы живем в мире сообщений. Текст представляет собой более стандартизованный и отфильтрованный культурой или временем тип сообщения. Из-за этого одновременно

вырастает его длина, объем. Возникает тенденция к решению стратегических, а не тактических задач с помощью текста, а не сообщения.

Правда, семиотики любят приводить в качестве примера тексты, состоящие только из одного слова, например, надпись «Закрыто» на двери магазина. Главенствующей характеристикой текста при этом подходе служит чисто формальная отъединенность его от других текстов. С этим вполне можно поспорить, хотя бы потому, что главной характеристикой единицы становятся не ее внутренние особенности, а внешние, что менее интересно чисто методологически.

Если говорить о внутренних требованиях, то текст как более долговременный тип сообщения необходимо освобождать от характеристик случайного порядка, сохраняя в нем характеристики системного порядка. Рассмотрим в качестве примера иконический уровень.

Фотография Горбачева как сообщение могла иметь родимое пятно. Фотография как текст канонического порядка (для серии портретов членов Политбюро) уже не имела родимого пятна, признанного недостатком. Это внесение изменений в сообщение при превращении его в текст в случае портрета Горбачева активно делалось в первые годы его правления. Потом от них отказались, Горбачев стал появляться с «пятном», за что получил прозвище «меченого».

На фотографиях и портретах Сталина убиралась оспина с лица. Знаковость резко возрастает при переходе от неофициального к официальному коммуникативному пространству. Например, Ельцин в первом случае мог быть маркирован как пьющий, но это было невозможным во втором случае. Официальное пространство будет всеми возможными способами ограничивать нежелательную информацию, ускоряя обращение информации желательной.

Такое внимание к системности правительственных фотографий однажды привело к казусу. Во время одного официального визита оказалось, что встречающие члены Политбюро были в шляпах, а Косыгин — без, ему дорисовали шляпу. Но потом обнаружилось, что свою шляпу Косыгин держал в руке. В результате на фотографии у Косыгина появилось две шляпы: одна на голове, другая в руке.

Даже тип домашних фотографий (из-за этого явно понимаемого перехода в долговременность) меняют изображаемый объект: люди хотят одеться по-другому, причесаться, занять ту или иную позу. Они явно формируют текст, а не сообщение.

Текст в этом плане является стратегической коммуникацией, а не тактической. Для него становится менее значимым контекст восприятия, поскольку контекст приобретает универсальный характер. Однако, такое сообщение не направлено на восприятие в любом контексте.

Текст также должен обладать более сильной защищенностью (системой защиты), чем просто предупреждение от внесения возможных изменений, то ли при его передаче, то ли при его потреблении. Тексты можно учить наизусть, как, например, в школе. Собрания сочинений дают нам канонические тексты. Система редактуры освобождает текст от случайных компонентов. Например, данный тип культуры считает повторы слов недостатком, следовательно, редактора текста будет избавлять от них текст. В сообщении (например, в телефонном разговоре) не будет редактора, который сможет произвести эту операцию. Следовательно, для обслуживания текстов существуют определенные профессии, определенное количество людей работает над их защитой от любых хаотических или непредвиденных изменений.

Репетиции спектакля направлены на создание текста, который выходит на большой объем зрителей. Текст, в отличие от сообщения, предназначен для большего числа читателей/зрителей.

Сообщение в особых контекстах может начать функционировать как текст. Например, переговоры пилота советского самолета Г. Осиповича, который сбил южнокорейский лайнер, заслушивались в ООН. То есть сообщение попало в сферу функционирования текста. Но для этого его все равно предварительно подчищали американские спецслужбы, чтобы убрать оттуда отсылки на то, что пилот не может понять, какой это тип самолета.

Официальная биография человека также перечисляет только канонические (нужные) факты, она выступает в роли текста. Воспоминания друзей детства дают как бы сообще-

ние, раскрывая неканонические типы поступков. Эта информация возможна уже только постфактум, например, рассказ о том, что Ландау приводил домой любовниц, а его жена наблюдала за всем, спрятавшись в шкафу. Нечто подобное было и у Хармса: придя домой, жена должна была стучаться, а ее иногда просили прийти через пятнадцать минут.

Сообщение не рассчитано на хранение, текст же принципиально сориентирован на хранение, следовательно, на многократное размножение. Он не существует в единственном числе, а живет во множестве копий.

Сообщение из-за узкого круга потребителей, контекстного функционирования обладает большей однозначностью. Текст из-за противоположных ориентаций может иметь многозначное прочтение.

В этом плане гадание, например, моделируется гадалкой как сообщение (то есть как индивидуально созданный информационный продукт), хотя на самом деле является текстом (то есть универсальным информационным продуктом).

Текст в отличие от сообщения прошел процедуру анонимизации получателя информации. Именно по этой причине он может употребляться в разных контекстах, а также подвергаться процессу размножения в требуемом количестве экземпляров.

При переходе от сообщения к тексту имеет место уничтожение всех случайных характеристик, например, повторы, хезитация, то есть системность его увеличивается как на содержательном, так и на чисто формальном уровне. Вот это увеличение системности и делает его самодостаточным. Он может функционировать сам по себе. Возникает проблема границ, отчлененности данного текста от других.

Не менее значимой становится проблема идентичности исходного текста. Вспомним, что книгопечатание возникает в Европе как попытка сохранить в неизменности текст Библии, поскольку переписчики не только содействовали размножению и последующей трансляции текста, но и были причиной появления отклонений. Существуют сакральные тексты, толкование которых общество доверяет только избранным лицам.

Тексты отражают суть соответствующей цивилизации и ее отличия от других цивилизаций. Сталин собственноручно правил «Историю ВКП(б)», вводя в канонический текст описание своей выдающейся роли. И это было подлинно художественным произведением, поскольку в нем следовало убрать ряд фамилий, которые действительно были главными действующими лицами в тех ситуациях, в которые затем вписывалась фамилия Сталина. Мир письменный/печатный всегда более правильный, чем мир устный, поскольку он направлен на большое число прочтений. Соответственно, в человеческой цивилизации всегда действует следующее правило: увеличение числа потребителей текста создает более обобщенное повествование.

Чем выше поднимается человек по иерархической лестнице, тем ограниченнее становится его общение с миром случайностей, с миром простых людей. Он все больше слушает и читает то, что ему специально готовят, т.е. растет знаковость получаемой им информации. Он все больше живет в мире текстов, а не сообщений. От реальных контекстов он смещается в область контекстов информационных, которые в основе своей всегда будут носить знаковый характер. Даже наше восхищение природой (вроде бы реальный контекст) может опираться на чисто знаковые представления, что такое хорошо и что такое плохо. Например, березка как признак родной природы.

Общество может быть сориентировано на тексты, и мы будем иметь более консервативный вариант его развития, или на сообщения — и в результате перед нами будет более динамичный вариант развития. Тоталитарное общество принципиально текстовое: оно живет в рамках существования одного главного Текста, который задает все возможные варианты ответов. В этом отношении общества прошлого были более запрограммированы: их сообщения вытекают из одного Текста. Современные общества разрешают «параллельное» существование ряда текстов и ряда сообщений. Для управления такими обществами требуются более сложные схемы.

ЗНАК И ТЕКСТ

Семиотика вырастает из анализа языка как знаковой системы, что накладывает определенные ограничения на ее инструментарий. Фердинанд де Соссюр считал, что семиотика включает в себя в качестве составной части и лингвистику, занимающуюся знаками естественного языка. Однако то, что характерно для анализа языков подобного типа, слабо переносится на языки другого типа (языки кино, театра, живописи и другие языки в рамках художественной коммуникации).

В случае соссюровской семиотики (о Фердинанде де Соссюре см. дальше) базовым является Язык, а тексты, основанные на нем, являются вторичными, вытекающими из наличия языка, данного заранее.

Базисный — Язык, вторичные — Тексты.

В случае языков искусства мы имеем совершенно иное соотношение:

Базисный — Текст, вторичный — Язык.

Писатель, художник не занимаются «строительством» языка, они заняты текстом, который носит характер сообщения. Писатели и художники, создавая текст-сообщение, не обязаны одновременно создавать язык, выделять знаки в целях облегчения понимания со стороны получателя этого сообщения.

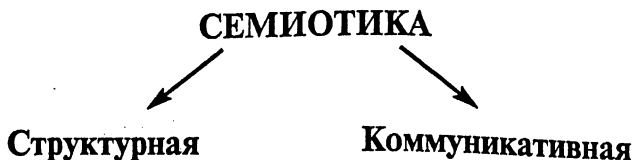
При базисности языка мы имеем четкий набор знаков, при базисности текстов знаки перестают быть четко ограниченными друг от друга, исчезает также жесткая зависимость между формой и содержанием. Знаки как элементарные единицы с обязательным порядком употребления носят в достаточной степени условный характер. Их свойства носят более структурный, чем текстовый характер. Образуются как бы два типа знаков. В случае языковых знаков мы имеем:

- четкий список,
- четкие границы,
- жесткую связь между формой и значением.

В случае текстовых знаков все эти параметры принимают нечеткий характер зависимости. При этом в случае художественной коммуникации, как оказалось, эти «отрицательные» с точки зрения естественного языка характеристики начинают играть на пользу данному типу сообщения, что связано с заинтересованностью в определенном уровне неоднозначности для получения оптимального типа функционирования.

Можно предположить две причины, почему мы все же ищем подобные знаковые образования даже там, где их нет. С одной стороны, это может быть естественный процесс декодирования сообщения, к которому мы уже привыкли, оперируя с естественными языками. По аналогии, мы и пытаемся выделить элементарные единицы — знаки. Мы переносим свой опыт понимания сообщения на новый материал, хотя в реальности он может быть построен совершенно по-иному. С другой стороны, таковыми могут быть наши представления об осмысленности, упорядоченности любых объектов, включая и текстовые. Мы ищем в новых объектах те же структуры упорядоченности, которые есть в наиболее структурированных объектах. В любом случае мы вписываем эту упорядоченность в материал, даже если она не характерна для этого типа материала. Но таковы требования нашего типа обработки информации.

В сосюрговской концепции имеет место **примат структуры**, поскольку знак интересен своей системностью, возможностью с помощью различных законов его сочетания получать все новые и новые тексты. В постструктуралистской концепции имеем **примат коммуникативности**. В утрированном случае мы вообще можем не иметь знака, а только одно-единственное сообщение, которое неразложимо на составные единицы. Подобный взгляд в принципе невозможен в рамках сосюрговской концепции. В результате мы получаем структурную семиотику и коммуникативную семиотику.



Исходя из логики, мы можем представить следующие варианты активности и важности Знака и Текста в разных возможных системах:

Вариант А

Знак — 0,

Текст — 1,

Это тяготение к беззнаковости характерно для языков искусств, поскольку нет необходимости переносить систему знаков от одного произведения к другому.

Вариант Б

Знак — 0,

Текст — 0,

Это полностью беззнаковая действительность, поскольку в ней нет даже текстов.

Вариант В

Знак — 1,

Текст — 1,

Это самый стандартный вариант естественного языка, когда существование текстов обеспечивается существованием знаков.

Вариант Г

Знак — 1,

Текст — 0.

Наличие знаков и отсутствие текстов с определенной нагрузкой можно отнести к орнаментам. Есть тексты, есть элементарные единицы, но утеряно суммарное их значение, хотя отдельное значение элемента может быть понято. Нет текстового значения, хотя есть знаковое. Текстового

значения и не может быть в принципе, поскольку орнамент состоит в бесконечном повторе одного и того же элемента.

Знаки также возникают там, где происходит переход от системы диалога к монологу. Искусство — монологично, оно позволяет строить длинные тексты вне вмешательства потребителя информации. Жизнь — диалогична. Л. Щерба удивлялся, записывая бытовые разговоры в дореволюционное время, что там вообще не было монологов. В речи людей присутствовал только диалог. Монолог — искусственная система, где происходит блокирование вмешательства зрителя. Ср., к примеру, театр, где невозможен выход зрителя на сцену. Все классическое искусство строится на подобного рода блокировке, в то время как искусство ранних этапов стимулировало приобщение зрителя. Ю. Лотман в этом плане сравнивал игрушку ребенка и статую в музее. Первую можно мять, ломать, ко второй — даже нельзя прикоснуться.

Монологический текст начинает обладать большей структурностью, давлением всего объема на отдельную его часть, что и способствует выработке системы. Монологический текст следует удерживать в памяти в процессе его развертывания, что также способствует созданию единиц, помогающих в этом. Аналогично можно сравнить структурные элементы текста, передаваемого по устному каналу, с текстом, передаваемым с помощью письменности. В монологическом тексте с неизбежностью будет возникать своя знаковая система.

Мы наблюдаем порождение все новых и новых текстов, используемые при этом знаки остаются старыми. Тексты стремятся к бесконечности, знаки принадлежат к конечному списку.

СКАЗКА О ЗОЛУШКЕ И МОДЕЛИ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА

Тексты должны быть не просто адекватны аудитории, но и нести в себе наиболее эффективные модели воздействия. Сказки несут именно такие модели, которые, к тому же,

проверены веками. В них все лишнее, неработающее уже давно было стерто из памяти, осталось только то, что имеет беспрюирышный эффект. Поколение за поколением впервые прикасаются к этим текстам, созданным неизвестно когда и неизвестно кем.

Сегодняшние киноверсии воздействия также проверяются на современниках. Женский вариант воздействия основан на мелодраме, что реализуется в разного рода «мыльных операх». Мужской вариант воздействия реализуется в вестернах, где есть ритмика поединка, в рамках которых герой проигрывает все битвы, кроме последней.

Сюжет мелодрамы строится на бесконечном поиске пропавших детей, возлюбленных, братьев-сестер и т.д. Достаточно часто, к примеру, дочь оказывается не дочерью или наоборот, незнакомка оказывается дочерью и т.д. В мелодраме разорваны социальные связи, которые затем в процессе развития сюжета соединяются. Влюбленные, родственники собираются воедино. Баланс восстановлен. Справедливость также торжествует. По непонятной причине все это представляет интерес для зрителя, которому, вероятно, не хватает именно этих «социальных витаминов». Именно такой текст обладает для нас завершенностью, а не текст, где торжествующий злодей, убив всех добрых людей, будет хохотать с экрана.

«Грамматика» рекламы

Реклама объекта практически не повествует о самом этом объекте, а стремится уйти на иной уровень повествования. Таких уровней мы можем выделить три: *физический, социальный, символический*. Сам по себе реальный объект с его свойствами вполне мог бы быть описан на уровне физическом. Но этого оказывается недостаточно для эффективного воздействия, поскольку объекты на уровне физического мира очень близки. Все стиральные порошки, все жевательные резинки слабо различимы между собой: они скорее подобны, чем различны. Поэтому возникает потребность в «переводе» характеристик объекта на другие уров-

ни: социальный или символический. Именно они смогут задать достаточную дифференциацию, нужную для вхождения объекта в массовое и индивидуальное сознание.

Символический уровень опирается на констатацию, заданную либо уровнем физическим, либо уровнем социальным, точнее манифестируемым, или, наоборот, продиктованную из уровня символического в иной.

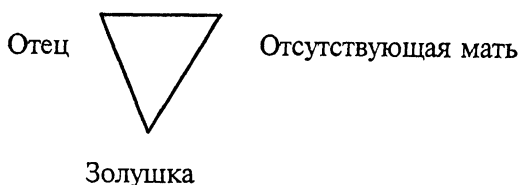


Когда реклама жевательной резинки акцентирует возможность познакомиться, то она «работает» на социальном уровне. Но из объектов социального уровня она отбирает те, которые обозначены как более значимые на уровне символическом. Жевательная резинка практически не рассматривается на физическом уровне, ее все время переводят на уровень социального порядка. Когда повествуется о карьере, то акцентируется белоснежная белизна зубов, что сразу несет символический или социальный оттенок. Когда рассказывается об отсутствии сахара, то имеется в виду не физическое содержание, а уровень символического порядка, в котором в качестве аксиоматики записана борьба с лишним весом. «Негативная» характеристика присущая одному обществу может не быть таковой в другом. Или они могут иметь различные приоритеты, даже одновременно являясь и там, и тут позитивными или негативными.

«Грамматика» Золушки

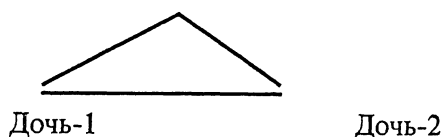
В структуре Золушки соседствуют три отдельные подструктуры, которые мы можем отобразить в следующем виде:

Структура 1

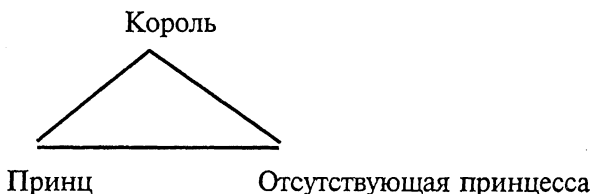


Структура 2

Мать (= Мачеха для *Структуры 2*)



Структура 3



В этих структурах незаполненными остаются две ниши: матери Золушки и жены Принца. Первую из них заполняет Мачеха (и это происходит до начала развития сюжета), действие сказки выталкивает Золушку во вторую свободную нишу.

Это структуры физического и социального порядка. Сюжет Золушки реализуется в символическом порядке, когда дисбаланс на уровне социальном компенсируется на уровне символическом.

Образуется антагонизм на уровне однотипных объектов: Золушка и дочери, которые стремятся занять одну и ту же нишу — любви Мачехи и любви Принца. Если в пер-

вом соревновании Золушка проигрывает, то во втором — выигрывает.

Отсутствующая структура, занимаемая матерью Золушки, занята матерью-2, которая действует в качестве Мачехи, что определяет ее отрицательное отношение к Золушке. Социальные роли здесь сильнее реалий: как бы Золушка ни была хороша и правильна, она все равно будет отрицательной для Мачехи. Более того, чем правильнее Золушка, тем большую ненависть она будет вызывать. В этом сочетании не предусмотрена возможность для иного поведения, иных реакций.

Сюжет автоматически переносит конфликтную ситуацию из состояния внутри семьи — вовне, когда начинается борьба за внимание Принца. Противопоставленные в рамках семьи «команды» начинают соревнование за обладание «ограниченным ресурсом» — Принцем. Это как бы подготовительная ситуация, когда все участники вроде бы имеют равные права на обладание данным ресурсом. Но для зрителя/читателя все уже должно быть ясно. Он уже давно идентифицировал себя именно с Золушкой.

Конечной подструктурой является появление Золушки в роли Принцессы, совершаемое переименование будет последним в данной сказке, где каждый герой обладает несколькими «именами»: Мать — Мачеха, Король — Отец сына, Отец Золушки — Муж Мачехи, Золушка как дочь — Золушка как принцесса. Все это говорит о наложении друг на друга нескольких социальных систем, нескольких структур.

Поскольку движение сюжета происходит в символической плоскости, то совершить это движение может только «волшебный механизм» — появление Волшебницы, которая преображает Золушку с единственным ограничением во времени — волшебство будет действовать только до двенадцати часов.

Волшебница помогает Золушке совершить переход из одного пространства в другое. Без нее это Пространство-2 было бы полностью недоступным для Золушки. Разные пространства требуют разных типажей: Золушка получает право на иное существование только на ограниченное время. Золушка с большим трудом переходит из одного прос-

транства в другое, хотя другие герои могут сделать это гораздо легче.

Пространство-2 охраняется. Проникнуть туда можно только приняв иной облик. В случае обратного перехода Золушка вновь трансформируется. Принц не может найти Золушку потому, что обладает знанием ее лишь в рамках Пространства2. Поиск ее в Пространстве-1 становится практически невозможным. Характерно, что Принц не трансформируется при переходах между этими пространствами, сохраняя единый облик.

Золушка отправляется на бал отнюдь не ради замужества. Результирующая свадьба не является для нас чем-то неожиданным, мы готовы к такому решению, поскольку постоянно получаем информацию, что Золушка — хорошая. В результате она смещается в новую нишу. И на этом сюжет исчерпан. Мы не видим его дальнейшего развития: Золушка — старуха, Золушка — пьяница и наркоманка, Золушка убивает свою мачеху. Это была бы другая Золушка. Наша привычная Золушка лишена возможности совершать плохие поступки, которые в этой структуре фиксируются только на Мачехе и ее дочерях. Золушка отождествляется с добротой, за что и вознаграждается.

Положительный герой + Отрицательные обстоятельства жизни = Вознаграждение (Положительные обстоятельства жизни)

Соответственно, отрицательный герой не должен ничего получить. В его случае механизм компенсации не работает. Хотя нет, он работает в негативном направлении. Он может, например, погибнуть. Отрицательные черты положительного героя носят временный характер, они подлежат исправлению.

Отрицательный герой может роскошествовать, предаваться любым утехам, но его все равно настигает кара. Его блаженство принципиально кратковременно: пока длится фильм или слушается сказка. Его формула жизни иная:

Отрицательный герой + Положительные обстоятельства жизни = Отрицательные последствия.

Миллионер в кино как и «новый русский» в анекдоте должны компенсироваться в массовом сознании достаточ-

ной долей отрицательности. У миллионера личная жизнь не будет складываться, у «нового русского» при всем его богатстве ограниченный ум. Зритель/слушатель оказывается при этом в более комфортном состоянии, чем герой повествования.

Еще одним сюжетным ходом (промежуточным) становится возврат Золушки в нормальный мир, без помощи сказочного механизма Волшебницы. Однако по непонятной для сегодняшнего прочтения причине в нормальном мире все равно сохраняется хрустальный башмачок («хрустальный», кстати, только в переводе, в оригинале башмачок сделан из другого материала, особого типа кожи). Принц с нашей современной точки зрения обладает необъяснимой «слепотой», поскольку ищет Золушку лишь по размеру обуви. Это взгляд обувщика, а не принца.

Исчезновение и последующее нахождение Золушки очень похоже на мелодраматические приключения в «мыльных» сериалах, где братья, к примеру, не узнают друг друга до последней серии. Это более сложная структура, чем та, к которой мы привыкли в жизни. Существует жизнь-1 и жизнь-2, но на самом деле герои в том и другом случае связаны. Необходима третья структура, где закодирована связывающая эти жизни информация. И заключительная серия сериала должна совместить жизнь-1 и жизнь-2 в соответствии с этой структурой.

Рекламный текст также выступает в роли такой третьей структуры, призванной совместить жизнь виртуальную и жизнь реальную. Понятно, что хорошего пива должно быть много. Но попробуйте сделать из этого художественную коммуникацию. Ведь ее отличает принципиальная оторванность от жизни. В этом заключается суть рекламы, в рамках которой практическая приземленность на конкретику товара, то есть объекта реального мира, сосуществует с одновременной оторванностью от жизни, связанной с переходом в художественную коммуникацию, где герои и объекты обезличены.

В советское время западная реклама заменяла реальную жизнь в плане познания чужой действительности. В голове у советского человека складывался виртуальный образ За-

пада. Реклама была тем хрустальным башмачком, который позволял зрителю путешествовать по другим мирам, как, кстати, и все другие тексты массовой культуры (бестселлеры, детективы или кино). Холодная война была проиграна именно в этом виртуальном пространстве, а не в области идеологии или в сфере реального соперничества. Холодную войну выиграла именно реклама. Рекламисты, а не солдаты, принесли победу своей стране.

Сражение происходило в искусно построенном виртуальном мире, где у каждого есть свой Мерседес или замок на берегу моря. Желание попасть туда невозможно было сдерживать никакой идеологией. И пули в этом сражении были отпечатаны на глянцевой бумаге, а не отлиты из свинца.

Холодная война создавала в головах советских людей модель Золушки, ожидавшей своего Принца. Все были объявлены Золушками и согласились с этой идентификацией. Кстати, западный мир был более насыщен разнообразными виртуальными объектами. При этом его аксиоматика была более направлена на человека, чем на общество. Если советская героиня строилась на гибели ради государства (например, Зоя Космодемьянская), то западная киногероиня позволяла героям становиться миллионерами из чистильщиков обуви, т.е. вариант Золушки был аксиоматичен и обязателен.

Золушка как модель рекламного текста

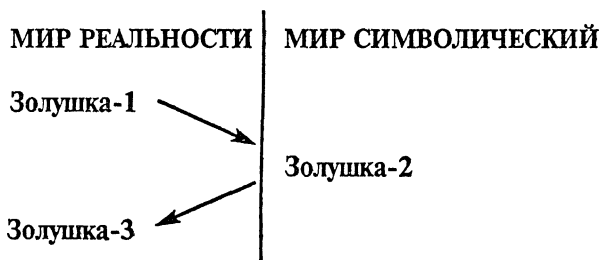
Рекламный текст одновременно является текстом с незаполненной нишей, куда должен, по замыслу создателей, попадать потребитель этой информации. К этому его подталкивают с помощью рекламируемого объекта. Пиво, например, как объект рекламы, акцентирует не вкусовые качества, а социальные аспекты — «Надо чаще встречаться».

Рекламный текст обладает двойственной природой: он формулируется в рамках виртуального поля, но моделирует (программирует) поведение потребителя в рамках поля реального. В рамках виртуального поля разрешены любые отклонения от реальности, что приводит, например, к появлению гномиков в рекламе шоколада.

Л. Пумпянский, входивший в юности в один круг людей с М. Бахтиным, в докладе 1919 года назвал поле, где протекает действие «Ревизора» Гоголя, релятивистским, т.е. недостаточно обоснованным [150]. Именно поэтому в подобном поле и возможен комизм: например, Арлекин дает Пьеро пощечину, и все смеются. Аналогичную сцену мы наблюдаем и в цирке: клоун бьет бревном другого клоуна — смех в зале. Трагедия же реализуется только в полностью обоснованном поле, в которое включается также и жизнь. В этом случае те же действия вызывают другие реакции у зрителей: пощечина получает уже не комическую интерпретацию, а трагическую.

Реклама также является релятивистским текстом, она имеет право на отклонение от реальности и активно им пользуется. В результате возникает серьезная множественность виртуальных миров, которые слабо пересекаются друг с другом.

Можно сказать, что Золушка испытывает искушение в ином мире, символическом, рекламном. Она возвращается из него уже другим человеком. В результате перед нами возникают даже три Золушки: Золушка-1 — до попадания в другой мир, Золушка-2 — попавшая в другой мир, Золушка-3 — вернувшаяся из другого мира. Это три разных человека, ситуативным образом совместившиеся в одном.



Вернувшаяся Золушка уже принципиально другая: она усвоила иную модель мира, в соответствии с которой собирается жить. Ее не только ищет, но и манит тот мир. Получив оттуда сообщение, Золушка стала заложницей того мира.

Любая отсылка на другой, символический, мир делает структуры реального мира иными. Например, символичес-

кую реинтерпретация: «Москва — третий Рим», позволяет те или иные характеристики общества оценивать исходя из иных систем ценностей. Петр Первый насильственно вталкивает набор западных ценностей в патриархальное общество. Сообщение «Землю — крестьянам. Фабрики — рабочим» (т.е. иная модель мира) позволило осуществить революцию 1917 года.

Джулия Робертс играет современную Золушку в фильме «Красотка» («Pretty woman»), где героиня осуществляет также осуществляет «иерархический прорыв» из одного социального слоя в другой. Множество фильмов советского времени также строились на значимости переходов между разными социальными стратами.

Реклама переводит потребителя в иной мир, где ему явно будет комфортнее. Этот мир более насыщен символизмом, чем его собственный. В этом мире его любят сильнее, чем в его собственном. В этом мире о нем заботятся.

Реклама является очень серьезным инструментариумом по трансформации реального мира. Реклама позволяет увидеть *великое* в малом, символическое в обыденном. В результате мы начинаем жить в мире «трансформеров». Плохой этот мир или хороший — проблема этическая, но этот мир другой, и, следовательно, требует иных оценок.

Советская и постсоветская реклама слабо коррелируют с действительностью. Большинство наших потребителей в случае рекламы определенно находятся в виртуальном мире: товары в нем и товары дома слабо коррелируют друг с другом. «Погода в доме» не всегда совпадает с погодой на экране... Но в любом случае это красивый, яркий, принципиально символический мир. Это мир для Золушки.

«ГРАММАТИКИ» ХАРМСА, «ГОЛЕМА» МАЙРИНКА И РЕКЛАМЫ

Новые приемы коммуникации, к которым мы приходим при решении прикладных задач рекламы или публичных рилейшнз, часто являются отголоском ранее уже использованных в истории. Например, технология слухов, которой

так гордятся специалисты по избирательным технологиям, применялась еще во времена Чингисхана. Американские партийные съезды являются бесконечно дрящимся театральным представлением, истоки которого уходят в массовые акции времен фашизма, обогащенным миссионерскими проповедями перед тысячными аудиториями.

Рекламу отличает творческий характер, в ней строится вариант мира, который лишь частично пересекается с реальностью. Поэтому для нее должны быть интересны все возможные пути построения воображаемых миров: от жрецов фараонов и костров инквизиции до пропагандистов войны в Персидском заливе и Чечне. Везде и всюду строители воображаемых миров идут впереди строителей миров реальных.

Биографическое

Хармс не только текстово, но и в бытовом плане обладает большим объемом собственного нестандартного поведения, что, вероятно, было особенно странным в условиях принудительной унификации в советское время. Хармс, возможно, неосознанно защищает себя от соприкосновений с этим правильным вариантом жизни. Ведя себя неправильно, можно более спокойно писать неправильные тексты, не опасаясь внутреннего раздвоения.

Весь период его жизни был сложным в том плане, что в это время усиленно порождались нормы монологического типа: в первоначально диалогической среде постепенно были уничтожены альтернативные коммуникативные центры оппозиции, Троцкий изгнан за пределы страны, активно заработал репрессивный аппарат, уничтожавший все проявления самобытного мнения. Все постепенно приспособились жить по единым часам, по единой модели мира, говорить и слушать единственно правильные слова. Возник канонический набор текстов (Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин), все остальное должно было служить иллюстрацией высказанных в них мнений.

Государственный аппарат принялся контролировать не только официальную, но и неофициальную коммуникатив-

ную среду. Бытовые разговоры также стали представлять опасность. В. Каверин метафорически написал о дыме, который поднимался от уничтожавшихся в тот период дневников и прочих документов прошлого. Более безопасным стало поведение не только без прошлого, но и без настоящего, поскольку в нем можно было увидеть множество отрицательных примет. Вся систематика пропаганды была всегда направлена в будущее: «здесь будет город-сад», в то, что не подлежало никакой проверки в настоящем.

Сам Хармс несет в себе ряд отклонений поведенческого характера:

А) Он по-особому одевается (гольфы, гетры, трубка): «Никто такую одежду не носил, а он всегда ходил в таком виде. Непременно с большой длинной трубкой во рту. Он и на ходу курил. В руке — палка. На пальце большое кольцо с камнем, сибирский камень, по-моему, желтый» [55, с. 51—52].

Б) Он не реагирует на тенденции поведения, которые особенно явственны в кризисные периоды, заставляя всех действовать по одному шаблону. Например, несмотря на всеобщий патриотизм, мобилизация вызывает у него такой приступ тревоги, что он бросается к врачам, проходит через освидетельствование психиатров и получает освобождение.

В) Он совершает поступки, которые вообще немыслимы в современном бюрократическом мире. По воспоминаниям Е. Шварца, он дописал в своем паспорте к фамилии Ювачев и свой псевдоним Хармс [212].

Но давление внешнего мира все равно сохраняется: от него трудно укрыться даже на необитаемом острове. Хармсу приходится допускать в свое поведение ненужные элементы, несистемные с его точки зрения. Среди них:

А) Он ненавидит детей, и вынужден заниматься детской литературой.

Б) По мнению жены он укоренен в немецкую культуру, однако порождает тексты культуры русской.

В) У Хармса полностью отсутствует храбрость, что заставляло его, например, провожая женщину и завидя впереди пьяных, под разными предложениями тянуть ее назад или сворачивать в переулки, чтобы продемонстрировать архитектурные особенности домов.

Эти несовпадения и будут создавать то внутреннее напряжение в текстах.

Жена дает ему такую обобщающую характеристику:

«Я думаю, что не совсем неправы те, кто говорит, что у него была маска чудака. Скорей всего его поведение действительно определялось избранной им маской, но я бы сказала, очень естественной, к которой уже привыкаешь» [55, с. 75—76].

Аналогично характеризует Хармса в своих воспоминаниях Алиса Порет:

«Я не сразу поняла, что это за человек. Он был совершенно необычайным, не похожим ни на кого ни разговором, ни поведением, — человеком неповторимым.

Казалось, он весь состоял из шуток. Сейчас я понимаю, что иначе он и не представлял себе своего существования. Чуждость было ему свойственно и необходимо» [142, с. 348].

Это внешнеориентированная коммуникация. Но внутреннеориентированная (для себя) выдает резкое усложнение мира, создаваемое самим Хармсом. Он был страшно суверен, реагировал на все приметы. Комната была полна чертиков, эмблем, символов. Все это говорит о том, что легкость и шутки не отражают того, что он реально жил в очень сложном, даже усложненном и опасном мире. Он видел его именно таким и должен был соответственно реагировать на него.

Сумасшедший дом также обладал для Хармса весьма реальным существованием: в критические моменты он его постоянно спасает. Он спас его от войны, потом он спасает его от НКВД. То есть утрируя, можно сказать, что даже «сумасшедший дом» является для Хармса чем-то вполне положительным, по крайней мере, менее страшным, чем некоторые явления реального мира, в котором мы все обитаем.

Грамматика случайного

Хармс создает тексты, построенные на гиперболизации случайного. У него случайный тип события (в нашем понимании сообщение, а не текст) начинает задаваться как настоящий текст. Пропорциям сообщения придаются пропорции текстового функционирования.

Содержательно (сюжетно) текст в отличие от сообщения повествует о *победителе* (независимо от того, что перед нами — соцреализм, западный вестерн или детектив). Сообщение не имеет подобного требования. По этому параметру сообщение маркировано нулем.

Хармс делает из аномального события норму. Однако когда он пытается строить на этой новой норме сюжетный текст, то начинает быстро исчерпываться, поскольку на единичном нарушении нормы нельзя выстроить развитие сюжета.

Наиболее яркий пример «Вываливающиеся старухи»:

«Одна старуха от чрезмерного любопытства вывалилась из окна, упала и разбилась.

Из окна высунулась другая старуха и стала смотреть вниз на разбившуюся, но от чрезмерного любопытства тоже вывалилась из окна, упала и разбилась.

Потом из окна вывалилась третья старуха, потом четвертая, потом пятая.

Когда вывалилась шестая старуха, мне надосло смотреть на них, и я пошел на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль» [191, с. 309—310].

Обратим внимание, что вываливаются старухи, а не старушки, поскольку они также входят в число нелюбимых объектов для Хармса.

Мир Хармса как мир случайных событий построен на «мягких» структурах бытия. В то время, когда вокруг нас государственная машина, СМИ, другие писатели порождают мир «жестких» событий. Условный пример: если бы Хармс написал о землетрясении («жестком» событии), то и в нем он нашел бы набор «мягких» (менее вероятных) событий или интерпретаций событий. Реальный пример: в качестве меры (измерителя мира) Хармс предлагает *саблю* [191, с. 283—284].

Перед нами разворачивается активное порождение альтернативной модели мира, настолько отличающейся, что можно говорить о введении инономы. Нормальное, обыденное, с точки зрения Хармса, является абсолютно ненормальным с точки зрения читателя.

Юродивый также реализует инонорму. Своим поведением юродивый иллюстрирует невозможность нарушения нормы, поскольку у него своя собственная грамматика поведения. Наличие чужой грамматики поведения более ярко выпячивает собственную.

Однако и типичный текст соцреализма также реализовал инонорму, которую в пропагандистских целях пытались сделать обязательным правилом. Например, «Повесть о настоящем человеке» или «Как закалялась сталь». Они представляют одновременно набор поступков, которые выходят за пределы нормы. Разница с Хармсом состоит в следующем:

А) Соцреализм пытался сделать эти поступки обязательными, у Хармса нет цели введения своих поступков в жизнь.

Б) Событийное поле Хармса принципиально бытовое, а не героическое. События Хармса и соцреализма черпаются из разных наборов (алфавитов) событий.

Гоголь и Чехов также могли случайный поступок (чихание на вышестоящего) делать знаковым. Они также переводили случайное в системное. Но далее текст развертывался в чисто реальном событийном поле. Можно сказать, что Гоголь и Чехов занимались переводом ирреального в реальное, Хармс же, наоборот, *реальное переводил в ирреальное*.

Роман Х. Мураками «Охота на овец» также строится на стыке реального/ирреального: герой временами переходит из одного поля событий в другое. Но здесь из случайного строится свой отдельный мир, насыщенный событиями и оправданный этим случайным в своей новопостроенной системе. Законченный вариант такого функционирования представляет Ф. Кафка. Он разбивает мир на вполне реальные подструктуры, но затем собирает из них новую структуру, наподобие детского конструктора. Читатель узнает отдельные фрагменты, но в целом собранный мир явно иной.

Текст Хармса строится на введении определенной структурной ошибки. Перед нами структура с нарушением. Затем эта асистемная структура эстетизируется, получая тем самым право на самостоятельное существование, на тиражирование или пересказывание. По типу окружающего ее контекста мы относим данный текст не к «запискам сумасшедшего», а к художественной коммуникации, где также

есть право на нарушение. Эстетизация ошибки схожа с *остранением* В. Шкловского.

Стандартное событие также может служить материалом для текста Хармса:

«В одном городе, но я не скажу в каком, жил человек, звали его Фома Петрович Пепермалдеев. Роста он был обыкновенного, одевался просто и незаметно, большей частью ходил в серой толстовке и темно-синих брюках, на носу носил круглые металлические очки, волосы зачесывал на пробор, усы и бороду брил и вообще был человеком совершенно незаметным.

Я даже не знаю, чем он занимался: то ли служил где-то на почте, то ли работал кем то на лесопильном заводе. Знаю только, что каждый день он возвращался домой в половине шестого и ложился на диван отдохнуть и поспать часок. Потом вставал, кипятил в электрическом чайнике воду и садился пить чай с пшеничным хлебцем» [191, с. 58].

Только контекст Хармса способен эстетизировать данный текст, повествующий об обыденном.

Грамматика рекламы и Хармс

Реклама несет на себе приметы массовой культуры: она должна упрощать мир, должна развлекать, одновременно предлагая варианты подсказок о путях существования в этом мире.

Случаи или *Анекдоты* Хармса — это вообще типичные сообщения в рамках массового сознания. Это принципиально массовая культура. Они требуют быстрой реакции получателя, его немедленного реагирования, как, например, в цирке или в ответ на рассказанный анекдот, функционирующий в устной стихии. Это все приметы устного текста, характерным примером которого является бытовой разговор. Однако в рамках бытового разговора также есть явления текстуальности, обладающие завершенностью, пересказываемостью другим.

Например:

«У Пушкина было четыре сына, и все идиоты. Один не умел даже сидеть на стуле и все время падал. Пушкин-то и

сам довольно плохо сидел на стуле и все время падал. Бывало, сплошная умора; сидят они за столом: на одном конце Пушкин все время со стула падает, а на другом конце — его сын. Просто хоть святых выноси!» [191, с. 334]

Стандартный советский анекдот также вступал в противоречие с официальной стихией, в нем образ гениального генерального секретаря Брежнева оказывался образом полного идиота, не способного произнести самое простое слово без бумажки.

Но модель та же: частная деталь, правдива она или нет — не играет особой роли, становится полной характеристикой объекта или человека, поскольку она не допускает в поле сознания другие характеристики.

Этот же метод повторяют ролики телерекламы. Они принципиально кратки, они гиперболизируют частность, инонормальность. Из введенной создателями рекламы детали делается необходимый им вывод. По сути, это логика не обычного мира, причем то, что зритель-мужчина оказывается погруженным в разговор о преимуществах гигиенических прокладок, также является ненормой.

И Хармс, и реклама раскрывают самостоятельное существование тех объектов реального мира, которые обычно не могут автономно функционировать. Например, многочисленные рекламные тексты, где «героями» являются прокладки или жевательная резинка. Это не менее странно, чем тексты Хармса.

Главной близостью Хармса и рекламы становится многократный повтор событий: у Хармса в одном тексте, а в рекламе — за счет бесконечности тиражирования.

Сопоставление текстов Хармса и текстов рекламы позволяет также говорить о следующих совпадениях:

А) Хармс выходит на обобщения, реклама также (типа «давайте чаще встречаться» для потребления пива),

Б) Хармс, как и реклама, «кодирует» элементарные бытовые события, переводя их в разряд художественных.

В) Хармс часто *метакоммуникативен*. Например, он может выйти за пределы своего описания:

«Трудно сказать что ни будь о Пушкине тому, что ни чего о нем не знает. Пушкин великий поэт. Наполеон менее

велик, чем Пушкин. И Бисмарк по сравнению с Пушкиным ничто. И Александры I и II, и III просто пузыри по сравнению с Пушкиным. Да и все люди по сравнению с Пушкиным пузыри, только по сравнению с Гоголем Пушкин сам пузырь.

А потому, вместо того, что бы писать о Пушкине, я лучше напишу вам о Гоголе. Хотя Гоголь так велик, что о нем и написать то ничего нельзя, поэтому я буду все таки писать о Пушкине.

Но после Гоголя писать о Пушкине как то обидно. А о Гоголе писать нельзя. Поэтому я уж лучше ни о ком ничего не напишу» [191, с. 150—151].

Реклама также использует прием показа создания сцены.

Кстати, реклама в телевизионном «Городке» может рассматриваться как вариант хармсовской подачи рекламы.

Сталин в своем выступлении на вечере кремлевских курсантов 28 января 1924 г. кодирует образ Ленина в новую схему, которая затем будет бесконечное число раз использоваться советской пропагандой [163]. Все эти характеристики (скромность, вера в массы и т.д.) «расцвели» в бесконечном количестве текстов-продолжений, за исключением характеристики «горный орел нашей партии», которая не сработала в такой многонациональной стране, как Советский Союз. Такая кодировка предполагает переход от сложного, многозначного, амбивалентного набора характеристик к однозначному. Любая кодировка предполагает уничтожение разнообразия, поскольку с ее помощью удастся удерживать внимание массового сознания только на ограниченном наборе черт.

В то же время Хармс странным образом с помощью своего типа кодировки сохраняет и даже увеличивает многообразие. Это можно объяснить следующим образом. При стандартном подходе жизнь кодирует текст, являясь для него определяющим элементом. У Хармса, наоборот, текст кодирует жизнь. Это же имеет место и в рекламе.

Мир рекламы является отклонением от мира реального. Можно перечислить целый набор таких характеристик:

- несовпадение: лесорубы обедают шоколадными батончиками;
- введение несуществующих в мире объектов: гномики в рекламе шоколада;

- герои оказываются в новых ситуациях, не имеющих места в реальности: в рекламе подгузников дети начинают заниматься совершенно взрослыми делами;

- событие кодируется не как реальное, а как символическое: прокладки, жевательная резинка переводятся из физиологической сферы в социальную.

Как и Хармс, реклама позволяет кратковременно удерживать внимание зрителя/читателя на введенной ею же аномальной ситуации (например, девушка заходит менять прокладки в мужской туалет).

Грамматика «Голема»

Марина Малич, вторая жена Хармса, называет «Голем» Майринка книгой, которую Хармс читал постоянно:

«Он очень любил книгу “Голем”, о жизни в еврейском гетто, и часто ее перечитывал. А я ее несколько раз брала, и когда начинала читать, всегда что-нибудь мне мешало дочитать ее. Или кто-нибудь позвонит, или кто-нибудь войдет ... — так и не прочла до конца.

Для Дани «Голем» был очень важен. Я даже не знаю почему. Он о ней много говорил, давал мне читать. Это была, так сказать. Святая вещь в доме.

Вообще, он как-то настаивал на таких вот туманных, мистических книгах» [55, с. 78].

Как видим, статус этой книги приравнен для Хармса к чему-то святому, то есть выведен не просто на метауровень, а какой-то сверхметауровень. Следовательно, мы можем предполагать, что Хармс должен был использовать в своих текстах присущий «Голему» тип структурности.

Каковы же особенности этого исходного текста, с точки зрения Хармса первоисточника? «Голем», несомненно обладает определенной амбивалентностью. Сюжет более сложен, чем происходящие в романе события. Причем все типы героев достаточно прозрачны, они, как в комиксе, являются носителями какой-то одной черты, которую проявляют многократно (типа жадности, сексуальности и т.д.).

Читатель продвигается по тексту с большими затруднениями, поскольку ощущает, что на роман одновременно

наложены какие-то другие типы структурности, главной из которых является сюжет существования и периодического появления Голема. Но даже это мы привносим из чтения других книг, откуда нам известно, что сюжетность проявляется именно так: о главном герое говорится больше, о второстепенных — меньше.

Сложность чтения состоит и в том, что главные герои как бы и не главные. Мы все время вращаемся в наборе эпизодов, где происходит пересечение героев. Они производят какие-то слова, но слабо управляют будущими событиями, которые явно несут на себе приметы случайности, что сходно с Хармсом. Случайны знакомства, случайны эпизоды, которые могли быть, а могли и не появиться. Практически неизвестно прошлое, оно многократно затушевано, стерто.

Герои принципиально амбивалентны, совершенно стандартные типажи оборачиваются какими-то противоположными действиями и характеристиками: нищий может оказаться миллионером, студент — убийцей. Соответственно, возникает множество «свернутых» сюжетов. При желании автор может свернуть в боковую улочку своего повествования и остаться там без потери внимания читателя.

При этом роль *среды, контекста* гораздо выше, чем в любом другом тексте. Все время ощущается, что это бесконечно богатая и разнообразная на поступки среда, это «котел сюжетов», из которого только время от времени вылавливается нечто и подается на стол читателю.

Хармс теоретически мог реагировать именно на этот случайный мир, в котором сюжеты заданы только пунктиром. В этой книге читатель бы не удивился, если бы время потекло вспять, и герои вновь повторили бы некоторые свои поступки. Это *принципиально нелинейный мир*, поскольку все связано со всем. Не может быть героя, который бы не был привязан к тому или иному объекту или к тому или иному человеку. Мир рекламы также в этом плане не линейен, поскольку он также имеет право на ввод всех связей в новом порядке.

Голем, один из мистических героев/механизмов повествования, характеризуется узкоглазостью: он чужой для

данного европейского контекста. Но интересно то, что на рисунках художника Г. Штейнера из Праги, иллюстрировавшего немецкое издание Г. Майринка 1915 г., Голем предстает в образе, который является привычным для сегодняшнего дня изображением пришельца. Правда это или нет, в данном случае не играет никакой роли, мы теперь легко можем идентифицировать пришельцев по киномифологии и по томам информации об НЛО. В 1915 г. этого образа в социальной памяти не было.

Алогичность работает тогда, когда уже присутствует логика. Иная норма проявляется только на фоне существования основной нормы. И в норме, и в инонорме есть свои знаки и символы.

В нашем стандартном общении мы разрешаем разного рода отклонения на уровне сообщения, при переходе его в текст все случайное и отклоняющееся старательным образом уничтожается. Хармс же, наоборот, искусственным образом придает сообщению статус текста.

Человек последователен только в своих ошибках. Во всем остальном он предельно иррационален. «Голем» дает возможность ощутить эту иррациональность окружающего бытия воочию. В. Лефевр, в нынешнем своем статусе профессор Калифорнийского университета, в разработке своих рефлексивных моделей подчеркивает, что человеком движут не чисто утилитарные, рациональные цели [99].

Тексты Хармса, Майринка, частично рекламы производят в определенной степени процесс дерационализации человека. Собственно говоря, любой переход в виртуальный мир (будь это кино, телевидение или роман) уже направлен на поддержание в себе определенных характеристик иррациональности. Мы привыкаем, к примеру, смотреть триллеры и детективы, тем самым поддерживая в себе огонек иррациональности. В прошлом инквизиция боролась с этими же проявлениями в виде колдунов или ведьм. Уничтожение иррационального в массовом сознании достигалось посредством сжигания их на костре. Станным образом в число

наказуемых часто попадали красивые девушки, тем самым внешняя красота воспринималась как признак иррационального.

Слабая структурность «Голема» нашла отражение в слабой структурности произведений Хармса. Реклама также имеет событийную структурность, продиктованную извне, а не заданную текстом как внутренним требованием.

Семиотическая сила и привлекательность подобных текстов покоится на том отклонении от нормы, которое они исповедуют. Воспитанные на одном типе «грамматики», мы хорошо воспринимаем другие типы, которые из-за своей редкости воспринимаются гораздо более яркими. С другой стороны, насыщение сознания текстами, исповедующими инонорму, позволяет более четко понимать существующие нормы.

ТЕЛО В СОВЕТСКОЙ И ПОСТСОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Каждая эпоха выдвигает на первое место свои представления о правильном и неправильном, красивом и некрасивом. Тело является знаком, за формой которого разные эпохи видели свои собственные варианты значений. Ср. типы красавиц в каждую из эпох развития человечества. Вся история и киномифология зафиксированы в социальной памяти с помощью визуальных образов ее творцов. А они были невозможны вне конкретного телесного воплощения.

Эпохи/цивилизации могут быть сориентированы на ум, а могут быть сориентированы на тело. Советская цивилизация явно отдавала предпочтение телу. Нужное государству тело росло. Это военные, летчики, спортсмены, где требуется виртуозное владение своим телом. Это рабочие и колхозники, где требуется более простой вариант использования тела. Но не интеллигенция, у которой тело вообще не работает на пользу государства. Тело интеллигенции работает на саму интеллигенцию, именно поэтому в системе, ориентированной на тело, интеллигенция признается как данность, но особенно не поддерживается.

Советская эпоха с точки зрения отношения к телу может быть разделена на следующие этапы:

- Этап борьбы с дореволюционными типажам.
- Этап индустриализации.
- Этап военный.
- Этап попыток многоголосия.

Эти этапы имели разную продолжительность и каждый из них оказался зафиксированным в документальной и художественной коммуникации. Каждый из них давал две основные модели:

- тип основного героя;
- тип партийного руководителя, который часто был производным от героя, при этом иногда героя прошедшего периода.

Герой вчерашнего дня давал начало партийному руководителю дня сегодняшнего. Революционер в прошлом переходил в тип сегодняшнего хозяйственного руководителя. Или участник Великой Отечественной становился руководителем колхоза сегодня. Сегодняшнее порождение героя одновременно предопределяет типаж руководителей завтра.

Очень характерна для подобного анализа также одежда как семиотическое явление. Трудно было изменить тело, лицо, но очень легко было изменить тип одежды для того, чтобы приблизиться к нужному типуажу. Соответственно, непризнание этого права на доминирование, которое могло выражаться не в том типе одежды, сурово наказывалось. Вспомним, например, борьбу с галстуками как буржуазным пережитком.

Этап борьбы с дореволюционными типажам

Послереволюционное время отличалось ожесточенной схваткой новой семиотической системы — советской — с дореволюционными представлениями. Например, профессор как типаж отождествлялся с детским типом, который не может себя обслужить и требует вокруг мамок-нянек. Он изнежен, придает странную для носителя нормы значимость несущественным параметрам своего бытия.

М. Булгаков отметил ряд подобных характеристик в образе профессора Преображенского в «Собачьем сердце». Столкновение норм происходит там на каждом шагу. Например, профессор заставляет всех, кроме женщины, снять головные уборы, предварительно спрашивая, мужчины они или женщины. Это говорит о том, что одежда унисекс появилась гораздо раньше, чем мы думали.

Тело реализуется не только в одежде, но и в типе еды, поэтому профессор Преображенский священнодействует:

«Холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помешки. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует с закусками горячими» [38, с. 141].

Как видим буржуазное тело ест другую пищу, читает другие книги, думает по-другому. Поэтому вполне естественной являлась борьба с ним. Управление дома пытается уплотнить профессора Преображенского, поскольку правильному телу достаточно небольшого пространства.

Дворцы, в которых обитала прошлая элита, превратились в дворцы для созерцания, оправданием чему служило то, что они созданы народом, по́том народа..

Партийный лидер этого времени, хотя и является интеллигентом, а это практически единственный интеллигентский типаж во всей советской истории, но его понимание народа выше всяких похвал. Идеальный образ в этом плане — это образ Ленина, который может не только читать книги, но и задумчиво слушать кухарку, ходоков и т.д. Создатели кино-Ленина максимально использовали метод открытого общения, который достаточно частотен в избирательных кампаниях. Так, Клинтон в свое время побеждает Буша из-за демонстративного участия в таких контекстах. Буш же отказывался ходить на ток-шоу, аргументируя это тем, что он не мальчик.

То есть возникает два полюса интеллигента: интеллигент профессорский, который далек от жизни, и интеллигент партийный, который всеми фибрами своей души готов впитать народное горе. Последний тип интеллигента и оказывался партийным лидером своего времени. Хотя он и был подкреплён целой когортой «правильных» типажей

простого происхождения, для которых было характерно участие в гражданской войне.

«Правильные» герои данного времени ходят в кожаных тужурках, не отвлекаются на личное в пользу общественного. У них простые рабоче-крестьянские лица, очки являются приметой чужого образа, поскольку интеллигенция могла быть только дореволюционной. Великое послереволюционное перемещение народов также изменило типаж городского человека. Теперь, как правило, он всегда был выходцем из села. Город в своем стандартном понимании исчез. Широкоплечий и круглолицый сельский тип вытеснил худосочных городских жителей.

Вспомним также частые столкновения (даже в виде проверки достоверности сказанного) двух культур в виде рук без мозолей у задержанного. Все его слова не стоили ни гроша, когда вскрывалась более убедительная достоверность — достоверность не слова, а тела. Слова в этом плане гибки и динамичны, тело же носит не временный, а постоянный характер. Поэтому ложь может корениться в словах, но не в теле. «Не то» тело часто является причиной разрушения социальных отношений.

Этап индустриализации

Именно здесь выкристаллизовался основной советский типаж, свои представления о красоте, которая опиралась на красоту производственного типа. Киноактер должен был обязательно быть вымазан мазутом, чтобы соответствовать правильному образу. Тип нормы диктовался социальной задачей.

Физическое, мускулистое тело вновь побеждало тело слабое, хотя и напичканное знаниями. Киногерой обычно говорит о том, что после битвы или стройки он таки сядет за учебники. Но дело до учебников не доходит, для героев всегда находятся новые враги (в мирное время — новые стройки). Если у тебя нет врагов, то ты не герой. Герой всестерна чаще побеждает в поединке «один на один». Советский герой чаще побеждает в совместной борьбе, даже если он впереди, он хорошо знает, что за ним весь советский

народ. Как было сказано в одном из киномиффов: «Москва знала все».

Отсюда также постоянная конфликтность в советской художественной коммуникации между учительницей (учителем), работающей в сельской школе, в школе рабочей молодежи и учеником (ученицей). Более правильные гены (рабочие) всегда оказываются сильнее в предлагаемых обществу типах конфликтов. Учитель (учительница) «понимал» эту тенденцию. Поэтому на исправление и в СССР, и в Китае отправляли именно на физические работы, которые призваны были очистить головы от дурных мыслей.

В этот период партийный лидер неотличим от народа. В пьесе у А. Корнейчука секретарь обкома выступает в роли «ответственного шофера». Это тип «кожаной тужурки», перешедший в эту эпоху из эпохи предыдущей. Партийный лидер мудр и справедлив. Но раз он не может ошибаться, то его сюжетные возможности очень ограничены. Сюжет не может быть выстроен только на изначально правильных поступках. Поэтому партийный лидер слушает, но не действует, чтобы затем разрешить все противоречия своим вердиктом. Его право на критику не подлежит сомнению.

Это время расцвета коммунальных квартир, которые, несомненно, облегчали социальный контроль общества, подводя всех под нужные типажи поведения. Сентенция «мой дом — моя крепость» не могла работать в этой системе. Необходимо отметить, что разрушение защитных преград между обществом и человеком параллельно сопровождалось строительством куда более сильных защитных преград между «нашим» и «их» обществом. Уровень защиты перераспределился в ином направлении.

Значимость социального порядка с неизбежностью возрастала, а значимость индивидуального порядка падала.

Этап военный

Уже в довоенное время существовало преклонение перед военным типом героя. Киномифология с восхищением относилась к летчикам, танкистам, артиллеристам. Они явно стали тем типом интеллигенции, которая не вызывала от-

торжения системы. Как и инженеры, они обладали тем необходимым типом знаний, в которых в первую очередь нуждалась система.

Любовь к такой «интеллекции» несоизмеримо возросла, когда началась реальная война. Любые проявления человеческих чувств были оттеснены на периферию. Осталась только любовь к Родине. У военного отсутствует тот широкий набор возможностей и интересов, который присущ гражданскому лицу.

Военный человек в этом плане представляет собой идеальный объект: он профессионально готов отдать свою жизнь за общество, его целью является «пасть на поле боя», поскольку лучшие представители военных именно так завершали свою жизнь. Это нечто схожее со средневековым рыцарем. Отличие состояло в том, что последний сражался за любовь Прекрасной дамы. Но в этом и заключается благородство военного: он изначально встречается с опасностью, но готов к жертве не ради себя.

В отличие от «настоящего» военного, новобранец демонстрируется в унижительных для него ситуациях, что исключено при показе подлинно военного человека.

Киномифология фиксировала странные претворения типажа гражданского в типаж военный, акцентировала внимание на неумении городского или сельского человека играть по новым правилам, действовать под началом нового типажа. В этом, кстати, заключалась одна из важных проблем советского времени, требовавшего перехода ко все новым и новым типажам. При этом предшествующие начинали внезапно усиленно отрицаться.

Несколько позднее на периферии возникает типаж человека страдающего, что было невозможно в прошлые периоды. В советской систематике социальный оптимизм всегда реализовывался параллельно с индивидуальным оптимизмом. Теперь сохранение социального оптимизма было не менее сложной задачей, чем сохранение оптимизма индивидуального. В киномифологии эти проблемы возникли при описании войны, осуществленном уже в мирный период. В военный период подобные отклонения были бы невозможны.

Этап попыток многоголосия

Многоголосие часто пыталось пробиться на авансцену советской истории, но, как правило, безрезультатно. Управление многоголосием гораздо более сложный процесс, поэтому руководители всегда стремились его избежать. Более того, многоголосие отдает предпочтение не лидерам производства — основному советскому типу героя, а лидерам досуга, а это, в свою очередь, если не противоположный герою типаж, то тяготеющий к тому, чтобы быть таковым.

Многоголосие было допущено в советскую историю во времена Хрущева и Горбачева. Оба эти варианта оттепели в значительной степени были продиктованы извне. Внутри самой системы такого рода потребность не культивировалась. Закрытая система очень плохо реагирует на новые типы сообщений, хотя она и идеальна для организации функционирования старых сообщений.

В хрущевское время впервые возникла ситуация, когда другая норма допускалась, но с ней одновременно приходилось активно бороться. Вспомним феномен *стиляг*. Законных путей борьбы с ними уже не было. Термин «низкопоклонство перед Западом» уже отошел на второй план, хотя и не был снят с повестки дня. Он был в идеологическом меню, но уже исчез из меню бытового. Если вхождение нормы осуществляет по закону «быт — идеология», то потеря нормы происходит в обратном порядке: идеологически позитивный признак может быть отрицательным в быту.

Характерной визуальной приметой этого времени можно считать бороды и ковбойки. Даже портрет Хемингуэя на стене отражал новый тип нормы. В предшествующем периоде Маяковский не мог быть сменин иностранцем. И в этом также проявилась явная примета смены времени: «свое тело» как ориентир сменяется другим. «Свое тело» как данность всегда более конкретно, «чужое тело» — абстракция, на которую мы имеем только косвенные выходы.

Тело стало выходить из-под идеологического контроля. Мускулистое и правильное могло смениться заурядным: герои прошлого (военные, рабочие, колхозники) отдавали какую-то часть своей виртуальной власти интеллигенции.

Партийный работник всегда был выходцем из тела, занятого физическим трудом. При этом рабочий стоял выше колхозника, интеллигенция не имела права на призовые места под государственным солнцем. Косвенно эту борьбу тел можно увидеть в дискуссии того времени на тему «физики и лирики». Сегодня это можно воспринять, как дискуссию на предмет верховенства государственно значимых приоритетов или приоритетов со стороны человека. Сталин когда-то заметил о лирике К. Симонова, что она интересна двум людям: Ему и Ей.

Дуэль тел приняла новые оттенки. В результате тщедушный студент Шурик побеждает у Л. Гайдая правильные мускулистые тела своих оппонентов. Но это одновременно означало, что индивидуальное тело постепенно побеждало тело социально значимое. Индивидуальное тело в советскую эпоху не имело особого значения. И Зоя Космодемьянская, и Гастелло, и Павка Корчагин отдают или готовы отдать свое индивидуальное тело ради выживания тела социального.

Постсоветское тело

Постсоветское тело опять находится на перекрестке традиций. Разные слои общества держатся за разные представления. «Новый русский» как семиотический персонаж инонормы заменяет исполнявшего ранее эту роль «чукчу». Анекдот усиленно эксплуатирует эту ненормальность «нового русского», который пытается придать себе значимость новыми нормировками.

Первыми разрушали приоритет физического тела мультипликаты. В одном из очкарик со своим худосочным отцом строят скворечник, который явно хуже безупречного скворечника, построенного здоровяком физкультурного типа со своим сыном. Но птицы прилетают именно в этот интеллигентский скворечник!

Смена тел отразилась на избирательных технологиях: акцент происхождения из семьи беднейшей (т.е. тела физического) сменился на происхождении из семьи дворянской, богатой и т.д. (т.е. тела, которое принципиально отвергало

физический труд, соответственно, обладало иными характерными приметами).

В период ГКЧП Горбачев очень боялся, что его обездвиженное тело продемонстрируют по телевидению, чтобы привести его тело в соответствие с заявленным сообщением о болезни президента. Виртуальное больное тело Горбачева и реальные трясущиеся руки Янаева стали символом ГКЧП. Горбачев вспоминает по этому поводу:

«Раиса Максимовна ударилась в панику. Хотела меня спрятать, боялась, что сделают инвалидом и покажут всему миру, будто я действительно болен. Павлов же говорил, мол, Горбачев лежит в кровати, недееспособен и мурлыкает нечто невнятное. А довести до такого состояния пара пустяков: мужики навалились, вогнали что-то и — готово. Известные вещи» («Комсомольская правда», 2001, 17 авг.).

Интересно, что это опасение нашло свое продолжение в содержании в заключении В. Крючкова. Именно в его камере заключенные боялись брать таблетки с витаминами, чтобы чего не подсунули. В результате обитатели этой камеры выглядели неестественно бледными.

Тело, являясь как бы неизменным атрибутом, каждый раз выступает в разных обликах, каждая эпоха хочет увидеть и запечатлеть в социальной памяти свои приоритеты. И для этого есть ряд достаточно объективных параметров, например, движение от полюса физически сильного к физически слабому, или от полюса изнеженности к полюсу естественности. Перед нами каждый раз возникает тот набор вариантов, из которого можно писать тот или иной текст эпохи, и эпохи этим активно пользуются.

Если слово является инструментарием динамического порядка, то для тела подобная динамика невозможна. Поэтому тело как семиотический объект находит поддержку в своих атрибутах (одежда, украшения и т.д.), что позволяет вносить в достаточно стабильный объект динамический компонент. Массовость в этой сфере может создавать не только мода, но и идеология. Вспомним сталинские френчи

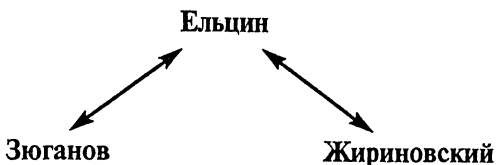
на вождях районного масштаба, сюда же следует отнести унифицированный тип одежды китайцев времен Мао. Нейтрализующий вариант одежды использует и армия, которая старается спрятать индивидуальные характеристики тел.

Сильное/слабое тело вождя может стать причиной государственного переворота (Индонезия-1965, СССР-1991). Немошное тело Брежнева стало символом эпохи застоя. Тело в этом случае могло председательствовать, но не внушало уважения. В ответ пропаганда должна была усилить порождение потоков уважения. Тем самым визуализация немошного тела сопровождалась усилением мощи пропаганды.

Тело «врага» пропаганда изображала в разные периоды по-разному. В послереволюционное время толпа носила чучело буржуя, т.е. тело было лишено примет индивидуальности. На следующем этапе возникли индивидуальные черты, но чисто отрицательного характера. И лишь в послевоенное время враг смог быть представлен как с позитивными, атак и с негативными чертами, рисующими его индивидуальность. В этом плане в определенной степени шокирующими с точки зрения пропаганды стали индивидуально насыщенные образы «врагов» в «Семнадцати мгновениях весны». Эти три этапа портретирования врага можно представить в следующем виде:

- Этап первый — «враг» обобщенный.
- Этап второй — «враг» имеет индивидуальные черты отрицательного характера.
- Этап третий — «враг» имеет индивидуальные черты как отрицательного, так и положительного характера.

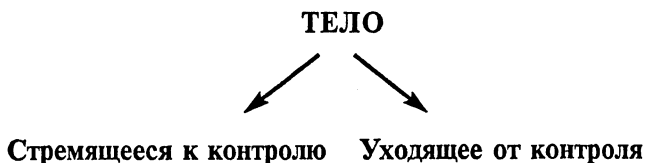
Политики «рисуют» себя на фоне «тел» оппонентов. Формирование образа Ельцина осуществлялось на фоне его антипода Зюганова. Ельцин по типу говорения, реагирования и проч. ничем не отличим от действующих лиц брежневской эпохи, являясь частью из них. Но задав себя в качестве антипода их, можно существовать в своем собственном виртуальном пространстве. Вторым элементом создания этого виртуального пространства был Жириновский, который выполнял сакральную роль *юродивого* при дворе. Юродивого в былые времена никогда не трогали, поскольку его словами говорил всевышний.



Ельцина постепенно стал походить на Брежнева, но эти два политических игрока создавали для него нужную ауру. Но наличие *оппонента* (в период выборов даже переходящего в образ противника, врага) и *юродивого* позволяло ему функционировать в роли демократа.

Тело политика функционирует подобно большой планете: сильный политик вызывает вокруг себя вращение однотипных тел. Вспомним, как появление Ельцина на теннисном корте повлияло на появление такого же визуального ряда всех прочих высокопоставленных теннисистов. Причем некоторые из них никак не смотрелись в данной роли.

Можно увидеть два типа отношения тела к контролю:



Примером первого случая будут такие знаки, как «кожаная тужурка» или «военная форма». Примером второго случая станет «стиляга», «ковбойка», «борода», «джинсы». Но это тип социального контроля самого высокого порядка. Одновременно эти же параметры могут стать, наоборот, обязательными, т.е. подтверждающими контроль в какой-то социальной группе, например, молодежной. С другой стороны, «хиппи» имели свой тип одежды, подчеркивающий их уход от социальных норм, но одновременно обязательный для них самих.

Тело может быть больше человека, например, Сталину подставляли скамеечку на трибуне Мавзолея, чтобы он выглядел больше. И может быть меньше, когда при столкновении с начальством человек съеживается. Тело рыцаря

вообще стало железным, поскольку реальное полностью скрыто от глаз. Поза денди выражала пресыщенность, пренебрежение жизнью. Данная форма, принимаемая телом, несла знаковые характеристики совершенно нового вида.

В этом случае мы оперируем с телом **символическим**, которое может вступать в противоречие с телом физическим. Физическое тело Сталина с помощью скамеечки приближалось к телу символическому. Это же касалось исчезновения оспин или скрюченной руки. Убирание родимого пятна Горбачева на первых официальных портретах также лежит в этой плоскости. Тело вождя может быть только знаковым, оно не может демонстрировать отклонения от нормы, поскольку само по себе является эталоном.

Средневековое умерщвление плоти было возможно при соответствующем развитии силы духа, поскольку подчиниться телу значительно легче, чем возразить ему. Мускулистое тело рабочего отражает только тип его профессии. Мускулистое тело «буржуа» символизирует напряженные занятия с телом, которым уделяется много внимания. Одновременно такое тело иллюстрирует другой тип жизни.

Тело как знак	Отсылает на
Денди	Пресыщенность жизнью
Солдат с автоматом	Потенциальный отпор врагу
Мускулистое тело «буржуа»	Внимание к здоровью

«Тело» в семиотическом плане символизирует не себя, оно отсылает на иную реальность. Тем самым осуществляется «подключение» к совершенно иным объемам информации. Происходит определенный информационный скачок. И поскольку он может иметь либо позитивные, либо негативные последствия, то человечество научилось контролировать этот, казалось бы, вовсе не контролируемый параметр своего существования.

Нина Марченко пишет в предисловии к своей книге:

«Павел I запретил носить круглые шляпы — эти моды шли из Франции, казнившей своего короля, и в России воспринимались как революционные. А Николай I преследовал эспаньолки как недопустимое проявление вольнодумства...» [118, с. 6].

Добавим к этому списку джинсы, ковбойки и даже галстуки, которые воспринимались как излишне западно-ориентированные в разные периоды советской истории.

Знак никогда не будет идеологически нейтральным, даже если так захочется носителям данного кода. Знак-тело также никогда не было нейтральным. Достаточно вспомнить дихотомию «мозолистые руки» — «белые, ухоженные руки», лежащую в основе советской истории.

СЕМИОТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА

Любая смена государственной системы покоится на смене ее базовых ценностей. В существующей системе базовые ценности не подвергаются сомнению, они рассматриваются как данность, порождение текстов идет в рамках границ, заданных ими. Оппозиция выводит ключевые объекты системы в новые контексты, пытаясь изменить их ценностное значение.

При подобной смене любая ценность (фигура, текст и т.д.) должна пройти предварительный процесс *нейтрализации*. И только потом он/она становится доступным для включения в новую систему ценностей.

Советское общество знало контексты нейтрализации, которые были доступны всем без исключения. Это очередь, это трамвай, это метро. Правда, в одном из нашумевших романов времен перестройки министры не могли спуститься в метро, обнаружив отсутствие пятак в кармане. Таким образом их как бы не пустили для прохождения обряда очищения.

ИЕРАРХИЯ —————> РАЗРУШЕНИЕ

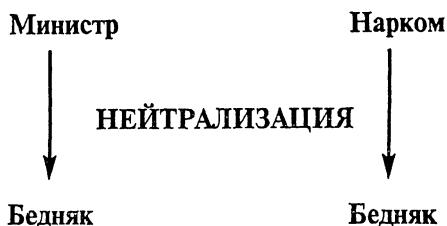
Подобные процессы выравнивания социальных отличий можно сравнить с идеологией карнавального праздника, отмеченного М. Бахтиным, а также С. Лурье. Карнавал менял местами верхи и низы общества на определенный четко заданный временной период. «Пан» и «Холоп» играли

теперь противоположную игру. Но и юридические также имели возможность сказать в сторону царя то, что не позволялось никому. Такой вариант нейтрализации* только укреплял систему.

Возьмем такой вариант нейтрализации, как *армия*. Это интересный социальный институт, который во всех странах в обязательном порядке привлекал большинство мужчин, тем самым уничтожая любые социальные различия между ними. *Религия* по сути также нейтрализует социальные отличия, задавая равенство богатого и бедного, даже наоборот, возвеличивая бедного, компенсируя его жизнь будущим благополучием в загробном царстве**.

Если мы возьмем революцию 1917 года, то она проходит под лозунгом «кто был ничем, тот станет всем», «кухарка может управлять государством», «мир — хижинам, война — дворцам». Происходит явная смена базовых ценностей, в рамках которых предыдущие «вершины» перестают быть таковыми. Более того, следование им угрожает биологическому выживанию человека.

Приведем пример: царский министр становится бедняком, а бедняк прошлой системы — наркомом. Мы можем изобразить это следующим образом:



Эти же переходы нарративно закодированы в фольклоре в виде сказки о Золушке: она так же отрабатывает схему «кто был ничем, тот станет всем». Аксиома американского госу-

*Точнее такие процессы рассматривать как вариант психологической компенсации. — *Прим. С.У.*

**Ср.: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царство божие» (Мф 19:24). — *Прим. С.У.*

дарства «чистильщик, который становится миллионером», «self-made man» опираются на это же правило, правда акцентируя не революционный, а эволюционный скачок.

В принципе эти виды нарративов призваны блокировать или разрешить определенные типы поведения. Погибшие в августе 1991 г. трое молодых людей бросились под танки, для того, чтобы их остановить, только потому, что была снята определенная естественная блокировка, запрещающая нам это делать в нормальной ситуации.

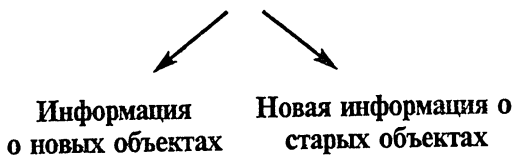
Литературный герой в каждой новой ситуации должен демонстрировать свой героический статус. Пропуском в мир героев является определенная жертвенность.

Сакральное пространство очищается определенными процедурами, тем самым освобождая его от прошлой действительности. Памятники, сносимые в этот период, подвергаются поношениям и оскорблениям. Например, снятие памятника Дзержинскому на Лубянке. При этом старые ценности все равно остаются в сознании, например, киевляне сопровождали криками «выдубай» статую свергнутого Перуна (и это слово осталось в географическом названии — Выдубичи).

Памятник-1 → 0 → Памятник-2

Смена власти предполагает серьезные процессы переименования, что в дальнейшем позволяет направлять новые типы негативных и позитивных коммуникативных потоков. Любое человеческое действие должно продемонстрировать свою легитимность. Схема действия одинакова и в случае государственного переворота, и в случае тоталитарной секты. Первым делом происходит переключение коммуникативных потоков, что призвано облегчить строительство нового типа виртуального мира. При этом принципиальная новизна возникает как за счет создания новой информации о старых объектах, так и за счет порождения информации о новых объектах, которая до этого могла подвергаться цензуре:

Переключение коммуникативных потоков

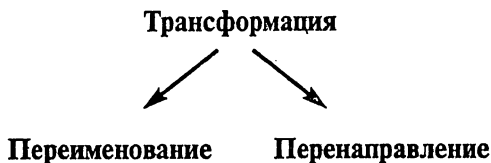


Реально перед нами возникает поток отрицательной информации о старых объектах, прежде отсутствующая. Например, в период перестройки отрицательная информация о деятелях партии. А также порождается поток положительной информации о новых объектах, например, в постперестроечный период резко возрос объем информации о Западе.

Происходит построение новой базисной системы. При этом «строительство» доводится до такого состояния, когда становится неудобно, неприлично критиковать ее. Это говорит о том, что она в достаточной степени уже мифологизирована и не подлежит обсуждению.

Эта система в свернутом виде уже хранится в массовой культуре (фильмы, мультфильмы, бестселлеры), что говорит о сформированном ядре. Тексты же выступают в роли иллюстраций аксиоматики этого ядра. И те тексты, которые будут нарушать эту аксиоматику, не будут пропущены обществом. В жестком виде — это будет цензура, в более мягком — диктат покупателя.

Трансформация массового сознания проходит по двум направлениям: переименование, о котором мы говорили, а также перенаправление удара критики.



Переименование позволяет из реально врага делать шуточного («контра», «контрики» в гражданскую войну или сталинское «белогвардейские козявки»). Перенаправление отрицательного удара уводит критический гнев массового

сознания на иные объекты. Например, в советское время основная опасность исходила от американских империалистов. Сюда же можно отнести и такой подтип, как *увод внимания*, позволяющий получать временные передышки в информационной борьбе. Кстати, советское массовое сознание постоянно боролось за свободу на других континентах. Например, мы знали жизнь Анджелы Дэвис лучше жизни собственных соседей.

Усиление коммуникативных процессов позволяет блокировать нежелательные для коммуникатора действия, подталкивая массовое сознание к требуемым. Например, тоталитарные секты объявляют дьявольскими контакты своих адептов с близкими им людьми, чтобы не допустить в сознание адептов неконтролируемых потоков информации. Как и в случае переворота имеет место уничтожение старых авторитетов и возвеличивание новых. Поэтому для депрограммирования жертв этих сект специалисты предлагают разные варианты восстановления контактов с такой личностью [192].

Профессиональные нищие, то есть те, кто просят подаяние не менее четырех-пяти лет, чисто семиотически строят свой тип, чтобы получать постоянную помощь. Специалисты видят следующий набор факторов («Коммерсантъ-Власть», 2001, 30 янв.):

- сострадание (чаще подают матерям с детьми, старикам и т.д.),
- этническая солидарность (русским нищим подают охотнее),
- социальность (нищий должен быть опрятно одетым и не демонстрировать агрессивного поведения).

Нищий моделирует себя таким образом, чтобы запрограммировать нужное ему поведение массового сознания. К нему также можно применить нарративный инструментарий, поскольку нищий стремится построить себя как историю, например, калеки одеваются в военную камуфляжную форму, подключаясь к имеющимся в обществе мифам.

Таким образом, чисто семиотическими задачами становятся задачи переименования (бывших героев — во врагов, бывших врагов — в героев). Не менее значимой задачей является обеспечение легитимности предлагаемых изменений.

Обе стороны оправдывают свою деятельность справедливостью, но побеждает та, у которой справедливость выглядит симпатичнее. Порождение легитимности решается и выведением людей на улицы. Человек на улице выступает в роли нейтрализатора, после чего появляется возможность для построения новой ценностной иерархии.

Знаковая система состоит из «алфавита» знаков и правил их сочетания. Смена власти приносит смену, в первую очередь, формы знаков, а не их содержания: значение «служба надзора над общественным порядком» может быть названа «полицией», а может быть — «милицией».

Значение: Надзор над общественным порядком

Форма: Полиция, Милиция

Сегодня вновь обсуждается возврат к форме «полиция».

В другом переходе, времен перестройки, «генеральный секретарь» становится «президентом», причем в некоторых постсоветских республиках он даже занимает свой пост пожизненно, чем, по сути, приближается к монарху.

Значение: Первое лицо

Форма: царь, генсек, президент

Сочетание знаков в случае перехода от советской к постсоветской системе наглядно видно на месте в новой системе «партии». Раньше этот знак был лидером, сегодня он отошел на периферию власти.

Послереволюционное время поменяло местами министра на наркома. Затем вновь появляется министр.

Значение: руководитель министерства

Форма: министр, нарком

Переход к советскому, а потом к постсоветскому времени поменял местами «департамент» и «отдел», чтобы снова ввести «департамент»

Значение: структурное подразделение

Форма: департамент, отдел.

При изменении функций сразу возникает изменение названий. В операциях по поддержанию мира, где стреляют не меньше, чем при обычных локальных конфликтах, сразу возникли новые обозначения.

Значение: военнослужащий

Форма: боец, миротворец

Когда же речь идет о разграничении по принципу «свой-чужой», то отрицательные слова применяются к чужим, положительные — к своим. Классическое разграничение это: *разведчик/шпион*. В случае Чечни борьба шла за такой ряд форм: с одной стороны — «исламские экстремисты» и «бандформирования», с другой — «борцы за свободу». Из этого же ряда и такие определения как «Октябрьская революция» и «Октябрьский переворот».

Смена семиотических систем является естественным началом смены власти, поскольку предопределяет смену базовых ценностей. При этом новый набор, например, для случая перестройки уже содержался в массовой культуре (мультипликаты, анекдоты). Если пионерская песня звала в горы, то мультипликационная подчеркивала, что «умный в гору не пойдет, умный гору обойдет». Массовая культура несла ценности, противоположные тем, которые доминировали в обществе. Столкновение двух систем ценностей привело к проигрышу официальной системы.

СЕМИОТИКА ВЛАСТИ

Отношение власти к населению и населения к власти носит принципиально национальную специфику, что и определяет ее семиотический характер. Полюса «западный» (демократические отношения) и «восточный» (отношения подчиненности) задают возможные виды отношений. Византийский характер власти зиждется на аксиоме «власть всегда права». Монархическая власть сакральна, она вообще выведена из рационального типа отношений. Она принципиально неизменна, в то же время демократия предполагает большой объем изменяющихся условий.

В чем вообще разница между *сакральным* и *мирским*? Сформулируем некоторые отличия:

- Сакральная область характеризуется тем, что она не подлежит никакому варианту контроля снизу.

- Сакральная область проявляется через ритуалы, которые не подлежат изменению, пример, религиозные ритуалы. В этом случае наилучшим видом послушания является неизменность текстов и ритуалов.

- Сакральную область начинают обслуживать определенные типы супервизоров (шаманы, священники, парработники), которым доверено право интерпретации священного текста.

Неизменный вариант священного текста (будь то Библия, либо собрание сочинений Ленина) постоянно сталкивается с динамически меняющейся действительностью. Но благодаря деятельности супервизоров удается интерпретировать и реинтерпретировать его на постоянной основе, тем самым предохраняя от негативного воздействия. Таким образом, мы видим два типа информационной защиты. С одной стороны, текст спасается от физической трансформации, благодаря запрету на любые изменения. Это касается и авторского текста, который сегодня охраняется сонмом редакторов, издателей и специалистов по авторскому праву. С другой стороны, содержательную трансформацию сакральному тексту задают супервизоры, только им общество доверило создание интерпретаций, предохраняющих текст от содержательных трансформаций. Мы имеем два направления трансформаций: по форме и по содержанию. И по каждому из этих направлений и выстраивается «вооруженная охрана».

Сакральная область возвышается над государством, легитимизируя его существование. Простой человек находится в следующей сфере — третьей, подчиняясь законам и первой, и второй. Государство — это такая срединная сфера. Только оно разрешает (или не разрешает) приобщиться к сфере сакрального. При этом каждая из сфер обладает своими собственными типажам, причем переходы между ними практически невозможны.

Сфера	Среда обитания
Сакральная	Боги, герои
Государственная	Чиновники
Человеческая	Люди

С точки зрения происхождения, то именно срединная сфера оказывается наиболее выигрышной. Чиновники ведут свое происхождение как от людей (например, подчеркивая свое простое происхождение), так и от героев, поскольку служат данной системе.



Чиновник имеет скорее силу, чем власть. Для осуществления власти он обращается к новым типам сакральных текстов (типа Налогового кодекса), который стоит выше его.

Каждая из этих сфер порождает для своего обслуживания разные типы текстов. Текст массовой культуры невозможен на высшем уровне. Но и сакральный текст будет колоссальным образом адаптирован для потребления на низшем уровне.

Каждый из уровней имеет свои требования к постоянству своих текстов. Сакральный текст не подлежит изменениям, это святотатство. Текст бюрократического уровня будет меняться только во времена революционных изменений, но принципиально это возможно, хотя и редко происходит. Тексты этого уровня также меняются эволюционным путем с помощью принятия парламентских законов. Тексты низшего уровня находятся в постоянном изменении, поэтому их требуется очень большое количество. Именно здесь существует наибольшая потребность в новых текстах. Например, в США ежедневно выходит две-три книги в области фантастики.

Каждая из этих сфер обладает разной степенью замкнутости. Наиболее замкнута — сакральная, наиболее открыта — человеческая. Чем система замкнутее, тем она стабильнее*.

Полностью замкнутая система вообще не требует процессов принятия решений. Сакральная система используется для принятия решений на других уровнях, она же полностью стабильна.

Замкнутая коммуникативная среда очень эффективна для управления стабильными ситуациями, поэтому власть в принципе сильнее в стабильных ситуациях. Это ситуации, где завтра и вчера идентичны. И, как следствие, она должна порождать стабильность. Нестабильные ситуации, в которых завтра и вчера не совпадают, требуют других методов управления.

С точки зрения государства могут возникать две идеологические задачи:

- Ситуация А: нестабильность выдается за стабильность,
- Ситуация Б: стабильность выдается за нестабильность.

Ситуация А достаточно типична для советского времени. Она реализуется путем порождения символических точек стабилизации. Сюда отнесем государственную любовь к партии, армии, флоту и других «правильных» фрагментов общества, поддерживаемую идеологической машиной и культурой.

Ситуация Б характерна больше для постсоветского времени, когда по-советски стабильные государства начинают моделировать демократическую нестабильность, например, в виде выборов или дозированного уровня критики.

В принципе бороться с нестабильностью (если разрешать ее элементы в виде отклонений этнического, идеоло-

*Весьма спорное утверждение. В соответствии с теоремой К. Геделя о полноте замкнутая система ведет к вырождению, т.е. к дезинтеграции и хаосу. Стабильной может быть только открытая система. Стабильность сакральной системы объясняется тем, что она использует символы и символическое пространство, т.е. категории по определению открытые и в целом умонепостижимые. — *Прим. С.У.*

гического и прочего характера) можно только созданием более сильных генераторов стабильности, в виде условной «крыши» для ряда нестабильностей, которая бы создавала стабильность более сильного порядка.

Культура в этом плане есть определенный генератор стабильности. С одной стороны, она дает возможность реализовывать мини-нестабильности на уровне виртуального, а не реального мира. С другой, формирует обширный банк данных, задающих однотипные реакции и интерпретации действительности для получателей этого типа информации.

Общество и государство живут как бы в разных зонах контроля: от полной упорядоченности до полного хаоса. Самая сильная упорядоченность характерна для сакральной сферы. Здесь идеалом является один текст и бесконечное число его интерпретаций. В человеческой сфере число и текстов, и интерпретаций бесконечно. В государственной сфере мы имеем ограниченное число текстов и вновь бесконечное число интерпретаций.

Сфера	Число текстов	Число интерпретаций
Сакральная	Один	Бесконечное
Государственная	Много	Бесконечное
Человеческая	Бесконечно	Бесконечное

Государство задает зоны усиленного контроля и зоны ослабленного контроля. Усиленно контролируются тексты, которые стоят на пересечении двух параметров:

- сакральный/государственный;
- тексты, предназначенные для массового тиражирования.

Пример, где присутствуют оба эти параметра: президент выступает в университете, а затем его речь тиражируется СМК.

Зоны ослабленного контроля возникают в следующих случаях:

- принципиальная невозможность контроля, например, мыслительная деятельность или отдаленность от центра;
- несущественность контроля, например, быт.

Естественно, что разные исторические периоды могут усиливать контроль и в этих зонах. Особенно это касается критических периодов: война или искусственно создаваемое напряжение типа террора тридцатых. Тогда быт подлежал такому же контролю, что и официальная сфера. Но часто это просто физически невозможно из-за огромного объема подобных коммуникаций. Контроль этих коммуникаций отходит на второй план еще и потому, что они представляют собой лишь потенциальную опасность для государства, массовые коммуникации — реальную.

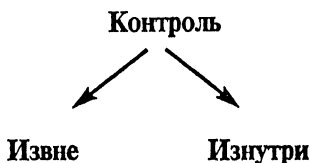
ЗОНЫ	ПРИМЕР
Усиленного контроля	идеология, массовая коммуникация
Ослабленного контроля	художественная коммуникация, массовая культура

Функционирование этих зон подчиняется разным закономерностям:

Зоны усиленного контроля стремятся к единообразию интерпретаций действительности, зоны ослабленного контроля не ставят подобных целей.

Возможны также разные варианты контроля. Есть варианты контроля на уровне авторства (кому разрешено выступать в роли автора). Есть также варианты контроля на уровне размножения сообщений.

Более общие виды контроля можно разделить на внешний и внутренний контроль. Государство в основном осуществляет внешний контроль. Религия или культура скорее ориентированы на контроль внутренний.



Внутренний тип контроля предполагает заранее введенный извне механизм, который затем управляет поступками

человека. Иногда это вводится нормами воспитания, например, «девочки/мальчики так не поступают». Иногда религиозными нормами, например, десять заповедей, которые призваны блокировать нежелательные виды поведения.

Жесткий тип контроля сочетает как внешний, так и внутренний контроль. Мягкий тип контроля — это чисто внутренний контроль. Но возможны и сочетания. Например, быт, хотя и относится к сфере внутреннего контроля, но также контролируем и со стороны государственной сферы (уголовный кодекс), и со стороны сакральной сферы (10 заповедей).

Есть Центр, где все исполняется максимально правильно, и Периферия, где разрешены те или иные отклонения от правил. Например, выступление на торжественном собрании, посвященном пятидесятилетию СССР, и разговор у пивного ларька будут отличаться разными вариантами отклонений от нормы.

Можно также представить себе различную степень выполнения одной характеристики, например, *пионер* — *комсомолец* — *коммунист*. И есть полюс отрицательности, например, *бомж*, *преступник*. Полюс отрицательности также неоднороден. Например, в сталинское время политические противники получали больше негатива, чем уголовные преступники.

Постепенная реализация, перекодирование высшего уровня в низший характерно для систематики действующих лиц. Например, советскую схему можно представить в следующем виде:



Боги (в советской модели) — это Ленин, Маркс, Энгельс (раньше — Сталин). Герои — это партийная номенклатура

высшего звена (для мирного времени). Генсеки так и именовались — «верный продолжатель дела Ленина». В военное время (или в исключительных обстоятельствах мирного времени) в герои могли попадать простые люди.

«Боги» и «герои» как представители сакральной сферы противостоят «чиновникам» и «людям» как представителям сферы мирской. Существует возможность и переходов внутри сферы: в богов переходят после смерти герои, в чиновников переходят при жизни люди. Наблюдается явная симметрия.

Имеем два вида противопоставлений:

противопоставление по сакральности — боги, герои vs. чиновники, люди,

противопоставление по происхождению — боги, чиновники vs. герои, люди.

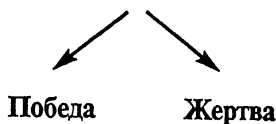
Исключением является редкий, но возможный переход: люди — герои — боги. Как правило, он характерен для военного времени.

Можно говорить об определенной «мифологической пружине», которая позволяет это сделать. Если раньше в такой роли выступала ситуация «столкновения с чудом», то в современной жизни эту роль выполняет ситуация «столкновения с опасностью». Герой тогда становится героем, когда при столкновении с опасностью он избирает вариант единственно правильного поведения.

ГЕРОЙ = ОПАСНОСТЬ + ПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Это вариант «победы над опасностью», в результате чего человек выходит из опасной ситуации в роли победителя, становясь героем. Второй вариант — это «жертва». В этом случае герой жертвует своей жизнью, как бы прекращая свое земное существование, но продолжая его уже в героическом поле.

ГЕРОИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ



Герой находится на пересечении интересов власти и культуры. Власть заинтересована в нем, поскольку постоянно хочет активировать типы поведения, выгодные для всего социального организма, даже если это происходит с ущербом для организма индивидуального, как это имеет место в случае варианта «жертва». Культура заинтересована в героическом, поскольку такой материал представляет интерес в гедонистическом плане благодаря богатству сюжетных ходов.

«Боги», вычеркнутые из списка небожителей новой властью, продолжают хранить свою сакральность. Речь в данном случае идет о фигуре Сталина. В советской истории для него характерно наибольшее число исчезновений/возвратов, что отражается и на географических названиях. Постсоветская история вновь вычеркнула старых богов, чтобы вернуться к еще более старым (например, Петру Великому).

Но при этом аксиоматика отношений «власть — население» остается той же. Это связано с тем, что именно власть определяет области любви и ненависти. Она сама знает, кого следует любить, а кого ненавидеть. Аксиома «Власть всегда права» на бытовом уровне трансформируется в известную всем «Начальник всегда прав». Или в такой лозунг: «Партия — наш рулевой». Он построен для использования на низшем уровне, но явно имеет все приметы своих создателей, чиновников из другого уровня. В принципе, каждый из уровней конструирует свои типы аксиом, он делает это как для себя, так и для нижестоящего уровня. Нельзя конструировать правила для вышестоящего уровня, поскольку он не подчиняется им.

Государство не способно на некоторые типы эмоций, которые доступны простому человеку. Государство предпочитает патетику, ему неизвестны юмор или лирика. Последние два типа реакций реализуются в личностных типах коммуникаций. Лирика (в виде любви к Родине) сразу переходит в разряд патетики, годящейся для исполнения со сцены, что принципиально меняет контекст восприятия.

У государства нет печали, но есть скорбь. То есть массовый тип эмоций отличен от индивидуального. Государс-

твенная скорбь не может быть адекватно повторена отдельным человеком, он лишь мимикрирует под нужный тип эмоций. Государственная скорбь может быть выражена лишь массой.

Приведем пример, где Татьяна Толстая переносит эту нашу официальную риторику на несколько столетий вперед:

«— Смерть вырвала из наших рядов, — продолжал Виктор Иванович, — незаменимого труженика. Светлого человека. Достойного гражданина. — Виктор Иванович уронил голову на грудь и помолчал. Бенедикт присел и заглянул ему в личико: плачет? Нет, не плачет. Посмотрел на Бенедикта со злобой. Снова головкой-то дернул и продолжает: — Горько. Бесконечно горько. В предверии славной годовщины, двухсотлетия взрыва...» [169, с. 155].

Государство виртуозно владеет возможностями переключения массового сознания в необходимом направлении. Оно придает максимальное значение малозначительным событиям, но значимым с его точки зрения. По этой причине власть весьма положительно относится к такому явлению, как юбилей. В советское время эта любовь приняла безмерный характер. Юбилей выполнения властных функций позволяет в очередной раз породить поток позитивных эмоций, направленных в требуемое русло.

Власть вообще более удачно ведет себя в позитивных, чем в негативных контекстах. Реагирование на негативные контексты у власти всегда неудачно. Вспомним начало Великой Отечественной войны или реагирование власти в случае Вильнюса, Баку и других событий в период перестройки. Власть удачна только в ею сконструированных контекстах. Когда же эта аксиоматика перестает действовать, власть не может выдавать адекватные ситуации решения. Сталин все время стремился конструировать страну под себя, а не сам изменялся под требования страны.

У власти нет способа реального решения многих проблем, поэтому она переходит на семиотические решения. Положенный камень начинает рассматриваться как будущий памятник или будущий завод, который будет здесь возведен через много лет. Завод реальный построить трудно, завод семиотический строится в течение нескольких дней.

Власть переходит из времени реального во время символическое, когда начинает бесконечно долго говорить о нужных ей ситуациях и объектах. Физически ситуация уже завершена, но власть начинает возвращаться к ней бесконечное число раз. Например, она делает нужные ей исторические события более существенными, чем события современные.

Эта особенность власти не имеет исторических границ. Например, можно увидеть четкое функциональное сближение таких объектов, как «замок» в средние века и «обком» в советское время.



Общие характеристики их выглядят следующим образом:

- неприступность для простых людей;
- вершители судеб простых людей;
- все стремятся туда, поскольку там открываются новые возможности;
- случайная встреча с обитателями «замка»/»обкома» может принести или большой успех или большую неудачу (в этом выгодность данной ситуации для построения сюжета в литературных текстах),
- обитатели «замка»/»обкома» живут по другим законам, питаются другой пищей.

«Замок» отличается от «обкома» только физическими своими характеристиками (заборы прошлого и заборы настоящего явно отличаются), символически он выполняет те же функции. Разными является только обоснование легитимности. «Замок» ведет свою родословную от божественного устройства мира, в котором ничего не меняется и «так было всегда». «Обком» объясняет себя (создает свое самописание) в терминах заботы о народе. То есть они не совпадают только в задании своей легитимности. Легитим-

ность первого вида отталкивается от вышестоящего уровня, легитимность второго вида — от нижестоящего.

Культура может обслуживать поле содействия или противодействия власти. Но в любом случае они находятся в разных плоскостях. Если плоскость власти стремится к единообразию (даже самые демократические страны избирают одного президента/премьера), то плоскость культуры не стремится к единоначалию (например, никто не избирает самого главного писателя или пианиста). Некоторым исключением можно считать тоталитарное государство, которое ставит культуру под бóльший контроль со стороны власти, но и там нет избрания или назначения писателя номер один. И, по крайней мере, от него не исходят импульсы управления для всего писательского сообщества.

Культура предполагает усиление имеющихся в обществе тенденций, стереотипов, predispositions, поскольку занята репродуцированием их не только в более явном виде, но и в более качественной, эмоционально окрашенной форме, способной воздействовать по-другому. Абстрактные тенденции, обработанные культурой, приобретают плоть и кровь, воплощаясь в конкретных людей. Это очень важные процессы превращения неявного в явное, позволяющие в результате обсуждать и благодаря этому усиливать имеющиеся представления.

НЕЯВНОЕ —————> ЯВНОЕ

В этом свойстве культуры коренится интерес к ней со стороны власти. И у власти нет другого инструментария. Власть порождает только импульсы, ведущие к немедленному исполнению. Культура порождает такие сигналы, которые включатся только тогда, когда будут активированы позднее.

Власть воздействует на рациональный мир человека, культура — на эмоциональный. При этом власть пытается заимствовать и эмоциональные методы воздействия. Именно отсюда флаги, гербы, гимны, марши, демонстрации. Это все невербальные средства воздействия власти, которые по своей основе сходны с культурой.

Власть — активный строитель в первую очередь именно символического мира. И уже потом мира реального. И если для простого человека мир реальный более значим, чем мир символический, то для власти мир символический имеет большее значение, и она часто уделяет ему больше внимания, чем работе с миром реальным.

Атака террористов на объекты в Америке продемонстрировала внимание именно к символической модели мира. Она, вероятно, была призвана, в числе прочего, разрушить образ Америки как самой могущественной супердержавы. В этом плане это имиджевая атака. Эмоциональная реакция на эту атаку оказалась исключительно сильной, поскольку это была атака на символы. А символы только тогда играют роль символов, когда остаются неизменными.

Власть также связана с эксплуатацией такой проблемы, как семиотика победы и поражения. С давних времен все общества очень четко фиксируют и оформляют в общественном сознании радость и горе, имея в виду социальную радость и социальное горе. Вспомним триумфы римских императоров, в создании которых были заложены усилия тех, кого сегодня именуют имиджмейкерами. Отличие радости от горя можно идентифицировать по следующим характеристикам:

- Ликование (т.е. производство лишних слов) — молчание.
- Разнообразные движения — однообразие движений.
- Разнообразие цвета — однообразие цвета (в некоторых культурах цвет печали — черный, в некоторых — белый).

В целом можно отметить, что одни характеристики направлены на моделирование жизни, другие — смерти, как определенных более общих категорий.

Человеческие сообщества очень часто стремятся к контролю именно единообразия. Например, армия может рассматриваться в качестве примера этого явления, где разными методами сознательно достигается однообразие человеческого материала. Есть также одни правила поведения и одежды для определенных контекстов. Наличие выбора, осуществление выбора является очень чувствительной для семиотики сферой. В тоталитарном государстве власть

берет на себя решение многих проблем выбора, очень жестко продиктовывая предпочтения своих граждан (что носить, что читать, что смотреть). Система порождения единообразия становится основным ритмом общества. В других случаях общество может стимулировать порождение разнообразия. Общества могут быть более/менее чувствительны к отклонениям от нормы: власть может принимать в этом серьезное участие, создавая идеальных со своей точки зрения граждан.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

**СЕМИОТИКА СОВЕТСКОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ**

Предисловие

Цивилизация порождает вокруг себя достаточно системный мир, где отклонения являются скорее исключением, чем правилом. Семиотика может рассматриваться как способ структуриации действительности, свойственный человеческому мозгу и трактоваться как тип универсального анализа объектов разной природы, что позволяет четче увидеть общее и отличное в их структуре.

Советское прошлое, близкое многим, также чрезвычайно системно. Это позволяет на примере его анализа показать методы семиотики. Советская действительность начиналась с системного разрушения прошлого состояния («мир — хижинам, война — дворцам»), за которым последовало столь же системное выстраивание советской иерархической системы, в рамках которой место нашлось абсолютно всем объектам.

Виртуальные «скрепы» советского мира задавали тот уровень системности, который и создает свой тип цивилизации, отличный от других. Причем художественный мир и мир реальный обладали большим количеством переходов, позволявших находить разнообразные типы цепочек-связей между объектами разной природы.

«Советский человек» и его цивилизация были вполне самодостаточными, поскольку любые другие цивилизации трактовались как постепенное приближение к данному идеалу. Соответственно этому выстраивались и исторические события, и события сегодняшнего дня, что также является признаком системности высокого уровня. История, к примеру, писалась и переписывалась постоянно, выполняя этот идеологический заказ на системность. Смена идеологических постулатов сразу же требовала смены исторической действительности.

Семиотический анализ советского варианта цивилизации позволяет продемонстрировать возможности семиотики и зафиксировать принципиально новые моменты, характерные для советской цивилизации, показать, как в обыденных объектах проявляются правила более высокого уровня. На примере этого анализа мы можем увидеть, что хотя советская цивилизация распалась, но ее коды продолжают жить среди нас и проявляются во множестве вещей и в обыденных ситуациях.

СЕМИОТИКА СОВЕТСКОЙ МИФОЛОГИИ

Художник до войны рисовал Ленина на первом плане, Сталина — на втором. После войны — наоборот. После XX съезда он рисовал Ленина и молодого Хрущева. Его творческие планы: Ленин с пробиркой, наполненной семенем, из которого родится Брежнев (анекдот)

В семиотике важным понятием является нулевой знак. Советские вожди во многом представляли такое нулевое заполнение формы. Они, несомненно, были продолжателями дела Ленина, но поскольку среди них часто оказывались «неправильные» продолжатели, эта характеристика теряла свой смысл.

Сегодня мы уже не говорим о вождях, а пользуемся более объективизированным обозначением «элита». Остался в советском времени и термин «номенклатура». Мы заменяем те же явления другими более демократичными обозначениями. Но суть их от этого не меняется. Меняется форма знака, на которую более чувствительно реагирует массовое сознание. Вероятно, это связано с тем, что мы оперируем знаками, а не объектами. Партия, имеющая в названии слово «демократическая», априорно признается нами таковой, хотя это может не соответствовать действительности. Название, а не суть предопределяет наше реагирование. Если быть более точным, то сначала мы реагируем на название и лишь потом на объект. Соответственно, не у всех наблюдается реакция на объект, но практически все реагируют на название.

Борьба старой и новой номенклатуры заканчивается появлением ГКЧП. Сегодня мы наблюдаем те же столкновения, но без подобных разрушительных последствий между центральной и региональными элитами.

Выбор рассматриваемых ниже лидеров объясняется четким выделением их в истории: эпоха перестройки — Горбачева, эпоха застоя — Брежнева, эпоха оттепели — Хрущева и эпоха террора — Сталина.

В целом же для данных лидеров мы можем воспользоваться словами Филиппа Роже, сказанными им по поводу Марата, которого он назвал «семиотиком самого себя» [152, с. 42]. Они сами были и своими имиджмейкерами, и своими семиотиками.

Для описания эпохи реальные тексты вторичны, нам более важна некая условная «грамматика», стоящая за ними, поскольку тексты были выполнены по ее правилам. Поиску этой «грамматики» эпохи мы и посвящаем данную главу. Мифологическое в ней важнее реального. Мифологическое решение более точно отражает контекст времени. Так и наша условная «грамматика» должна быть точнее любого конкретного текста.

Ю. Лотман подчеркивал значимость «вещи», которая могла определять развитие того или иного сюжета [104]. Реально каждый объект является знаком, отсылающим нас к иной знаковой системе. Объекты советского периода (типа девушки с веслом) также максимально системны. Через них и с помощью их мы можем увидеть, что система любила и что ненавидела, какие информационные характеристики становились символическими.

Каждая цивилизация характеризуется своим набором мифологем, которые системным образом «оформляют» свой вариант модели мира. Советская цивилизация не является исключением: она также должна быть сводима к определенному числу базовых постулатов, из которых можно порождать бесконечное число любых других текстов: от отрывного календаря до заявления ТАСС.

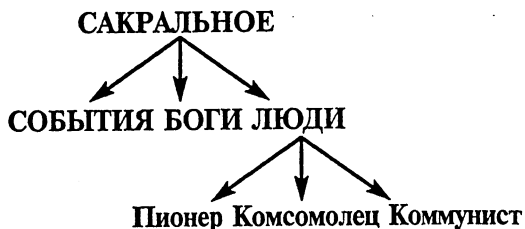
Были предложены разного рода анализы этого типа цивилизации как отличающейся от других и обладающей собственным видением мира (см., например, 134, 147, 157).

Цивилизация наиболее четко задает типы своих героев и своих врагов, соответственно возникает типология правильного/неправильного поведения. Ответ на вопрос «Что такое хорошо и что такое плохо?», заданный Владимиром Маяковским, лежит в основе любой цивилизации. Советская цивилизация прорисовывала образы своих врагов не менее тщательно, а может быть, и более тщательно, чем образы своих героев. И это понятно, поскольку герой может быть реализован только в той или иной схватке с врагом. Базисной точкой цивилизации может быть ГЕРОЙ, а может быть и ВРАГ. Герой может определяться только в сравнении с врагом. Или враг определяется по подвигам героя.

Мифология представляет собой способ кодирования действительности с помощью энного числа уровней абстракции. Практически мы имеем несколько уровней абстрагирования, которые постепенно достигают то, что можно обозначить как мифологическое ядро. Все остальные высказывания являются разного рода трансформациями данного мифологического ядра, его ядерных высказываний. Объяснение реальной действительности или реальных текстов осуществляется путем сведения реальных высказываний до уровня мифологического ядра.

В ядре советской мифологии лежит сакральный элемент, который в поверхностных реализациях получает наименование ЛЕНИН, ПАРТИЯ, КОМСОМОЛ. Это взаимозаменяемые понятия. «Мы говорим партия, подразумеваем — Ленин, мы говорим Ленин, подразумеваем — партия». Здесь В. Маяковский вновь прав. Проявление сакральности на уровне молодежи воплощается в комсомоле, на уровне школьников — в пионерах.

Пионер — это в определенной степени мифологическая сущность. ПИОНЕР — ВСЕМ РЕБЯТАМ ПРИМЕР. Это идеальная конструкция, которая в реальной жизни будет реализовываться с разной степенью полноты.



«Пионер» является идеалом, который на более низком уровне должен подтверждаться в миллионах конкретных примеров.

Достаточно часто встречается позиционирование от негативного. Например, «двоечник не может быть пионером». Это говорит о достаточно четко сформированном образе. Причем каждый носитель этой модели мира имеет и ясные визуальные представления о таком типаже.

Любой факт или любая ситуация в принципе сводимы к модельным ситуациям. Например, факт «дети поздравляют членов Политбюро» активизирует аксиомы «Сталин любит детей», «Партия заботится о детях», «Дети — наше будущее» и проч. То есть ни одно высказывание не существует в отрыве от мифологического ядра. Эта определенная «моноличность» является не просто характеристикой тоталитарного государства, это характеристика каждой отдельной цивилизации вообще, поскольку в рамках нее прослеживается большой объем внутренней взаимозависимости. По этой причине возникает парадоксальная ситуация, в рамках которой текст не столько описывает действительность, как действительность является результатом реализации сакрального текста. Действительность колеблется между двумя видами текстов:

САКРАЛЬНЫЙ ТЕКСТ



Событие



Описывающий текст

В результате действительность становится текстовой, в ней начинают проявляться те характеристики, которые отвечают дискретному представлению, свойственному семиотической модели, заданной сакральным текстом.

Человек, читающий газету, движется в обратном порядке: от газетного текста к событию и далее к сакральному тексту. Но поскольку событие здесь вторично, а не первично, то его роль нивелируется.

Стандартный путь прочтения

Текст → Событие

Тоталитарный путь прочтения

Текст → Событие → Сакральный текст

А поскольку сакральный текст, ради которого созданы и событие и текст, заранее известен потребителю информации, то возникает сильный эффект повтора, ведущий к ритуальности информационного пространства. Тексты при этом также становятся иллюстрацией текста более важного порядка. Все это говорит о существенной системности, как раз и позволяющей говорить о советской цивилизации.

Сложность ее конструирования состояла в определенной двойственности предлагаемых схем. Рабочий класс был самым главным, но он не имел доступа к управлению. В случае любого монарха подобной двойственности не было: вся иерархическая схема общества была выстроена в едином ключе. Конечно, советская аксиоматика уходила от подобной двойственности посредством логического объяснения, что нарушало стройность сакральной системы. Для компенсации этого нарушения вводилась аксиома «Партия — авангард рабочего класса», в результате чего центр иерархии смещался в новую сферу. Та же операция проводилась для выделения в рамках партии ЦК. Затем — генсека. То есть вводится определенная мифологическая динамика. Однако, в результате применения подобных «операторов» рабочий (центральный) класс сместился на периферию управления.

Собственно говоря, этой моделью «переноса» постоянно пользовался Горбачев, дистанцируясь от негативных ситуаций последних лет СССР. Вильнюс, Баку, Форос, — во всех этих ситуациях Горбачев заранее создавал себе алиби. В эти моменты возникал временный вакуум власти, все действия совершались как бы с санкции тех уровней, которые не могли принимать подобных решений. Это опять-таки связано со столкновением двух моделей: тоталитарной и демократической. «Рабочий класс» в советской схеме действительности по этой же причине мигрировал от вершины власти к ее низам. Происходило наложение двух схем. В рамках одной схемы у него было одно место, в рамках другой — другое.

Любая критическая ситуация включает в действие не только основные силы, но и факультативные. В период Великой Отечественной войны было подключено православие, которое до этого отрицалось, поскольку было несистемным компонентом. В тоталитарной схеме не может существовать ни одного автономного элемента из-за отмеченной выше взаимозависимости всех ее членов. И это понятно, автономный элемент уже не поддерживает имеющуюся в этой схеме иерархию, которая, по сути, является центральным моментом любой модели. Именно иерархия задает суть модели.

Следует также помнить и о том, что советская модель вполне могла быть создана как определенная трансформация модели, имевшейся до этого, с ее ключевыми понятиями православия, монархии и народности. В советской модели православие и монархия слились в единый концепт — «партия». Отсюда следует обоснование — «народ и партия едины».

Семиотическая модель действительности «клеит» свои ярлычки ко всем окружающим ее объектам. В результате этого на подлинную реальность накладывается реальность семиотическая. Даже такой вариант, как разрушение самолетами, захваченными террористами, башен торгового центра в Нью-Йорке, несло четкую семиотическую отсылку на кинодействительность: и те, кто планировал эту операцию, и те, кто ее смотрел на экране, находились под воздействием кинообразов.

Советская цивилизационная схема была весьма замкнутой, поскольку формировалась в условиях монолога. Это позволяло усиливать имеющиеся характеристики объектов, доводя их до логического совершенства, что подпитывало семиотический характер всех имеющихся объектов.

БЕЗМОЛВИЕ СОВЕТСКИХ ВОЖДЕЙ

Классная руководительница спрашивает мальчика, почему он пришел в школу в мятых штанишках.

— Вчера вечером мы включили телевизор и услышали: дело Ленина живет! Тогда мы выключили телевизор и включили радио. Снова услышали: дело Ленина живет! После этого мы уже боялись включать утюг... (анекдот)

«Мы наш, мы новый миф построим...», — так переиначил один из специалистов по паблик рилейшнз известные всем строки, показывая значимость мифа для своей специальности. Сейчас мы попытаемся представить себе, как выглядит миф о вожде, о советском вожде.

Вспомним вид последнего советского вождя. С одной стороны, его вели под руки, что превращало телевидение в самый ужасный канал коммуникации, который разрушал все потуги пропагандистской машины. Вождей можно было любить только заочно, не приглядываясь, чтобы вождь с портрета не вступал в противоречие с вождем наяву. Поскольку виртуальное, символическое в советской, как и в любой другой социальной системе важнее реального, то вождю и не следовало быть каким-то особым. Он уже был таким в символической модели мира, которая иерархически выше реальной.

С другой стороны, вождь принципиально молчал, а если говорил, то только строго по бумажке. Без бумажки вождь

(особенно в анекдотах) не был в состоянии сказать ни слова. Поэтому рассказ о вождях следует начинать с их безмолвия. «Молчание ягнят» оправдано тем, что они ягнята. Безмолвие вождей — это парадокс существования советской системы. Грядущая информационная цивилизация ими начисто отвергалась.

Трибун, который не умеет говорить, отражает важную роль именно символической системы. В рамках *советской цивилизации*, если возможно такое обозначение, символическое функционировало как реальное, по этой причине те или иные действительные отклонения реального от символического (например, оспины на лице Сталина, которых не было на портретах) рассматривались как неправильные реализации. Если в обычной системе реальное являлось реализацией символического, то в рамках советской системы символическое одновременно являлось реализацией другого символического и так до бесконечности. А реальность как таковая отходила на второй план.

а) Символическое



Реальное

б) Символическое 1



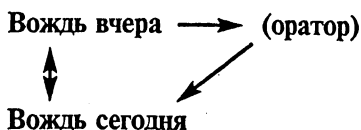
Символическое 2

Значимость того или иного уровня можно проверить, оценивая количество возникающих на нем ошибок. Тот уровень является более важным, на котором нет ошибки, который признается более нормированным.

Пример 1: в фильме «Кубанские казаки» задавался подлинный мир, жизнь вокруг признавалась исключением.

Пример 2: ошибочным могло быть поведение секретаря обкома, но не секретаря ЦК.

По этой причине неговорящий вождь все равно оставался продолжателем дела ораторов времен революции, поскольку та символическая система была иерархически более важной, чем современные значения тех же объектов.



В. Кривулин вспоминает внешний вид текста, подготовленного для одного из членов Политбюро:

«Я, например, помню, как выглядел текст одного из докладов шефа ленинградских коммунистов в годы стагнации Г.В. Романова. Это были небольшие, чуть больше карманного формата страницы на великолепной, специальной бумаге (она называлась “цековской”, ее проектировали и делали на “Госзнаке” — там же, где деньги и другие ценные бумаги); текст набран типографски, жирным и чудовищно-крупным шрифтом, над каждым словом проставлены ударения (как в букваре), а между словами и строками — разноцветные стрелки, указывающие, видимо, на понижение или повышение интонации, ключевые слова тоже выделены цветом и размером. Необученному человеку «прочсть» вслух такую партитуру невозможно — ее можно было только исполнять, причем исполнять, лишь автоматически следуя ее знакам и не понимая смысла произносимого. Исполнитель-солист попадал, таким образом, в рабскую зависимость от референтов и помощников, составлявших текст речей» [93, с. 43].

Отсюда следует парадоксальный вывод: говорящий на самом деле не умел говорить. Возможно, это связано с тем, что вождь воспринимается по модели первого впечатления. Психологи отмечают, что внешность дает 55 процентов информации, голос — 38, а содержание — только 7 [259]. Для вождя содержание как бы не играет никакой роли: мы заранее знаем, что он скажет. **Вождь является цитатой предыдущего вождя**, в этом плане он абсолютно несамостоятелен: отсюда бесконечное цитирование в речах. Все советские вожди задавались как цитата Ленина. Удивительно, что они не хотели повторять его внешность. Правда, во времена Сталина все повторяли простоту одежды вождя № 1. Вождь № 7856 всегда знал, что более безопасный вариант поведения состо-

ит в повторении как внешних, так и информационных (в смысле цитирования) параметров более главного вождя.

«Под знаменем коммунизма» — так визуализировался правильный путь в отличие другого, имевшего нулевой знак, поскольку другой путь был несуществующим. «Мы пойдем другим путем» — имело смысл, ведь этот путь еще не был реализован. К. Исупов отмечает: «Традиционная риторика Пути эксплуатируется в жаргонных новоязах публицистики (от “Нового пути” символистов и бердяевского “Пути” до советских газет, вроде “Пути Ильича”» [74, с. 146].

Наш путь всегда был правильным («Верной дорогой идете, товарищи»), поэтому он не требовал аргументации. Риторика как таковая — это признак досоветского общества. Наши вожди не нуждались в говорении, мы только символизировали их говорящими. В. Бонч-Бруевич в рассказе о елке и Ильиче, завершает его чисто коммуникативной подсказкой на говорящего вождя: «Праздник получился чудесный, и после него дети писали Владимиру Ильичу письма. А он, хотя был очень занят, всегда отвечал им немедленно» [35, с. 15]. Утрированная неправда в «немедленном» ответе детям нужна была, чтобы скрыть парадокс молчащего вождя.

Визуальный облик руководителя был постоянным элементом как официоза (портрет на стене в кабинете), так и праздника (нахождение на мавзолее). Подлинные вожди были олицетворены в виде памятников, стоявших на всех основных улицах и площадях. Но памятники молчат. Руководитель мог ехать в одной из трех машин (чтобы враги не подготовили покушение на него), но все знали, что проехал Он. Наш руководитель принципиально не хотел включаться в неорганизованный коммуникативный контекст, первым стал его моделировать только Горбачев. Именно моделировать, потому что я вспоминаю прибытие Горбачева в Киев и шоковое восприятие теленовостей программы «Время», когда там показали беседу жителей с Горбачевым, склеенную из ситуаций, происходящих в совершенно разных местах города. С тех пор население Киева, приписало ему недобрый язык, ибо после его слов о том, что киевляне живут как на курорте, разразился Чернобыль.

Вождь не может ошибаться. Вождь может ошибаться только в устах следующего за ним вождя, который становится интерпретатором его ошибок. Вождь в синхронии в диахроническом измерении перестает быть вождем. Будучи при власти, вождь совершенно прав, его речи сразу же воплощаются в многотомники, как это происходило с речами Л. Брежнева. Но теряя власть, вождь сразу терял свою правоту. Он становился примером отклонения от образа идеального вождя.

Советская система нашла совершенно парадоксальную стратегию: сегодняшний день оказывался неправильным, поскольку в прошлом нами правил неправильный вождь. Хотя в каждый отдельный момент времени все всегда признавалось единственно правильным. Правильное сегодня, становилось неправильным завтра. Именно это требовало постоянного уничтожения книг, изменения энциклопедий, что нашло утрированное отображение у Дж. Оруэлла. Массовое же сознание, будучи инерционной системой, воспринимало уничтожение «вчерашних» богов достаточно болезненно.

Гитлер говорил, что народ хочет видеть своих руководителей. Ему больше ничего не нужно, просто лицезреть своего фюрера. В. Бережков вспоминал, что в этом случае Гитлер не нуждался в телохранителях, так как толпа разорвала бы на части любого покушавшегося. С другой стороны советский человек воспринимал Гитлера в совершенно ином свете.

Уход вождя из жизни нарушает всю систему «летосчисления». Вспомним скорбь в стране в связи со смертью как Ленина, так и Сталина, что дополнительно выразилось в возведении Мавзолея (с большой буквы!) и помещении туда двух вождей. Ночной вынос тела Сталина уже не может рассматриваться как равноценная по сакральности операция, ночь — это время воровское, время принципиально незаконных действий. Хрущев в этом плане действовал «яко тать». Р. Ходж и Г. Кресс замечают: «Ночь — это особое время, когда правила дня меняются на обратные» [242, р. 73]. Тем более, что оппоненты даже не смогли вынести тело Сталина за пределы сакрального места — Красной площади.

Период между смертью старого вождя и появлением нового не может быть долгим. Вождь — часть знаковой системы, поэтому он все равно должен найти свою реализацию. У вождя не может быть ошибок, кроме тех, которые он сам решается признать. Все его действия заранее признаются нормой, идеалом. В СССР вождь усиливал свои позиции тем, что олицетворял коллективный разум — ЦК партии. Таким образом, одна символическая реальность автоматически перекодировалась в другую. Движение в рамках чисто символических ценностей (партия также признавалась символом всего самого лучшего и хорошего) усиливает знаковость.

Аудитория не может без вождя, как и вождь — без своей аудитории. «Вождь без масс — ничто, фикция», — пишет Ханна Арендт [10, с. 31]. Поэтому вождь — это, во многом, коммуникативное понятие, образующее элементарную цепочку: вождь — сообщение — массы. *Вождь может разрешать запрещенное и запрещать разрешенное*, ибо тексты вождя всегда перформативны. «Наше дело правое, мы победим!». Вождь движется в ином пространстве дискурса. Он не интерпретатор, он создатель. Вождь направляет все новые и новые информационные потоки, которые призваны синхронизовать действительность вокруг него. У вождя есть чисто семиотическое право — назначать «врагов» или «друзей».

Массы могут только повторять хором: «Кибернетика — продажная девка империализма!». Массы получают удовольствие от повтора. Еще большее удовольствие доставляет им невербальный повтор вербального текста. «На Красной площади состоится парад и демонстрация трудящихся». Этот апофеоз социализма распределяет безмолвные роли между всеми участниками, включая вождей. Невербальная роль явно торжественней, поскольку в ней главенствует симметрия. Вожди на трибуне: с одной стороны — гражданские, с другой — военные. Трудящиеся внизу шествуют в колоннах. Сначала парад, потом демонстрация. Разница этих двух событий в форме участников и в степси безмолвия. Военные еще более безмолвны, чем штатские. В лучшем случае за военных говорит шум военной техники. Их коммуникация

заключена в дополнительной знаковости — в виде формы, погон, оружия. Демонстрация пытается повторить шаг военных колонн, но не может. Ее участники отличаются слишком большим разнообразием, даже по возрасту и полу. Цветы и дети нарушают симметрию, поскольку вызывают у окружающих неконтролируемые симпатии. Лицемерие парада контролируемо столь же четко, как и сам парад. Именно поэтому его так полюбил император Павел. Власть не любит того, что может порождать неоднозначную интерпретацию. Поэтому власть опасается литературы. Только сделав из нее производство, назвав писателей «инженерами человеческих душ», можно получить полностью контролируемый процесс. При этом не надо обижаться на Сталина за такое обозначение, Хрущев-то вообще назвал «автоматчиками», а в целом вполне могли назвать и «бухгалтерами человеческих душ» или «танкистами человеческих душ».

У вождя нет ни жены, ни детей. Его жены и дети — весь народ. Первым попытался нарушить эту ситуацию М. Горбачев, народ не простил ему этой измены. «Изменщик» был с позором изгнан. О вожде принципиально отсутствовала личностная информация, тем самым поток «говoreния» сужался до микроскопических доз. Исключением был только В.И. Ленин. О нем было слишком много информации, но информации ненастоящей. Однако отбор этой информации был столь сложным, что превращал ее в символическую.

Нина Тумаркин так характеризует феномен распространения сведений о Ленине среди детей:

«После смерти Ленина организаторы его культа все большее значение придавали распространению ленинизма среди детей. Цель была двойной: истории о детстве Ленина должны были дать советской детворе совершенный образец: энергичного, прилежного мальчика Володю, который никогда не забывал о своем долге перед народом; а идеализированный Ильич — названный по отчеству, чтобы сделать его ближе и доступнее — служил олицетворением режима в образе улыбчивого добряка, который спасал Россию и любил детей. Ожидалось, что дети, воспитанные Ленинианой, вырастут лояльными советскими гражданами, а их юношеская любовь к Ленину в зрелости обратится в преданность советской власти. Далее, Дедушка Ильич представлял собой

идеальную модель, на основе которой дети могли критически оценивать своих родителей — создавался таким образом противовес вредному влиянию домашних» [179, с. 203].

В России за время ее истории сложился четкий феномен — все беды народные оттуда — с Запада. Если Петра Первого, как считало массовое сознание, просто заменили, после чего он начал «творить» свои реформы, то Горбачев стал говорить про свои реформы также после контакта с Западом. Горбачев в этом смысле является «вырождением» вождя, поскольку становится говорящим вождем. *Наши вожди никогда не говорили*. В. Щербицкий мог выступать и без бумажки, но на людях он всегда выступал с бумажкой, чтобы не отличаться от принятых на советском Олимпе норм.

Вождь — не трибун и говорить не умеет. В этом он близок массе. Вождь является частичкой массы, только на своем уровне, называемом «член политбюро», даже соответствующая машина получает индивидуальное название «членовоз». Вождь — всегда верный ленинец или сталинец. Это значит, что его тексты уже произнесены за него другими. Существует главный и единственно верный текст — Унитекст, но он всегда в прошлом, он уже написан. Необходимо только правильно понять его и тогда все станет на свои места. Это толкование не могут делать все кому не лень. Унитекст могут толковать только те, кому это поручено вождями.

Вождь — частичка массы под названием «члены политбюро». При расставании друг с другом вожди плачут и целуются. Не меньшее счастье охватывает их при встрече. Вождь не мыслит себя вне круга своих соратников. Любая поездка, даже на отдых, — это трагедия для вождя. И в этом есть сермяжная правда, ибо Хрущева, к примеру, удается снять именно во время отпуска. Вождь в отпуске (как и вождь в плавках) теряет частичку своего величия, и его уже можно попытаться снять более молодым вождям.

Вождь красив сам собой, но красотой неземного порядка. У него сухая рука и оспины Сталина, лысина — Хрущева, космические брови Брежнева, родимое пятно Горбачева. Вождь не хочет быть чужим для своего народа. Английская королева — символ нации, вождь — символ

массы. Он не должен ни обгонять ее, ни запаздывать по отношению к ней. Население любит, когда вождь становится простым как правда. В этом была беспроницаемость позиции Б. Ельцина, который должен был моделировать новый (несоветский) тип приближения к простому народу. Советские вожди были выходцами из народа, но потом они постепенно теряли свои связи с ним. Вхождение Ельцина в народ строилось на восстановлении этих потерянных связей. Отсюда обычная районная поликлиника, поездки в транспорте, хождения в магазины. Ельцина заставляли повторять простые действия, что в советском контексте вызывало шокирующий эффект.

Вождь в чем-то повторяет (или даже пародирует) роль нищего. У него нет денег. Он даже не знает, как они выглядят. У него нет времени на отдых, он все время в труде. У него нет своей собственности: все вокруг него государственное. Даже его личное время охраняется телохранителями (в иной интерпретации — тюремщиками). Вождь, имея с позиции массы все, не имеет ничего с его собственных позиций. Вождь-аскет «очищается» от всего человеческого. Этим объясняется специфическое восприятие скандала Клинтон—Левински в постсоветской аудитории.

Вождь вечен. Даже когда его избирают, знание об этом приходит постфактум. Он в тот период уже вождь, и сам слушает радиосообщение о своем избрании. Когда вождь умирает, он делает это скрытно от всех, поскольку это нарушение всех законов, сравнивающее его с простыми смертными. Мертвый Брежнев оставался вождем еще некоторое время, доказывая несущественность для подлинного вождя обыденного бренного существования. Рассказы о маленьком Володе Ульянове призваны продемонстрировать зачатки вождя с детства (точно так же функционируют рассказы об А. Линкольне в другом контексте). Это нечто вроде выбора Далай Ламы из тысяч мальчиков.

Вождь, выступающий с больничной койки, отнюдь не наше изобретение. Берем 1945 г.: «Иден, лежа в постели в Биндертоне, 27 июня произнес по радио свою предвыборную речь. То было его единственное выступление во время этих выборов» [178, с. 254]. Вождей советского времени достаточ-

но часто водили под руки, но этот чисто материальный аспект несколько не влиял на их значимость. Все эти примеры говорят о том, что материальность как характеристика слабее системности. Вспомним у де Соссюра, когда что угодно может заменить одну из шахматных фигур. Вождь — фигура метауровня, те или иные его реализации не могут его «испортить». Исполнение не может испортить нотной записи.

Отсюда следует и истинность вождя: поскольку вождь вечен, он не может ошибаться. Все, что он говорит, верно. Те, кто ближе к вождю, могут рассказывать другим об увиденном и услышанном от вождя. «Горбачев был больше, чем я, вхож к высшему руководству (Кулакову, Суслову, Брежневу) и часто полунамеками подчеркивал свою информированность. Если делился какими-либо наблюдениями сугубо деликатного свойства, то даже критика в его устах оставалась лояльной» [48, с. 11].

Основная линия вождя — это уход в вечность. Он уходит в вечность и своим происхождением как верный ленинец (сталинец). Он уходит в вечность и путем своей смерти. Мавзолей — символ вечности и символ могил предков. По славянской традиции необходимо оказывать предкам почести, поэтому мавзолей выполняет множество функций.

Власть рассказывает о дне сегодняшнем, но повествует о будущем. Типичное газетное сообщение после первого ковша экскаватора: «Здесь будет самая большая в Европе ...». Сергей Зимовец пишет:

«Гермин машина у Делеза и Гваттари не носит узкотехнического смысла и определяется ими в качестве ряда повторяемых, конечных аналитических операций, некоего универсального производящего схематизма, работающего не только в механических, но и в экономических, психических, социальных и т.п. порядках <...> Машина желания ... функционирует наоборот, не от посылок к следствию, а от следствия к посылкам. Тем самым то, чего еще нет, уже есть, потому что должно быть. Так в “отсутствии” и “желание” проникает “должное”» [67, с. 84—86].

Вождь является по своему происхождению «бастардом» (мы не знаем, где он родился, кто его родители), он сын страны, но далее ситуация ухудшается тем, что возникает

Эдипов комплекс, ибо он женится на стране. Судьба Ленина и Сталина становится мучительной.

Каждый генсек как бы получал с мундира Сталина пуговицу, которая олицетворяет власть в ее неизменном виде, в страхе и ужасе. Вождь, чтобы быть вождем, должен время от времени прикасаться к этой пуговице, и тогда у самого демократического из генсеков появится и Тбилиси, и Вильнюс. Вождь — источник монолога. Он не терпит непослушания ни в словах, ни в делах. Более того, он настолько отдален, что даже слово снизу просто не сможет долететь до него.

Вождь действует только в рамках мифологических (сказочных) схем. Он может быть Иванушкой-дурачком (Буратино), который движется сквозь сонм обманщиков. Так выигрывает свои первые выборы Борис Ельцин. Вторые выборы он проходит уже под знаком царя-отца. Поэтому у вождя не бывает выбора. Его движения предопределены и заданы. Проигрыш Горбачева, как и проигрыш Кравчука, происходит вне их желания и возможностей исправить ситуацию.

Вожди размножаются «вегетативным способом». Положение руки одного из вождей на вождя будущего создает преемственность власти. Руки вождей при этом часто настолько безвольны, что необходимы свидетели этого наложения, доказывающие нам, что так оно и было. Очень характерным было полное отсутствие дискурсов, оправдывавших тот или иной выбор. Когда они появлялись, как в достаточной степени туманные тексты в случае Хрущева, они не отвечали значению факта сменяемости фигуры. Хрущев как единственный переизбранный «государь» (умирающий не на посту), начинает идеализироваться сегодня, в отличие от всех остальных. Подобным образом при жизни идеализировался Ю. Андропов, который, вероятно, понимал необходимость эквивалентного признания не только в «публичной», но и в «частной сфере». Брежнев полностью загубил свой статус как в «частной» (породив наибольшее количество анекдотов), так и в «публичной сфере».

Вожди любят охоту. Это настолько существенный признак, что он не миновал ни одного из них. Иногда они охотятся на людей, иногда на зверей. Людей при этом они также называют зверьми. На охоте у вождей просыпается

чувство гордости за себя. Завалив кабана, они лучше переносят заседания и выступления. Возможно, так они компенсируют желание «завалить» кого-то из оппонентов.

Вожди любят выступать перед управляемой аудиторией. Реально им не хочется выступать, поскольку они не умеют говорить, но им нравится, как их *слушают*. Выступление вождя на самом деле *не выступление, а слушание его слов другими*. Поэтому вожди не могут лишиться других возможности проявить любовь к ним. Они позволяют нам взрываться «бурными и продолжительными аплодисментами».

Как видим, вождь в сущности своей коммуникативен. Он порождается на пересечении ряда коммуникативных плоскостей. Он спокойно переходит из одной в другую, поскольку является безмолвным существом (т.е. не умеет говорить). Говорение всегда опасно для будущего вождя, поскольку можно сказать не то. Феномен говорения безмолвного парадоксален. Молчание — это стратегия минимизации риска. Когда обстоятельства принуждают вождя говорить, он произносит текст, написанный кем-то другим. Это усиливает его потенциал безмолвия.

Значимость слова вождя из-за его молчания столь велика, что, произнесенное, оно сразу «размножается» во всех видах СМИ и затем воплощается в его собрание сочинений. Вожди советского периода издавали продолжающиеся собрания сочинений. Их речи записывались на пластинки. В моменты съездов речи генсеков должны были слушать все, для чего телевизоры устанавливались в холлах университетов и общежитий.

Вождь старается продлить свой рост, *удлинить свой образ* усами, бородой или бровями. Это необходимо для последующего запечатления образа на денежных единицах. Если вождь не достигает уровня изображения на денежных знаках, значит он не вполне еще вождь, а только куколка вождя.

Вожди знают имена только друг друга. Каждый встреченный им человек рассматривается только в плоскости вождь/не-вождь. Поэтому вожди любят собираться на саммиты, общаясь с себе подобными. В своей родной стране им уже не с кем и словом обменяться. Пребывание вождя на фоне Клинтона и Коля поднимает его статус внутри

страны. Первые президенты стран СНГ испытывали нечеловеческую радость, получив возможность позвонить по телефону президенту США или приехать выпить чаю с английской королевой.

Власть контролирует не только ресурсы материальные (металл, зерно, с одной стороны, и квартиры, путевки, с другой). Власть хочет контролировать *ресурсы сопротивления* ей. Власть вообще являет собой странный феномен: она не столько любит тех, кто ее любит, сколько ненавидит тех, кто ее не любит. По этой причине деятельность КГБ была сконцентрирована в основном на контроле вербальных потоков (как в частной, так и публичной сфере). Когда сегодня от его преемников требуется контроль уже не текста, а поступка, это не удастся сделать, поскольку запущенная машина была в основном филологического свойства. Власть контролирует то, где есть ресурс сопротивления. С этой точки зрения производство втулок было менее интересным для власти, чем «производство» романов. Но сегодняшняя ситуация иная, произошла смена значимости — *на первое место вышли невербальные тексты*, которые никто не умеет контролировать с той же виртуозностью. Отсюда теневая экономика, отсюда «тексты» шахтерских забастовок, способные действовать сильнее статей в СМИ.

Власть была семиотической по существу, поэтому контролировала семиотические точки — по Умберто Эко это места возникновения и порождения лжи [230]. Кризис власти затрагивает в первую очередь *зоны контроля*. Потеря их распространяется сразу на власть. Для вербальной власти самое страшное — это ее критика. Сегодняшняя власть ушла от контроля вербальности, поэтому любые разоблачительные статьи в прессе имеют нулевой эффект. Можно сколько угодно писать о «Паше-мерседесе», но это уже не имеет значения. Вождь принадлежит сфере действия, вербальную интерпретацию своих действий он оставляет подчиненным.

Семиотичность власти состоит в том, что основной своей задачей в «публичной сфере» она считает *дискурсы легитимности*. Власть все время ощущает определенную антипатию со стороны населения. Поэтому основной заботой и главным отделом в ЦК в прошлом была отнюдь не эконо-

мика, а идеология и пропаганда, то есть порождение дискурсов легитимности. В целях легитимизации все первые (иногда — вторые) секретари ЦК в постсоветское время переименовали себя в президентов.

Власть для поддержания легитимности вводит *усиленную иерархию*. Пример — вариант России, описанный Гоголем. Когда «чих» начальника приравнен к реальному «выстрелу» по подчиненному. Подобная иерархичность сохраняется и сегодня в армии (ритуал единоначалия, присяги и т.д.). Гоголя вообще можно причислить к первым семиотикам. Его «мертвая душа» — это нулевой знак, к открытию которого семиотика приходит намного позднее. Чем ты ближе приближаешься к вождю, тем сильнее проявляется иерархия. На периферии же она незначима и расплывается. Иерархия функционирует как легитимизирующий сам себя механизм. Система «ты — начальник, я дурак» определяет потоки информации. В результате порождается определенная асимметрия коммуникации: на верх иерархии идет преимущественно позитивная информация, в низ — иная. Лесть — это всего лишь микрочайка подобной иерархической системы.

Дискурсы легитимности отражаются на *стратегиях инновации*. Власть для самосохранения, как считает А. Гладыш (А. Игнатьев), отдает в этом поле первый ход другому, за собой оставляя контроль за принятием/непринятием.

«В “норме”, в условиях стабильной “системы власти” и эффективного политического режима, “правила игры” контролирует правящая элита, тогда как привилегия “первого хода”, инициатива действия, направленного на изменение этих правил, принадлежит так называемой “массе” — конкретным лицам (“я”) или же группам и сообществам (“мы”) с более низким социальным статусом, чья “инициатива снизу”, либо получает признание (с соответствующими изменениями в нормах права или механизмах принятия решений), либо блокируется различными контрмерами (в том числе пропагандистскими), либо, наконец, подавляется средствами репрессивного аппарата» [54, с. 155].

В случае кризисных явлений право «первого хода» переходит к властям, а население контролирует «правила игры», имея возможность не реагировать, сопротивляться привнесенным изменениям.

В нормальной ситуации действует закон эквивалентности: вербального и невербального миров: значимость невербального события повторяется в значимости его вербального освещения.

Молчащий вождь мог контролировать других тоже только *режимом молчания*, расцвет цензуры и самоцензуры очень характерен для советского периода. Гранинские «зубры» были таковыми, только если они не касались сфер легитимности власти. С. Зимовец описывает один из случаев такого контроля:

«Основной задачей властной стратегии по отношению к голосу является задача “герасимизации” носителя голоса. Она достигается двумя путями: 1) заставить замолчать выступающего коллективным шумом, превышающим силу микрофонного голоса (крики, топот ног, хлопки), или просто отключением микрофона; 2) делегированием частного голоса лидеру команды» [67, с. 23].

Ирина Паперно описывает шестидесятые годы XIX века словами, которые мы можем перенести на век двадцатый. «В культурной мифологии “шестидесятые годы” фигурируют как поворотное, или новое время в русской культуре». Или: «С точки зрения историков, шестидесятые годы были эпохой быстрого роста социальных институтов общественного мнения, годы развития университетов и подъема журналистики» [133, с. 11]. Однако есть одно важное отличие — наши годы действовали в основном в «частной сфере», те годы затронули и «публичную сферу». Поэтому «наши шестидесятники» породили кухонную коммуникацию, хотя именно она в конечном счете (или в качестве одного из компонентов) приводит к радикальным изменениям позднее.

Ф. Фукуяма видел одну из причин смены советского строя в отсутствии легитимности у его руководителей. Такие руководители (в том числе и греческие полковники или чилийские генералы) рано или поздно уступают общественному мнению и уходят [237]. Безмолвному вождю трудно доказать свою легитимность, в этом парадоксе советского периода и была заложена его ахиллесова пята.

СТАЛИН КАК СЕМИОТИК-ПРАКТИК, ИЛИ СЕМИОТИКА ОТКРЫТЫХ/ЗАКРЫТЫХ ОБЩЕСТВ

Объявлены три премии на лучший проект памятника Пушкину. Третью премию получил проект — Сталин читает Пушкина.

— Эта верна истарычески, — сказал Сталин, — но не верна палытчески. Где генэральная лыния?

Вторую премию получил проект — Пушкин читает Сталина.

— Эта верна палытчески, но не верна истарычески. Ва врэмя Пушкина таварищ Сталин ешо не писал кныг.

Первую премию получил проект — Сталин читает Сталина (анекдот)

Одной из причин гибели Советского Союза явилось яростное неприятие **инога** — принципиальный запрет на порождение и функционирование точки зрения, отличной от официальной. Как оказалось, тоталитарная система могла благополучно существовать лишь в системе **жестко контролируемой** передачи информации. **Открытое/закрытое** общества различимы именно по степени подобного контроля, поскольку он существует и в том, и в другом случае. Общество всегда контролирует **форму** коммуникации, нормируя определенные фонетические, грамматические, этические закономерности. И это имеет чисто практическое значение: при отсутствии **разрешенности/запрещенности** определенных форм подсистемы языка (грамматические, фонетические) изменялись бы в рамках жизни носителя языка по несколько раз. При подобном контроле формы носитель языка ощущает, что он принципиально говорит на том же языке, что и предшествующее и последующее поколения. Вероятно, в глобальном смысле того же хочет достигнуть и Власть, только она, в свою очередь, контролирует не форму, а со-

держание, чтобы продлить свое существование не только в данном, но и в последующем поколениях. Если присмотреться, то можно увидеть некоторую разнонаправленность этих устремлений: стандартный контроль формы, свойственный языковой нормировке, соединял прошлое поколение с настоящим: мы заинтересованы в знаниях предшествующих поколений. Контроль содержания более важной составляющей считает завтрашний день. Таковы в принципе особенности политического дискурса, который более заинтересован в будущих реализациях (Подробнее см.: [255]).

Перед нами не просто семиозис, а контролируемый семиозис, который протекает в двух основных плоскостях:

— **отбор** того или иного содержания (например, когда у *И. Сталина* спросили, можно ли в отрицательном контексте употреблять имена *Н. Бухарина* и др. в новом издании Большой Советской энциклопедии, то после двухнедельного раздумья он сказал, что нельзя);

— **внешняя стимуляция** коммуникативных процессов, которая позволяет **ускорять, интенсифицировать** или **замедлять** сами эти процессы. Например, выступления Генерального секретаря ЦК КПСС *Л.И. Брежнева* можно было издать в большом количестве экземпляров, обязать население изучать его, пустить во вторичные коммуникативные процессы в виде обильного цитирования, в ряде других случаев переработать для реализации при помощи других каналов (не только радио, телевидение, газеты, но и книги, грампластинки, иногда в этом ряду может возникнуть кино и театр).

Особенностью тоталитарного общества является усиленный контроль «долговременной» сферы — материализованных передатчиков информации (печать, кино, телевидение). Контроль «кратковременной» (=устной) сферы достигался только в условиях ритуализованного общения (типа собрания, где все говорят то, что следует), либо в условиях, когда при разговоре присутствует некто еще. При этом он отнюдь не обязательно должен быть «стукачом». Фольклор сыронизировал этот процесс в следующем анекдоте, когда двое сидящих в тюрьме рассказывают присутствующим, за что они туда попали: «Я — за то, что рассказал анекдот». — «А я — за то, что слушал этот анекдот, но не донес». Даже

уже при изменении ситуации газета «Известия» (от 4 августа 1994 года) утверждает, что половина бюджета КГБ уходила (и, вероятно, уходит сегодня) именно на прослушивание телефонных разговоров. То есть делалось все, чтобы также проконтролировать и «кратковременную сферу», но здесь всеобщий охват уже невозможен: слишком велик объем разговоров.

Контролируемый семиозис нельзя считать исключением, характерным только для закрытых обществ. Мы везде и всюду находимся в процессе контролируемого семиозиса. К примеру, в семье мы с ребенком и с женой говорим о разных вещах, существует запрет на перенос некоторых тем из одной сферы в другую. Что же делает естественной подобную систему семейного контроля? Вероятно, одним из существенных факторов следует считать **внутренние/внешние источники контроля**. Тоталитарное государство создает массивные источники внешнего контроля, в ряде случаев доводя их до такого совершенства, что эти внешние источники входят в кровь и плоть человека, становясь внутренними.

Для контролируемого семиозиса характерно также отсутствие реальных проверочных механизмов. «Что такое хорошо» и «что такое плохо» определяется исходя из потребностей замкнутой системы, из ее внутренних интересов. Это отдельная сфера — **контроль соответствия реальности** — и здесь также тоталитарное государство достигает совершенства. Но снова-таки мы имеем примеры подобного контроля и во вполне безобидных вариантах. Примером такой **самодостаточности** могут служить тексты литературы, кино и в целом того, что носит название **fictitious discourse**.

Ведь в реальности этих героев нет, как нет подобных действий, даже более того — они как бы насильственно преувеличены, утрированы для того, чтобы быть объектом литературы. Но соответствие реальности не является в подобной ситуации наиболее важной характеристикой. Более существенна внутренняя мотивированность фиктивного мира, его внутренняя логика важнее логики соответствия реальному миру.

Тоталитарный мир очень активно занят порождением своей **иерархии**. Это мир, обладающий своими собственными гениями, своими истинами, своей ложью. *М. Фуко* писал, что все общества имеют свои собственные режимы правды и режимы лжи. Для этого и нужно создавать своих собственных оракулов, отвечающих за то, чтобы нужное слово всегда было правдивым. При этом сама правдивость носит достаточно системный характер, практически очень трудно к чему-либо придаться, найти внутренние несоответствия, поскольку информация уже отобрана и просеяна до тебя. Все это оказывается возможным из-за порождения всей информации из единого источника. Тоталитарное общество и отличается **единством и монологизмом**. Это единство контролируется и прослеживается от значения слова в словаре до появления текста. То есть отклонению в принципе неоткуда взяться. И это очень эффективный практически осуществленный способ: все «вольномудцы» опирались либо на старые книги (дореволюционного или сразу же после 1917 года издания), либо на зарубежные издания. Выход на подобные иноисточники **системно** контролировался государством. Нормой было существование в библиотеках «спецхранов», куда попадали книги, позволяющие породить альтернативную точку зрения.

В целом же следует еще раз подчеркнуть, что элементы закрытого общества в виде **контролируемого семиозиса** встречаются нам и в литературном произведении, и в семье, и в любой организации, где каждый раз контролируется что-то иное. В весьма симптоматичной карикатуре (времен бывшей Югославии) после слов: «хватит рассказывать анекдоты о правительстве, давайте я расскажу вам о нашем начальстве», слушатели в испуге разбегаются.

Какие дополнительные характеристики контролируемого семиозиса мы можем перечислить?

1. Контролируется отнюдь не все тематические сферы. Более подвержены контролю **описания и самоописания иерархий**. Тотальный контроль сразу нарушит информационные и даже энергетические возможности системы, хотя такой контроль и может стоять перед нею в качестве цели.

2. Контролируемый семиозис состоит не только в запрете на отрицательную информацию по поводу иерархий. **Более важно порождение желательной положительной информации.** Легко наложить запрет, гораздо сложнее создавать положительные полотна, ведь они должны быть не только естественны (это отдельная тема), но и достаточно системны.

3. Особому вниманию подлежат **профессионалы символизаций** (писатели, ученые, журналисты, деятели искусства). Общество максимально контролирует процесс их подготовки, инициаций (типа защиты диссертаций, поступления в Союз писателей) и их деятельность.

4. Соответственно, невозможно усомниться в авторитете **профессионалов правды**, в роли которых выступают представители репрессивных органов, которые в конечном счете и определяют, что есть правда, а что ложь.

5. Общество жестко контролирует долговременные проводники, одновременно пытаясь ввести элементы контроля в кратковременные формы коммуникации.

6. Пресс контролируемого семиозиса в результате вырабатывает у каждого не только единство реакций, но даже единство ассоциаций, поскольку все общество насыщается едиными текстами, издаваемыми «самыми большими в мире» тиражами.

7. Тоталитарное общество контролирует не только режимы правды и лжи, но также и режимы **молчания и умалчивания**. Как писал с весьма тонкими намеками *Е. Тарле*, «Наполеон не желал даже позволить газете **молчать** о том, что она не могла или не хотела говорить» [166, с. 31].

Ю.М. Лотман справедливо замечал, что общество в принципе должно быть заинтересовано в различных индивидах, поскольку оно живет в условиях неопределенности и ему требуется выработка не одного, а разнообразных решений. Но это теоретически. Практически же тоталитарное общество все свои усилия направляет на то, чтобы выработать **единого человека**. И в глобальном смысле это с его точки зрения вполне разумно. Если бы это удалось сделать, то тогда обществу бы требовалось гораздо меньше энергии, необходимой для поддержания согласия. Если в довоенное

время для этого требовались чистки, расстрелы, то есть репрессивное начало носило массовый характер, ведь человек-то был еще из прошлого мира, семиотически иного, то в послевоенное время наказание становилось избирательным и показательным. В результате и удалось достигнуть очень важной характеристики тоталитарного общества: в нем вербальный мир оказывается важнее мира реального. Любые характеристики реального мира не имеют никакого значения, если они в результате не попадают в мир вербальный. Жесткость контроля на передачу ненужной с точки зрения этой системы информации позволяла изоциренно строить вербальный мир. «Мы наш, мы новый мир построим», — поется в известной песне. Но речь при этом идет о строительстве мира вербального, в чем-то сродни песенному. Конечно, можно подтягивать реальность под текст песен, но это отнюдь не обязательно. Главное — в песнях все должно быть правильно. Отсюда такая мощная песенная мифология, заполнившая экраны и массовые действия. Все сегодняшние «эсэндэвские» общие ассоциации — преимущественно песенные. Современные праздники поэтому выглядят бедными, для них еще не «наросли» новые песни. Песенная мифология — **оптимистична**. Поэтому тоталитарное общество — это общество оптимистов. Путем упрощения ситуации оно делало ее простой, понятной и, следовательно, оптимистичной. Единая точка зрения, в принципе, может быть либо оптимистической, либо пессимистической. Естественно, была избрана первая интерпретация.

Процесс контролируемого семиозиса управляет всеми сферами. При его помощи удавалось приподнимать и героизировать те или иные профессии (ср. любовь к летчикам в 30-е годы, они же стали первыми Героями Советского Союза). Особая значимость придается нужным социальным перемещениям — кинофильмы (то есть **управляемая фиктивная реальность**) заполнены рабочими, выходцами из села, шахтерскими рекордами, военной выправкой и т.п. То есть **иерархия** (символическое перераспределение уже имеющегося) вносилась во все сферы социальной жизни. «Что такое хорошо» и «что такое плохо» маркировалось введением новых знаков. Мир за пределами СССР маркировался

как враждебный. Это позволяло оправдывать неуспехи внутри СССР введением категории **врага**, не менее важной в сталинской мифологии, чем категория **героя**. Для героя необходим враг, как и для врага герой. Герой и враг — это персонажи чисто знаковой действительности, поскольку это два полюса, между которыми и протекает реальная жизнь. Прямо пропорциональная зависимость между ними отражалась в росте: чем больше героев рождала страна, тем больше врагов ей требовалось. Герой — это элемент риторики победы, и она раскрывалась во всем великолепии социализмом. Враг — это риторика предательства, и на него тоже падало вдохновение профессионалов символизма (подробнее см.: [147]).

Каким же образом в конкретном случае СССР удалось достичь столь благоприятных для тоталитарной системы результатов? Утрируя, мы можем назвать *И. Сталина* семиотиком-практиком (хотя, как известно, у него были работы по языкознанию), поскольку большие усилия руководимого им общества были направлены именно на контроль **вербального мира**. Энергетически это понятно: реальный мир для своих изменений требует гораздо больших затрат. Вербальный же мир поддается изменениям легче, и затрат требуется меньше.

И. Сталин в принципе моделировал себя чисто семиотически как **Ленин сегодня**. Он вставлял себя в уже наработанную пропагандой символизацию. Соответственно, любая идеализация образа *В. Ленина* была для него выгодной, поскольку косвенно приподнимала и его самого. Человек вообще заинтересован в отнесении себя к какой-то системной точке: сегодня это, к примеру, выливается в любви к астрологии, когда мы активно интересуемся, кто я, ты, он по гороскопу — рак, скорпион, близнец и т.п. Это стремление поместить себя в шаблон с другими (ср. частое выравнивание поведения по признаку пола: «мы, мужчины...» или «разве девочки так поступают?»). Чисто биологически это выгодная стратегия, позволяющая быть таким, как все, как требуется. Даже панк, к примеру, живущий на отрицании правил, все равно ощущает себя частицей целого, которое просто живет по другим схемам, по анти-правилам.

И. Сталин хотел быть и был **Лениным** сегодня. Кто этому не верил, уничтожался, либо прятался в молчании. То есть *И. Сталин* мог **менять контекст, не трогая сам текст**. В результате трансформации контекста его текст стал соответствовать необходимым требованиям.

Образ *В. Ленина* (но всегда одновременно с собой) *И. Сталин* возвышал достаточно простыми способами. В речи перед кремлевскими курсантами 28 января 1924 года он говорил:

«Только Ленин умел писать о самых запутанных вещах так просто и ясно, сжато и смело — когда каждая фраза не говорит, а стреляет. Это простое и смелое письмо еще больше укрепило меня в том, что мы имеем в лице Ленина горного орла нашей партии. Не могу себе простить, что это письмо Ленина, как и многие другие письма, по привычке старого подпольщика, я предал сожжению» [163, с. 23].

В этом отрывке вводится три существенные информации: простота *В. Ленина*, его символизация в виде «горного орла нашей партии» и одновременно реальное отсутствие упомянутого письма, которое пытаются спасти дополнительной аргументацией («по привычке старого подпольщика»).

Даже нарушение символизации облика великого все равно реинтерпретируется как великость, только для этого создается новая схема. *И. Сталин* говорит в той же речи:

«Принято, что “великий человек” обычно должен запаздывать на собрания с тем, чтобы члены собрания с замиранием сердца ждали его появления, причем перед появлением великого человека члены собрания предупреждают: “тсс... тише... он идет”. Эта обрядность казалась мне не лишней, ибо она импонирует, внушает уважение. Каково же было мое разочарование, когда я узнал, что Ленин явился на собрание раньше делегатов и, забившись где-то в углу, попростецки ведет беседу, самую обыкновенную беседу с самыми обыкновенными делегатами конференции. Не скрою, что это показалось мне тогда некоторым нарушением некоторых необходимых правил» [163, с. 24].

Последнее предложение очень важно, ибо оно подчеркивает прекрасное знание *И. Сталиным* правил символизации великого. Интересно, что практически все характеристики

В. Ленина, которые в дальнейшем на протяжении семидесяти лет использовала пропаганда, уже заложены в этой речи (их в ней даже больше!). Да и сама идея переноса «X — это Y сегодня» была запущена *И. Сталиным* в его брошюре «Об основах ленинизма», изданной в апреле 1924 года. «Что же такое в конце концов ленинизм? — спрашивает *И. Сталин* и сам отвечает: — Ленинизм есть марксизм эпохи империализма и пролетарской революции» [160, с. 74]. Причем в этой работе *И. Сталин* громит всего лишь несколько отличающееся определение *А. Зиновьева* «Ленинизм есть марксизм эпохи империалистических войн и мировой революции, непосредственно начавшейся в стране, где преобладает крестьянство» [160, с. 10].

Наиважнейшее средство тоталитарного государства — единый источник иерархической коммуникации — также идет из того времени. В речи на II съезде Советов «По поводу смерти Ленина» (26 января 1924 года) вторым по значимости стало следующее высказывание: «Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам хранить единство нашей партии как зеницу ока. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним и эту заповедь» [163, с. 18]. Защита единой схемы иерархии была самым важным звеном тоталитаризма, отбивались любые покушения на него, что было реализовано с самого начала и не было исключением более позднего периода. *И. Сталин* четко говорит об этом в своей речи на съезде:

«Вопрос, поставленный тов. Зиновьевым, об организации в Ленинграде специального журнала под названием “Большевик” с редакцией в составе тт. Зиновьева, Сафарова, Вардина, Саркиса и Тарханова. Мы не согласились с этим, заявив, что такой журнал, параллельный московскому “Большевику”, неминуемо превратится в орган группы, во фракционный орган оппозиции, что такой шаг опасен и подорвет единство партии. Иначе говоря, мы запретили выход журнала. Теперь нас хотят запугать словом “запрещение”. Но это пустяки, товарищи. Мы не либералы. Для нас интересы партии выше формального демократизма. Да, мы запретили выход фракционного органа и подобные вещи будем и впредь запрещать (Голоса: “Правильно! Ясно!”. Бурные аплодисменты)» [160, с. 421].

Жесткая иерархия выгодна верхнему эшелону, который в любом случае сохраняет возможность для маневра, и она же убийственна для нижестоящих. При этом подобный подход полностью соответствует парадигмам отечественной (православной) риторики, где защищен авторитет старшего, общественные интересы стоят выше индивидуальных, особая роль придается категориям гармонии, кротости, смирения, миролюбия, негневливости, уравновешенности (см. [123]).

И. Сталин принципиально мыслит идеализациями, то есть семиотическими сущностями. В результате замкнутости его на вербальный мир он принимает решения, которые оказываются губительными для реальности, хотя как семиотические решения они вполне возможны. Приведем некоторые примеры:

- коллективизация, доведенная до крайности;
- переселение народов;
- массовость врагов.

Подтвердить последний чисто семиотический пример можно следующими воспоминаниями академика *Д. С. Лихачева*, который написал:

«Не многие помнят, как в 1936 или 1937 году милиционерам и в приемных учреждениях к посторонним (к проходящим и приходящим) было запрещено обращаться словом “товарищ” и предложено говорить “гражданин”. Милиционеры стали говорить вдруг: “Гражданин, вы нарушает”», или продавец стал говорить за прилавком: “Гражданин, не толпитесь”. А все привыкли к слову “товарищ”. Это был ужас какой-то. День стал темнее. Все попали в число подозреваемых. Так все это и поняли. И слово “гражданин” не привилось, но и от обращения “товарищ” отвыкли» [101, с. 123].

У *И. Сталина* множество параллелей с *Гитлером* и в этой сфере, сфере символизаций. *И. Сталин* столь же подозрительно внимателен к профессионалам символизаций, как и *Гитлер*, который прямо высказывался, что он только временно терпит этих копателей в грязи — журналистов. *Гитлер* говорил о том, как народ хочет видеть своего фюрера, сходное высказывание *И. Сталина* о поведении великих приведено выше. *И. Сталин*, как это принято в иерархичес-

ких коммуникациях, приравнивал свое мнение к единственно верному.

Система, в которой жил *И. Сталин*, была построена как бы по правилам кривого зеркала, часто полностью противореча реальности. *И. Сталин* моделировал аскетизм при чрезмерной роскоши жизни высшего эшелона. Народ должен был моделировать радость при громадной доле горя в реальности. Столь же важным параметром была декларируемая свобода при реализованной несвободе. Часть исследователей приводит при этом аналогию с детским коллективом:

«Прямая взаимосвязь между голосом власти и голосом массы чрезвычайно характерна и для организации детского социума, для которого свойственна управляемость первичного порядка: это коллектив более биологический, чем социальный, коллектив-стая, где есть вожак, враг и где главное занятие — гон и травля» [62, с. 161].

Детский коллектив же с точки зрения семиотической — это коллектив, где роль правильного высказывания, учительская роль закреплена принципиально не за тобой, а за кем-то другим: старшим, воспитателем, учителем. Это как бы функционально разные роли, как роли писателя и читателя, когда они не пересекаются. Сталинский мир и был таким учительским, разрешающе-запрещающим. Как пишет *Б. Гройс*:

«Картина социалистического реализма ориентирована, в первую очередь, не на визуальный эффект, не на передачу “прекрасного в природе”, как традиционный реализм, — в ней как бы неслышно звучат реплики персонажей, читаются их судьбы, даются указания о положительном и отрицательном и т.п. <...> Но для искусственного взгляда, богатство ее содержания не уступает японскому театру “Но”, а для зрителя сталинского времени еще и содержит в себе истинное эстетическое переживание ужаса, ибо неправильная зашифровка или дешифровка могли оказаться равносильными смерти» [57, с. 54—55].

Основной характеристикой семиотизации сталинского времени явилось введение и защита иерархии: без четкого отделения правильных от неправильных все процессы были бы остановлены. *И. Сталин* это очень хорошо понимал. Он писал:

«Характерной чертой этой опасности является неверие во внутренние силы партии; неверие в партийное руководство; стремление государственного аппарата ослабить партийное руководство, освободиться от него; непонимание того, что без партийного руководства не может быть диктатуры пролетариата» [160, с. 291].

Во многом это снова чисто семиотическая характеристика: чем же государственный аппарат отличается от партийного? Ничем, это чистая семиотика. В рамках руководящего ядра была задана дуальность: партийное и государственное руководство от уровня района до уровня страны. И если первые наполовину были заняты семиотической работой (ведь что такое идеология, как не семиотика?!), то вторым приходилось внедрять в жизнь эти оторванные от жизни семиотические указания. Подобный семиотический дуализм выступал в роли дополнительного источника движения: задания практически ставили не те, кому придется их выполнять. Поэтому задания могли оказаться самыми фантастическими. Партийные функционеры вообще часто осуществляли роли семиотиков-практиков: находясь в вербальном мире, они идеологизировали действительность. Их роль в значительной мере была оправданной в первые послереволюционные годы, когда осуществлялся переход от открытого общества к закрытому. Построив же закрытое общество, они сохраняли свои семиотические позиции по традиции, ибо исчезли как класс те, кто мог покушаться на идеологию. Последняя превратилась в ритуал. Ритуализовавшись, она умерла, поскольку существовала уже не как нечто реальное, а как нечто религиозное. Ю. Цивьян справедливо отмечает элементы подобной ритуализации:

«Функционально кадры с Троцким были тем же, чем бывал в те годы портрет вождя на стене — они удостоверяли, что хозяин квартиры лоялен новой власти. Удобство такого портрета в том, что его легко сменить, ничего не меняя в общей планировке дома. Структурное преимущество хроника, вмонтированной в игровой сюжет, того же порядка» [195, с. 100].

И последний важный аспект семиотизации общества, осуществленный *И. Сталиным*. Это национальный вопрос.

В стране многонациональной постепенно формировался мононациональный человек, что в брежневское время привело к возникновению «нового» народа — советского. Это тоже чисто вербальная модель: на первое место выносились характеристики человека, подчеркивающие его принадлежность к новому социалистическому миру, и затушевывались все иные. В докладе на XVI съезде ВКП(б) 27 июня 1930 года *И. Сталин* дал следующую формулу этого процесса: «Расцвет национальных культур (и языков) в период диктатуры пролетариата в одной стране в целях подготовки условий для отмирания и слияния их в одну общую социалистическую культуру (и в один общий язык) в период победы социализма во всем мире» [162, с. 195].

Многоголосие — это война против иерархии. Подобного *И. Сталин* старался не допускать. Он достаточно определенно писал *Л. Кагановичу* в 1926 году:

«Совершенно правильно подчеркивая положительный характер нового движения на Украине за украинскую культуру и общественность, тов. Шумский не видит, однако, темных сторон этого движения. Тов. Шумский не видит, что при слабости коренных коммунистических кадров на Украине это движение, возглавляемое сплошь и рядом некоммунистической интеллигенцией, может принять местами характер борьбы за отчужденность украинской культуры и украинской общественности от культуры и общественности общесоветской, характер борьбы против “Москвы” вообще, против русских вообще, против русской культуры и ее высшего достижения — против ленинизма» [162, с. 173].

Здесь снова вводится иерархия, но уже в культуру, и оказывается, что главным в русской культуре является ленинизм. Одновременно отметим, что сценарий, предсказанный *И. Сталиным*, полностью отражает сегодняшнее развитие событий в постсоветских республиках.

Не следует недооценивать колоссальную работу по семиотизации нового общества, проведенную *И. Сталиным*. Это действительно был очень серьезный процесс, другой вопрос, нужен ли он был вообще. Борьба с инакомыслием, особенно в партийных рядах, пронизывает все партийные съезды и пленумы. Например, доклад *И. Сталина* «Об оппозиции и о внутрипартийном положении» на XV партконференции в

1926 году даже сегодняшнего читателя поражает разработанностью и серьезностью проходящей борьбы. Причем обе противоборствующие стороны пользуются для своей защиты ленинскими цитатами. Доклад заканчивается словами: «Борьба сплотила нашу партию вокруг ее ЦК на основе социалистических перспектив нашего строительства. Конференция должна оформить это сплочение тем, что она, я надеюсь, единогласно примет тезисы, предложенные ей Центральным Комитетом. Я не сомневаюсь, что конференция выполнит это свое дело с честью (Бурные, продолжительные аплодисменты; все делегаты встают; овация)» [164, с. 463].

Интересно, насколько уверенно выстроен этот текст, хотя после *И. Сталина* еще идут выступления и *Л. Троцкого*, и *А. Зиновьева*, и *Л. Каменева*. Но резолюция таки была все равно принята единогласно (вспомним, как тоталитарная система все время гордилась этим «единогласно»). В поддержку *И. Сталина* выступил и *Н. Бухарин*:

«Тов. Зиновьев говорил главным образом относительно того, какая хорошая у них была позиция, и как хорошо Ильич поступил с оппозицией, не выключая всех тогда, когда он имел только два голоса из всех на профессиональном собрании. Ильич дело понимал: ну-ка, исключи всех, когда имеешь два голоса. (Смех) А вот тогда, когда имеешь все, и против себя имеешь два голоса, а эти два голоса кричат о термидоре, — тогда можно и подумать. (Возгласы: «Правильно». Аплодисменты, смех. Сталин с места: “Здорово, Бухарин, здорово. Не говорит, а режет.”)» [39, с. 601].

Как мы видим, роль *Н. Бухарина* как жертвы весьма далека от действительности. Именно эта роль сподвижника и позволила *И. Сталину* говорить на XIV съезде: «Чего, собственно, хотят от Бухарина? Они требуют крови тов. Бухарина. Именно этого требует тов. Зиновьев, заостряя вопрос в заключительном слове на Бухарине. Крови Бухарина требуется? Не дадим вам его крови, так и знайте. (Аплодисменты. Крики: “Правильно!”)» [160, с. 423].

Мы специально приводим и реакцию на слова, хотя, возможно, она не совсем соответствует действительности. Но она не менее страшна, чем сами слова.

Новый мир был построен, хотя *И. Сталин* как художник использовал для своих полотен вместо краски кровь. Этот

новый мир обладал определенной притягательностью как внутри страны, так и за ее пределами. Была построена сложная система символов, опирающаяся на новую идеологическую иерархию. И на вербальном уровне это был очень привлекательный мир. Он выдержал множество испытаний, развалившись только в самое последнее время. При этом, выиграв настоящие войны, он проиграл войну семиотическую, ведь холодная война — это в первую очередь война знаков. Оказалось невозможным удержать общество в принятой системе монологизма, когда современные информационные технологии строятся на системе полилогизма. Ю.М. Лотман вообще считает, что монологические устройства неспособны производить новые сообщения (см.: [111]. См. также [110; 256]). Потеряв свое право на монолог, тоталитарная система потеряла все. В рамках диалогического противостояния она оказалась неконкурентоспособной. Ее вымышленные друзья и враги сразу завели ее в тупик. Семиотика закрытого общества стала саморазрушаться, лишенная внешней поддержки.

СТАЛИН КАК СТРОИТЕЛЬ КОММУНИКАТИВНОГО ДИСКУРСА БЕЗМОЛВИЯ

Из энциклопедии XXI века: «Гитлер — мелкий тиран сталинской эпохи» (анекдот)

Сталин стал вождем, которому уже не нужно было доказывать свою легитимность. В массовом сознании он царствовал настолько мощно, что даже смерть его никак не могла примирить с брэнностью, чисто человеческий характер его существования народные массы не принимали. В стране действительно была массовая тревога, как можно жить дальше без вождя. Даже Л. Троцкий вспоминает о своей первой встрече со Сталиным в Вене в 1913 г. достаточно положительно (особенно для него): «Впечатление от фигуры было смутное, но незаурядное» [175, с. 395].

Сталин четко понимал, как надо строить те или иные дискурсы. О своей первой встрече с Лениным он вспоминал с удивлением, что тот пришел на собрание вовремя. Отсюда можно сделать вывод, что Сталин четко представляет себе, как должны ждать великого человека, сколь символичным может быть это ожидание. В. Бережков приводит слова Ворошилова о себе, лежащие в этой же невербальной плоскости:

«Между прочим, вы нравитесь товарищу Сталину, но он считает, что вы очень уж застенчивы. Советую вам быть понапористей, иначе далеко не уйдете. Сталин это любит, и сейчас в вашей судьбе многое зависит от вас...» [28, с. 56—57].

Даже те или иные индивидуальные характеристики Сталина обрастают символизациями, что говорит не только о символичности его фигуры, но и о недостаточном объеме личностной информации о нем. Так, мы и сегодня достаточно четко можем нарисовать его визуальный облик: китель, усы, трубка. На встрече в Тегеране Рузвельт спросил:

«А где же ваша знаменитая трубка, маршал Сталин, та трубка, которой вы, как говорят, выкуриваете своих врагов?» [28, с. 29].

Сталин сам продумывает пространственную организацию встречи, когда говорит В. Бережкову:

«Здесь, с краю, сяду я. Рузвельта привезут в коляске, пусть он расположится слева от кресла, где будете сидеть вы» [28, с. 27—28].

Вождь — это чисто имиджевая характеристика. Он вбирает в себя все характеристики сразу в самой высшей степени. Это великан среди лилипутов. Соответственно, этот разрыв приводит к тому, что на вожде нельзя разглядеть ни пятнышка, которое бы бросило тень на его репутацию и помыслы. Все прошедшие пред нами в этом столетии «вожди» несли в себе явные признаки харизматического поклонения, в этом случае рациональное понимание любви к вождю возникнет лишь в обоснование уже существующего иррационального поклонения. И Ленин, и Сталин, и Гитлер обладают набором приписываемых им характеристик, кото-

рые не могут быть представлены в обыкновенном человеке. Вождь — это исключение из правил. Интересно и другое, имиджи вождей брежневского круга несли в себе четкие приметы карикатурности. Это были вожди, которым официально преклонялись, но неофициально их отрицали. Это время возникновения «кухонной политики», которая противопоставлялась политике официальной.

Ленин как вождь был представлен системно: и на уровне детства, и на уровне семьи. Он выступал как определенный норматив отсчета. «Я себя под Лениным чищу», — успевали написать все поколения советских поэтов.

Особо интересный материал для этого типа агиографии дает детская литература. Все мы выросли на рассказах В. Бонч-Бруевича «Ленин и дети» или «Рассказах о Чапаеве» А. Кононова. «Общество чистых тарелок» Бонч-Бруевича вообще может рассматриваться как пример ПР работы среди детей. Ради значков и прочих элементов имиджа дети хотят поступить в это общество и бегут с заявлениями к Владимиру Ильичу.

Соответственно отсылает на иные стереотипы А. Кононов. Лишь только появление Чапаева заставляет врагов менять свои планы.

Создатели воображаемых миров периода разрушающегося социализма акцентировали уже совершенно иной набор характеристик человеческого толка, что в обрамлении вождя создавало невиданное ощущение человечности. Этот же набор характеристик затем начал пародироваться в анекдотах. На официальном уровне Ленин оставался тем образом, под которым сидели все поколения советских вождей. А. Мигранян считает Ленина в достаточной степени харизматическим лидером.

«В.И. Ленин, независимо от занимаемой им должности, был народным лидером и обладал личной харизмой в традиционном смысле этого слова. Наиболее ярко плебисцитарно-харизматический характер власти В.И. Ленина проявился на конкретном примере обсуждения условий подписания Брестского мира, когда большинство членов ЦК выступало против, а Ленин, убежденный в правоте своей точки зрения и в том, что народные массы пойдут за

ним, что он выражает их желание и волю, пригрозил, что выйдет из ЦК и обратится непосредственно к партии. Такое поведение идеально соответствует природе плебисцитарно-харизматического лидера. В идеале власть и сила подобных лидеров зависят от влияния их идей, а не от каких-то репрессивных институтов, стоящих за ними и заставляющих массы подчиняться их воле» [122, с. 118].

Сталин не имел необходимого набора человеческих характеристик, запущенных в массовое сознание. В контексте его жизни эти характеристики не имели смысла, поскольку этот контекст требовал портрета сурового лидера, а человеческие черты могли его нейтрализовать. А.К. Михальская так описывает риторику Сталина:

«Оставаясь внешне риторикой борьбы, тем не менее демонстрирует, как и индивидуальный речевой стиль Сталина, так и то, что борьба для него закончена: он абсолютный иерарх и учитель, он обладатель речи и истины, и выше нет никого. Отсюда спокойствие и даже умиротворяющее воздействие его речей. В конце своей жизни Сталин доходит до абсолютного предела — до полного отказа от публичного слова. Оно уже не нужно: все решено» [124, с. 100].

Нам представляется важной еще одна особенность Сталина. Он моделирует диалогическую структуру речи, реально находясь в монологической ситуации того, кого запрещено опровергать. Как заметила Светлана Аллилуева о другом деятеле эпохи: «Спорить с Берия было никому невозможно» [7, с. 22]. Сталин пытается говорить, подстраиваясь под Ленина, считая себя оратором. Он отвечает на письма. Он занимается и языкознанием, и биологией. Как и в случае Ленина перед нами вроде бы вновь проходит вариант Леонардо да Винчи. И это «вроде» и должно заполняться до предела достоверности с помощью репрессивных мер. Для того чтобы быть «как Ленин», ему пришлось уничтожить всех соратников того периода. И он стал как Ленин. Для того, чтобы стать универсалистом, знатоком биологии-языкознания, ему приходилось вносить атмосферу монолизма в диалогическую ситуацию, тем самым превращая ее в свою противоположность.

При этом А. Михальская несправедливо критикует шутки Сталина как производящие впечатление грубости и примитивности [124, с. 105], забывая при этом, что выступление в массовой аудитории отличается от печатной речи. Когда оратор ощущает, как ему внимает толпа, от этого управления толпой он также расслабляется и порождает те или иные высказывания, которые, возможно, и не сказал бы в иной ситуации. Но наэлектризованная толпа реагирует совсем по-другому: достаточно засмеяться одному, и он увлечет за собой весь зал. Так что примитивность шуток Сталина в этом контексте понятна и оправданна.

Речи Сталина производят впечатление именно «живых» текстов, построенных на апелляции к толпе. Что интересно, некоторые эти отрывки стали расхожими цитатами уже в период развенчивания культа личности. В ряде случаев, особенно это касается завершающих реплик, зал живет единой жизнью со своим оратором. Например:

«Пора понять, что вы не революционеры и интернационалисты, а болтуны от революции и от интернационализма. (А п л о д и с м е н т ы.)

Пора понять, что вы не революционеры дела, а революционеры крикливых фраз и кинематографической ленты. (С м е х; а п л о д и с м е н т ы.)» [161, с. 740].

Очень активно Сталин отсылает к реакции именно смехового характера. Например, на странице 755 встречаются четыре реакции «Смех», то же количество — на стр. 756 стенографического отчета. Типичный пример завершения:

«Что же из этого следует? А то, что у оппозиции, очевидно, уши не в порядке. (С м е х)

Отсюда мой совет: товарищи из оппозиции, лечите своим уши! (Б у р н ы е, п р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы. К о н ф е р е н ц и я, с т о я, п р о в о ж а е т т. С т а л и н а.)» [161, с. 756].

В этот период резко усиливается централизация власти, что отражается на властных характеристиках порождаемой в этот момент риторики. Так, в 1928 г. принимается постановление ЦК, что все публикации должны проходить через контроль партии и государства [77]. Интересную фразу употребил А. Грачев, рецензируя в «Московских новостях» (1996,

№ 18) книгу о Сталине: «Если бы Макиавелли, которого Сталин читал в туруханской ссылке, смог написать в XX веке продолжение своего “Государя”, он, наверное, назвал бы свой труд “генеральный секретарь”»

Особенностью и Сталина, и других лидеров Советского Союза было то, что русский язык не был для них родным. Грузинский, украинский языки, ставропольский диалект приносили в язык вождя ощущение иного контекста. А. Михальская цитирует подобное восприятие речи Гитлера директором Берлинского городского архива: «Он говорил со странным акцентом, словно пришелец с баварских гор. И эта окраска голоса сообщала какую-то горную отдаленность фюрера от привычного, обыденного, словно он обращался из какого-то иного мира, внушала нечто мистическое» [124, с. 136]. Нам представляется, что здесь также вмешивается еще один параметр — перед нами радиоречь. В этом случае мы действительно слушаем по-иному: голос кажется оторванным от его носителя. Этот эффект отсутствует в случае газеты, поскольку там размыты индивидуальные характеристики как самого говорящего, так и контекста произнесения речи. Написанное в скобках «продолжительные аплодисменты» не может сравниться по силе воздействия с реальными аплодисментами.

А. Антонов-Овсеенко четко называет этот срез действительности «Театром Иосифа Сталина». «Кремлевский лицедей постоянно переигрывал, пользуясь одними и теми же штампами — в слове, мимике, жесте, походке, сценический успех у невзыскательной публики был предопределен» [9, с. 13]. Что касается организации перформансов, то, как замечает А. Антонов-Овсеенко: «Сталин в начале 20-х годов создал свою клаку для заседаний пленумов ЦК, партконференций, съездов. Крикуны могли сорвать выступление любого партийного деятеля» [9, с. 19]. Соответственно проводились с элементами театральности показательные судебные процессы, которые затем были перенесены в страны Восточной Европы. «Опыт в организации показательных процессов был накоплен предостаточный, исполнители — сценаристы, режиссеры, актеры — прибыли из Москвы загодя под масками советников, статистов набрали на месте» [9, с. 125].

Театрализация вождя может быть возможной только в подобном же театрализованном контексте. Невозможно появление реальной фигуры в театрализованном контексте, как и театрализованной фигуры в реальном контексте. Поэтому контекст надо было привести в соответствие с театральной ролью вождя. Были воздвигнуты гигантские декорации, полностью закрывшие реальное положение дел.

Литература приняла на себя основной удар, поскольку новостные каналы и так в значительной степени были идеологизированными. Б. Гройс написал: «Как положительные, так и отрицательные персонажи сталинской культуры, таким образом, не принадлежат действительности, в которой они действуют, не связаны с ней системой обычных психологических мотивировок, характерных для действительно реалистической литературы и искусства» [57, с. 60]. Была выстроена стройная мифологическая система, носившая жесткую иерархию (подробнее см. [147]).

Вожди не существуют сами по себе. Вожди создаются массами. Не следует забывать об этой очень важной роли масс. То, что масса нуждается в такой категории, как вождь, можно увидеть из анализа толпы, проведенного Гюставом Лебоном. По поводу «вожаков толпы» он написал: «Обыкновенно вожаки не принадлежат к числу мыслителей — это люди действия. Они не обладают проницательностью, так как проницательность ведет обыкновенно к сомнениям и бездействию» [97, с. 235]. Он также подчеркивает другой тип логики и другой путь убеждения при работе с массовой аудиторией. «Образы, поражающие воображение толпы, всегда бывают простыми и ясными, не сопровождающимися никакими толкованиями, и только иногда к ним присоединяются какие-нибудь чудесные и таинственные факты: великая победа, великое чудо, крупное преступление, великая надежда. Толпе всегда надо представлять вещи в цельных образах, не указывая на их происхождение» [97, с. 194].

В этом плане интересен анализ фигур Сталина, Гитлера, Муссолини, проведенный К. Юнгом. Он пишет:

«Не возникает сомнений в том, что Гитлер принадлежит к категории действительно мистических шаманов. Ничего подобного не приходилось видеть в этом мире со времен

Магомета, — так кто-то отозвался о нем на прошедшем Нюрнбергском съезде партии. В том, что Гитлер поступает, как нам кажется, необъяснимым и странным, алогичным и неразумным образом, проявляется явно мистическая особенность Гитлера. И обратите внимание — даже номенклатура нацистов откровенно мистическая» [213, с. 346].

И результат, к которому приходит Юнг, формулируется в психоаналитических терминах: «Секрет власти Гитлера заключается в том, что его бессознательное содержательнее, чем ваше или мое. Секрет Гитлера двоякий: во-первых, это исключительный случай, когда бессознательное имеет такой доступ к сознанию, и, во-вторых, он представляет бессознательному направлять себя» [213, с. 348]. Кстати, интересный ответ дает Юнг на вопрос: «Что, если Гитлер женится?»: «Он не женится. Не может быть женатого Гитлера, даже если он женится. Он перестанет быть Гитлером. Но невероятно, что он когда-либо решится на это. Меня не удивит, если станет известным, что он всецело пожертвовал своей сексуальной жизнью ради Дела» [213, с. 356].

Неженатым был и Сталин, да и вообще все советские лидеры вплоть до Горбачева «затушевывали» этот аспект своей личности. И. Черепанова видит сближение образов Сталина и Гитлера в *скрытности их мифологических личностей*.

«По мнению тех соратников Сталина, которым удалось остаться в живых — таких, как Хрущев, — Сталин был человеком столь же непостижимым [как и Гитлер — Г.П.], его реакции были непредсказуемы, предугадать, прочесть, по внешнему виду его намерения было невозможно. Оба диктатора стремились скрыть свою истинную индивидуальность, извлекая в то же время максимальные выводы из тех личностных особенностей, какие были им присущи. Успех обоих в политике во многом определялся их способностью так же тщательно скрывать от союзников, как и от противников собственные мысли и намерения. Они не только не обнаруживали своих целей или планов на будущее, но и избегали делать достоянием окружающих свое прошлое» [198, с. 175—176].

Лидер должен быть амбивалентным не только для врагов, но и для друзей. Вероятно, это более эффективная линия поведения, поскольку она позволяет охватывать свои-

ми «сообщениями» гораздо больший круг сторонников, подобно тому, как гадалка сознательно порождает амбивалентные тексты, чтобы увеличить число попаданий.

М. Горбачев, введя естественную человечность в свой имидж, по сути нарушил имиджевые характеристики советского типа лидера и был смещен. А. Мигранян считает, что Горбачев парадоксальным образом выступал в оппозиции к существующей политической системе, в то же время возглавляя ее. То есть имиджевое столкновение наличествует и на этом уровне.

Ю. Афанасьев так определяет имиджевые характеристики советской власти:

«Уравнительская, часто беспощадная крестьянская психология — факт истории, на который советские ученые старались не обращать внимания. Между тем именно эта психология определяла формирование власти. Властную вертикаль укрепляли люди необразованные, серые, с узким кругозором. Исключительную жестокость к своим согражданам трудно объяснить одной только ложной теорией, дело в качестве людей, которые осуществляли депортации, массовые чистки и так далее» («Московские новости», 1997, 2—9 нояб.).

«ЧАПАЙ ДУМАТЬ БУДЕТЬ» — МОДЕЛЬ ГЕРОЯ СТАЛИНСКОГО ВРЕМЕНИ

Папанин пригласил Сталина к себе на дачу. Показал ему фонтан, бассейн, всю роскошь. Потом усадил за стол, угостил, как следует, и спрашивает:

— Ну, как вам понравилась моя дача?

— Все очень хорошо, — ответил Сталин. — Только у входа не хватает вывески «Детский сад» (анекдот)

Героика четко отражает семиотику времени, поскольку ее практически не связывает реальность. Герои ведут во мно-

гом автономное от действительности существование. Героика настолько утрирует нужные для системы черты, что они утрачивают всякую связь с реальными событиями. Наборы героев четко отражают концептуальные наборы действий того времени, поэтому к ним интересно присмотреться.

Павлик Морозов — это не просто время арестов и время доносов. Здесь, как и в любом другом типе героя, центральной является иная черта: победа социального (или даже духовного, если признать за социализмом-коммунизмом вариант религии) над биологическим.

Алексей Стаханов — победа трудовая, человек делает больше, чем даже физически это оказывается возможным.

Зоя Космодемьянская — победа над страхом смерти, то есть вновь победа социального над биологическим.

Александр Матросов — тот же вариант победы ценою собственной смерти.

Задача таких героев состоит в переходе от законов мира биологического к законам мира социального. Теряя биологическую жизнь, они в ответ получают жизнь мифологическую. Общество странным образом получает удовольствие от подобных смертей. Выживаемость общества оказывается зависимой от смертности его героев. У героя нет матери — его мать Родина.

Герои самопорождаются, повторяясь циклически. От Стаханова следуют стахановцы, при этом у последователей еще сильнее стираются индивидуальные характеристики за счет акцента на основном качестве. Цикличность — это в принципе примета времени, поскольку даже все генсеки были верными продолжателями дела великого Ленина. Герой, который является героем сразу во всех сферах войны и мира, — это социалистический бог. Так строится миф Сталина, который и языковед, и физкультурник, и стратег, и русский, и грузин одновременно.

В. Топоров говорит о трансформации главных персонажей как условия сохранения мифа: «Еще одно средство, гарантирующее сохранение информации об «основном» мифе, преодоление времени, — трансформация персонажа «основного» мифа, отчасти зависимая от жанровых особенностей, а отчасти подчиняющаяся иным требованиям — времени,

состояния сознания, культурным реальностям, модам, эстетическим и иным стандартам и т.п. Поэтому каждая традиция, «разыгрываемая» в «основном» мифе, каждая персонификация такой функции и соответствующего места в сюжетной схеме образует целую цепочку образов, которые с известным основанием можно назвать изофункциональными и синонимическими» [172, с. 96—97].

Сталинское время — это в принципе героическое время. Сталинская модель мира — героическая. В этот период нет литературных героев, которые не имели бы прототипов в реальности. Обычный путь создания художественного произведения — это Маресьев/Мересьев. Тоби Кларк отмечает:

«В живописи, романах, фильмах социалистический реализм создал параллельный мир, населенный героями и героинями, которые персонифицировали политические идеалы. Неуставшие рабочие, храбрые солдаты Красной Армии, усердные школьники или преданные партийные активисты, — все они демонстрируют примерное поведение и позиции правильных граждан» [226, р. 87].

Время становилось героическим, поскольку структура бытия несла такое количество «разрывов», которые могли закрыть собой только человеческие жертвы. Героика — это другой вариант языческого принесения жертв. Сложилось ошибочное мнение, что чем больше жертв, тем успешнее идет индустриализация. Стабильное западное общество не имело таких «разрывов» в структуре бытия, и потому не нуждалось в жертвах. Отсюда пресловутая разница в болевом пороге в США и в СССР. Там гибель отдельного человека требует вмешательства государства и сразу приводит в действие социальные институты, здесь тысячные смерти остаются безучастными как верхи, так и низы.

Советская структура бытия неорганизована и хаотична. Выезжая в одну пространственную точку, можно попасть в другую. Это российская модель хаоса, описанная еще Гоголем. «Ревизор» — это модель хаоса, когда появление мини-человека в ином пространстве и времени делают из него фигуру страшной величины — ревизора. В стабильном обществе ревизор не страшен, ибо все идет по закону. Советское время практически не изменило эту систематику,

ибо снова для преодоления хаоса требуется жертвование. Только если герои Гоголя — отрицательны в трактовке школьного учебника литературы, то теперь герои — только положительны. Но модель преодоления разрывов за счет человека сохраняется. Все это говорит о сильной идеализации действительности в обоих случаях. Реальное столкновение с ней омертвляет ее. Чтобы этого не случилось, нужен человек, который (условно) хватается за провода высокого напряжения, доказывая тем самым, что все работает и все выстроено правильно. Он демонстрирует верность избранного пути, даже и ценой своей гибели.

Жизнь героя состоит только из героического. Даже в прошлом, даже в детстве мы видим только поступки-иллюстрации будущих подвигов. Герой с младенчества переполнен правильными поступками. Поэтому их у него хватает и для других, отсюда цикличность, самозарождение последующих поколений героев.

Думающий Чапай — это нарушение нормы сталинского героя, Чапай — герой действующий. Это только в послевоенное время возникают герои думающие, что явилось признаком новых типов дискурсов. Типичный герой — это герой физического, а не интеллектуального типа. Кстати, это общее для всех стран положение. Только Том Клэнси спас Пентагон, введя новый тип американского военного, для которого характерна как физическая, так и интеллектуальная сила.

В массовом сознании закрепляется самое нехарактерное действие героя: «Чапай думать будет». Чапай — не должен думать, он герой действия, его орудие не ручка, а шашка. Все параметры образованности (которые особенно активны уже в послевоенных анекдотах о Чапаеве) по сути мешают данному типу героики. Они заставляли бы его думать там, где надо действовать. Думание приводит к тому, что человек сомневается в принятии решения. При этом для думания у Чапаева есть Фурманов.

Фурманов отнюдь не случайный «параметр» Чапаева. В массовом сознании, сформированным кино, они четко связаны одной пуповиной. Почему? Как показал Отто Ранк в своих исследованиях образа героя в истории человечества,

герой вырастает из близнецов: «героический тип возникает из культа близнецов» [258, р. 92]. Они взаимно дополняют друг друга: Чапаев — импульсивный, необразованный, все время побеждающий врагов, кроме самого последнего случая; Фурманов — правильный, партийный, образованный. Они нужны друг другу, поскольку выполняют разные функции. Кстати, вспомним выросшую до больших масштабов для системного представления истории фигуру брата Ленина. Для всех остальных вождей уже сам Ленин начинает выступать как брат-близнец, поскольку все советские вожди — это продолжатели дела Ленина, верные ленинцы. Естественно, что физическое подобие (типа Ленин = Хрущев) уже не является центральным, важно подобие социальное.

Усиленная героизация, которой проникнуто сталинское время, отражает не только «молодость» страны, не только определенную критичность ситуации (герои нужны в период кризисов, в обыденной жизни у нас нет необходимости в нечеловеческих усилиях), герой является существенной частью сталинской мифологии. Даже психологически лучше руководить страной героев, а не страной предателей. Однако введя координату «врага народа» как частотный элемент времени, ее следовало компенсировать не менее значимой героической составляющей. И любая женщина должна была стремиться стать матерью-героиней с соответствующей наградой, подтверждающей этот ее статус.

Любое негативное событие по этой модели оборачивалось героическим. Наиболее значимым примером является ситуация с «Челюскиным». Поражение стало победой. Соответственно, и любая другая негативная ситуация советского времени интерпретировалась по героической модели. Железнодорожная авария, к примеру, представляла как подвиг железнодорожников, врачей, просто жителей, сдающих кровь для пострадавших. Эта оптимистическая составляющая находится в противоречии с днем сегодняшним. Если в прошлом системой становились приписки, то в сегодняшнем дне системой стали занижения реального положения. Директор завода оказывается в более выигрышном положении, когда он сгущает краски.

Действительность структурируется с помощью границ, которые задаются героизацией. Герой — маркер точек соприкосновения добра и зла. Как правило, зло пытается расширить свое пространство, но этому мешает герой. Герой из-за состязания со злом лишался личной жизни, он мог существовать только как часть борьбы хорошего с плохим.

Герой — это победитель. Борьба с чужими записана в архетипе его поведения. Герой проявляет себя в окружении «врагов». В среде «друзей» герой скрыт, нейтрализуется. Он растворяется в толпе, неотличим в ней. Но стоит измениться ситуации, как герой оказывается впереди. Остальные лишь повторяют апробированные им действия или пользуются его трудами.

Самый популярный советский сказочный герой (хоть и имеющий иноземное происхождение) — это, наверное, Буратино. Мы можем увидеть это хотя бы по числу экранизаций. Буратино — это ситуативный бунтарь. Это революционер, восстающий против эксплуататора Карабаса-Барабаса. У него самое пролетарское происхождение, ведущее начало от бревна. Он даже не хочет учиться. Но в то же самое время «глупый» Буратино обходит всех своих умных современников. Он победитель, живущий по своим правилам. Невыполнение правил чужого мира приводит Буратино к победе.

В постсоветское время герой начинает реализовывать как раз такие варианты антиповедения. Нормальные герои начинают идти в обход. И это тоже возможная модель поведения. Герой сказки становится таким из-за своей оплошности: Красная Шапочка или Ивасик-Телесик попадают в ситуацию героя из-за своей оплошности. Герой постсоветский просто подчиняется течению. Советский герой шел против движения, преодолевал его. С одинаковым рвением он рубил белых и строил узкоколейку, поднимал целину и строил БАМ. Последний тип героя проявляется в столкновении со стихией, которая выступает олицетворением «врага». Отсюда метафоризация многих явлений через «войну» (типа «битвы за урожай»).

У героя нет выбора. В жизни всегда есть место подвигу, и он готов это продемонстрировать. Своей жизнью он задает правила советской агиографии. Более точно можно ска-

зять, что он лишь иллюстрирует (подтверждает) эти правила, поскольку опровергнуть их невозможно. Они сформулированы на уровне, высшем по сравнению с конкретными типами поведения.

Герой призван компенсировать несовершенство системы. Чем более несовершенна система, тем большее число героев ей необходимо породить. Герой — это жертва, которую система, словно первобытный народ, кладет на алтарь своей победы. И победа от этого только очищается.

РЫЦАРЬ VS. СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА

Хрущев посетил свиноферму. Редакция «Правды» обсуждает текст подписи под фотоснимком, который необходимо поместить на первой странице. Отвергаются варианты «Товарищ Хрущев среди свиней» и «Свиньи вокруг товарища Хрущева».

Окончательный вариант подписи: «Третий слева — товарищ Хрущев» (анекдот).

Рассмотрим строительство имиджей в рамках двух разделенных во времени цивилизаций. С одной стороны, возьмем *рыцаря* как основного героя средних веков, с другой, обратимся к *секретарю обкома* — герою не столь отдаленных от нас дней.

Рыцарское время отличалось явным приоритетом визуальности. Это не значит, что вербальный канал был не значим. Наоборот, он функционировал в гораздо более жестких рамках, чем сегодня, поскольку считалось невозможным, например, нарушить данное слово. Человек не мог бежать из плена, если он дал слово своему тюремщику. Один из таких примеров см. в книге М. Оссовской [130, с. 103]. На этом уровне коммуникации обман оказывался невозможным. Статус слова был совсем иной, в некотором смысле даже не-

доступный нашему сегодняшнему пониманию. В первую очередь статус особого слова — слова божбы, слова клятвы. Но даже это слово должно было получить усиление визуального порядка, например, необходимо было перекреститься, съесть кусочек земли.

Доказательство достоверности клятвы также носило более визуальный, чем вербальный характер.

«Клятва, которую давали стороны и их соприсяжники, была вовсе не таким легким делом, как это может показаться в настоящее время. Это был очень трудный обряд: малейшая обмолвка, самое ничтожное отступление от текста и порядка слов формулы, которую должен был произнести клявшийся, считались бесспорными свидетельствами неправоты или виновности того, кого хотели очистить этой клятвой» [136, с. 106].

Ошибка в формуле клятвы понималась как то, что божество не дало ему возможности произнести нужный текст. Поединок, дуэль в этом плане также являются невербальным ответом божества.

Доказательствами также служили испытания, например, водой и железом. И это вновь вариант принципиально невербальных коммуникаций. Человека бросали в воду и если он выплывал, это значило, что вода как чистая стихия отвергала его. «Подвергшийся испытанию железом должен был поднять голыми руками кусок раскаленного докрасна железа в один фунт весом и пройти с ним три шага; немедленно после этого руку, державшую железо, завязывали куском полотна; через три дня руку развязывали и по внешнему виду обожженного места не совсем ясным для нас способом определяли, виновен ли человек или невиновен» [136, с. 107].

В принципе, огромная систематика коммуникации строится именно в рамках визуального пласта. Праздники, торжества не нуждаются в словах. Если они и есть, то только в качестве варианта обрамления уже сформированного потока коммуникации, протекающего в визуальном измерении.

То же можно сказать и о других видах сообщений. Приведем такой пример: в описаниях подвигов рыцарей — достаточно часто встречается плач рыцаря. Плач присутствует

как обязательный элемент и в описаниях многих других действующих лиц того времени. Немецкий историк и культуролог Генрих Эйкен пишет:

«“Дар слез” играл немаловажную роль в религиозной жизни чувства в средние века. Все благородные, религиозные натуры в большей или меньшей степени обладали этим даром. Епископ ферарский Видо рассказывает, что Григорий VII получил этот дар в такой мере, что он ежедневно, во время возношения даров за литургией, разражался рыданиями о своих грехах. Когда Генрих V на соборе в Нордгаузене в 1105 году хотел оправдать свое возмущение против отца и заявил, что он снова будет ему повиноваться, если он покорится папе, то весь собор плакал от сильного чувства...» [209, с. 281].

Соответственно, плач охватывал человека при получении высокой почести или звания, поскольку из-за своей греховности человек ощущал себя недостойным.

«Когда епископ тульский Бруно в 1048 году был выбран папой, то он отклонил от себя принятие этого звания со слезами и с заявлением о своей греховности. Но это признание и эти слезы для собрания именно были доказательством того, что ему удалось найти праведного человека. Епископу ответили, что “Бог не хочет, чтобы сын стольких слез был потерян”, и Бруно уступил» [209, с. 282—283].

М. Оссовская отмечает сильное давление общественного мнения в рыцарском кругу, где все друг друга знали, и личные отношения были прямо противоположны привычным сегодня анонимным. Поэтому и восстановление чести невозможно осуществить посредством судебного разбирательства, а лишь с помощью поединка.

Визуальные характеристики могут помогать/мешать тем или иным действиям. Например: «Рыцарь в доспехах не имел права отступать. Поэтому, пишет Хейзинга, на рекогносцировку он отправлялся невооруженным. Все, что могло быть сочтено трусостью, было недопустимо» [130, с. 88—89]. Поединок мог проходить с закрытым забралом лицом, поскольку получить удар в лицо было позором, ударить в лицо можно было только человека низкого звания.

Как видим, плоскость морали была выстроена в строгих рамках визуальных приоритетов. Интересно, что письменность (и соответственно, тексты) находилась на периферии рыцарства.

«Сожалели о невежестве рыцарей, которые в большинстве своем были неграмотны и должны были посылать за клириком, получив какое-нибудь письмо. Не приходится сомневаться, что рыцарский идеал не был интеллектуальным. Мужчины высыхали с тоски, теряли разум, если не сдержали своего слова; легко заливались слезами. А для женщин лишиться чувств было парой пустяков, умереть от любви — безделицей» [130, с. 97].

В рамках вербальной коммуникации были заложены определенные приоритеты типа: женщине приличнее слушать, чем говорить [130, с. 384].

На первом месте стоял визуальный набор ценностей.

«В рукоять своего меча-спаты Дюрандаль Роланд вделал: кровь св. Василия, нетленный зуб св. Петра, власы Дионисия, божия человека, обрывок ризы Приснодевы Марии. В рукоять другого меча — гвоздь из распятия. Воин, присягнувший на подобной святыне и нарушивший данное слово, был уже не просто клятвопреступником. Он совершал святотатство» [76, с. 103].

Тоталитарная цивилизация отдает приоритет вербальности, а точнее — устному слову. К примеру, Гитлер ценил именно устный вариант общения.

«Гebbельс пользовался фразами Гитлера об устном слове как ключе к революционным движениям прошлого. Составляя список революционеров-пропагандистов, Гebbельс поднимал некоторые имена, вычитанные им у Лебона, и, кроме того, добавлял в него кое-что и от себя: Христос, Мохаммед, Будда, Заратустра, Робеспьер, Дантон, Муссолини, Ленин, Наполеон, Цезарь, Александр. Все перечисленные сочетали в себе огромные способности ораторов с революционными идеями и блестящим организаторским талантом» [52, с. 75].

В другом месте Герцштейн пишет: «Часто нацисты упоминали имена Фридриха Великого и Наполеона, чьи вдохновляющие речи, обращенные к войскам, способствовали

успешному завершению битв» [52, с. 186]. В этот период основным действующим лицом массовой культуры становится институт пропагандистов и агитаторов.

Имидж секретаря обкома, как принадлежащего другой (не рыцарской) цивилизации, строится на противопоставлении вышеотмеченных характеристик, хотя И. Сталин и моделировал партию в своем представлении как определенный рыцарский орден. Секретарь обкома не может выражать свои эмоции, подобно рыцарю. Невозможно представить его плачущим. У него либо подчеркнуто отсутствует личная жизнь, либо она принципиально отодвинута на задний план. На первом же месте всегда производство — гигантские домны или бескрайние колхозные поля. Вербальное проявляется в том, что его символы сворачивают обширный текст жизни до печатных текстов трудов Ленина или Сталина, или до статьи в газете «Правда», которая может оказаться основным событием, вокруг которого строится вся сюжетная линия романа или кинофильма.

Секретарь обкома не может общаться ни со своими друзьями, ни вступать в контакты со своими врагами. Место меча в этом облике замещает телефон или ручка — символы вербальной цивилизации. Она активно эксплуатирует визуальную составляющую, доставшуюся ей от прошлого периода в виде красных знамен, демонстраций, военных парадов. Однако и в этих перформансах главным действующим лицом становится речь — например, выступление с трибуны мавзолея. Речь занимает центральное место, а визуальные коммуникации уже служат только для подтверждения заложенной там идеи.

Пропаганда порождает асимметрию: увеличивая значимость вождя, она занижает статус населения, переводя его на уровень толпы. «Средства коммуникации <...> баснословно увеличивают власть вождя, поскольку они концентрируют авторитет на одном полюсе и преклонение на другом» [125, с. 252—253]. Сталин при этом переходит на полюс, где уже подготовлено место для нового вождя.

Рыцарь ритуально превращается в зверя, от которого берут начало его прародители. Геральдическая символика прошлого хранит подобные указания. «Глубоко в историю

уходит привычка, на первый взгляд диктуемая пошлой солдафонской риторикой, присваивать имена диких животных тем или иным армейским подразделениям. Не столь наивны, как может показаться, выражения типа “сильный как бык”, “храбрый как лев” и т.п.» [76, с. 112].

Партийный работник также перевоплощается в своих предков, и также не по биологической, а по партийной линии. Сходный аспект символизации устрашения был запущен органами НКВД — «вооруженный отряд партии», «ежовые рукавицы», «органы не ошибаются». Это соответствует принятой в прошлом тактике борьбы:

«В традиционных культурах технические приемы, направленные на то, чтобы испугать противника перед атакой, являются существенной фазой сражения. Подобные приемы применялись согласно особой ритуальной схеме, весьма напоминавшей шаманскую технику отпугивания духов: одежда, крик, жест и т.д.» [76, с. 90].

С этим связан и запрет на использование имен «врагов».

Смена двух типов цивилизаций связанных с двумя типами измерений (визуальным и вербальным) может объясняться доминированием разных полушарий головного мозга (см., например, [106]). Ср. следующее высказывание: «Мысль правого полушария — это образ, гештальт. Такая мысль может служить основой догадки, интуиции. Но это мысль не только глобальная, нерасчлененная и смутная. Не имея соответствующего языкового оформления, она скрыта не только для других, но и для себя» [61, с. 39]. При экспериментальном угнетении левого полушария утрачивается долговременное запоминание речевого материала. В случае рыцарской цивилизации социальная память для обеспечения долговременности должна была перейти в визуальную составляющую.

Интересно, что угнетение правого полушария также легко реинтерпретируется как вариант развития в сторону тоталитарной цивилизации. Например, такие слова:

«Нарушается различение мужских и женских голосов, узнавание знакомых людей по индивидуальной манере говорения, понимание интонаций. Все эти нарушения создают

своеобразную ситуацию, когда реципиент, формально воспринимая речь и понимая значения слов, утрачивает восприятие “фонетического портрета” собеседника, понимание эмоциональной окраски высказывания и отношения говорящего к содержанию высказывания...» [61, с. 35—36].

Перед нами сразу возникает образ цивилизации, которая не различает женщину и мужчину (все в одинаковых спецовках, женщины привычно осваивают мужские профессии типа трактористки, они спокойно заняты на тяжелых производствах). Далее, происходит стирание понимания интонаций, эмоциональной окраски, поскольку становится опасно произносить слова, которые могут быть истолкованы не так. Стерто и отношение говорящего к содержанию, что свидетельствует о переходе от неофициального к официальным вариантам общения даже в чисто домашних контекстах.

Как видим, рассмотренные два типа цивилизации акцентируют в человеке как бы разные составляющие, строя противоположные по направленности имиджи. Однако очень сильным общим моментом и в том, и в другом случае можно считать определенную клановость этих социальных групп, что потребовало выработки как своей особой морали, так и знаков своего поведения, отличного от поведения других. Можно упомянуть еще один параметр сближения этих двух типов цивилизаций. Это определенная нечувствительность к индивидуальному, когда типическое оказывалось важнее. Как пишет Л. Карсавин:

«Даже авторы руководств для исповеди от человека вообще нисходят не к индивидууму, а к рыцарю вообще, купцу вообще и т.д. Восприятие индивидуального сейчас же превращают в восприятие общего, прибегая к традиционному шаблону или символу; новое сейчас же вводится в грани привычного, как вводят город в иерархическую систему феодализма, ибо лишают его свежести и своеобразия во вновь определяемой форме. <...> За малыми исключениями не чувствуют чужой индивидуальности, как таковой, не чувствуют и своей индивидуальности» [79, с. 216].

Отсюда, вероятно, вытекает стандартное оформление списка героики этих эпох. Советская агиография включала и Павку Корчагина, и Зою Космодемьянскую и многих дру-

гих. И население приобщалось к этим типажам тем же способом, что и к типажам религиозного порядка в прошлом. Кстати, «секретарь обкома» как типаж был связующим звеном между народом и героями. И это общение с героями накладывало определенный отпечаток и на его собственный имидж.

**«КРАТКИЙ КУРС ИСТОРИИ ВКП(б)» vs.
«ВОЛГА-ВОЛГА»**

Сидят в камере трое. Ждут суда. Начали знакомиться друг с другом. Один спрашивает другого:

— Тебя за что взяли?

— Меня за то, что я ругал крупного партийного работника Бухарина. А тебя за что?

— Меня за то, что хвалил в печати Бухарина.

Спрашивают третьего:

— А тебя за что?

— А я Бухарин (анекдот).

Известно, что любимым фильмом Сталина была комедия «Волга-Волга». Чисто умозрительно мы готовы предположить, что любимой книгой вождя должен был быть «Краткий курс истории ВКП(б)». Перед нами реализации художественной реальности (несомненно, что модифицируя «Историю» по своему желанию, Сталин и на нее мог смотреть как на чисто символическую реальность).

Какова главная психологическая черта Сталина? Человека ограниченного могло раздражать интеллектуальное окружение, однако известны свидетельства о любви Сталина к драматическому и оперному искусству. Заседание Политбюро могло прерваться, чтобы поспеть к определенной арии в Большом театре. Так что наличие/отсутствие формального образования не является определяющим. Т. Хренников вспоминал, что Сталин достаточно детально обсуж-

дал художественные произведения на заседаниях Комитета по Сталинским премиям, в том числе допуская в определенной степени дискуссионную среду.

Главной чертой Сталина, по нашему мнению, следует признать *способность к работе (возможно, даже любовь к работе) во враждебном окружении*. Получая наилучшие результаты именно в такой среде, Сталин и в «мирное» время пытается создать ее элементы. Отсюда и постоянное возвращение к теме «врагов народа».

Даже имя «Сталин» является идеальным для такой среды. Интересно замечание О. Фрейденберг, которое мы перенесем и на Сталина:

«Основной закон мифологического, а затем и фольклорного сюжетосложения заключается в том, что значимость, выраженная в имени персонажа и, следовательно, в его метафорической сущности, развертывается в действие, составляющее мотив; герой делает только то, что семантически сам означает*» [189, с. 223].

Хотя это и сказано о достаточно далеких временах, но нет ничего столь далекого, что время от времени не реализовывалось бы в нашем времени. При этом происхождение псевдонима Ленин так и осталось скрытым в истории.

Эта враждебность среды отражается на методах ее интерпретации. Позитив и негатив доводятся до своего предела. Это абсолютно не нейтральная среда. Вероятно, введение подобных полюсов резко завывает ее динамику. В нейтральной среде нет динамики. В среде полярной динамика абсолютная: сегодня Бухарин небожитель, завтра — он повергнут на дно общества. При этом сам Сталин выведен за пределы этой динамики. Известно, что люди при расстреле, считая, что Сталин ни о чем не знает, гибли со словами «За Сталина».

Сталин практически живет в двух координатах, которыми П. Бицилли описывал средневековое общество — **символизм** и **иерархизм** [31]. Смена политической системы требовала резкой смены и символизма, и иерархии. После 1917 года мы повторно прошли эту же смену в 1991 году. Но при этом был подготовительный период, получивший название

*Выделено нами — Г.П.

«перестройки». Он происходил в 1985—1991 гг., сталинский период (выполняя те же функции) занял больше времени — 1917—1929 гг. Это вполне объяснимо, поскольку:

а) перестройка тогда и перестройка сейчас происходила при доминировании разных каналов коммуникации, телевидение резко убыстрило все процессы,

б) перестройка тогда шла при противодействии западного окружения, в отличие от перестройки сегодняшней, во многом инициированной западным окружением.

Новые символы вводились всеми возможными способами: театр становился политическим театром, литература следовала соцреализму. Идеологическая схема вплеталась в художественную ткань любого произведения. Идеологическая схема была сильнее художественных достоинств.

Следует добавить еще одно правило общества времен Сталина: *нормой является то, что объявляется в качестве нормы*. «Кубанские казаки» отражали действительность эффективнее, чем то, что человек видел у себя. Это воспринималось исключением из модели общего благоденствия. Именно это стало основным коммуникативным законом сталинского общества: *говорить следует то, что следует*. Отсюда еще одна его коммуникативная особенность — сильно развитое доносительство. Объемы его впервые были преданы огласке только в ГДР, тогда было заявлено, что, кажется, каждый шестой гражданин участвовал в этой «коммуникативной схеме». Но именно эта схема и позволяла удерживать коммуникативные потоки в нужном русле, ведь не только на официальном, но и повсеместно на неофициальном уровне модель благоденствия признавалась в качестве определяющей. В период Хрущева были допущены коррективы, разрешившие существование иной информации в неофициальной сфере. Но любые попытки перенести ее в сферу официальную все равно пресекались.

Каким образом можно моделировать враждебное пространство на символическом уровне? Только путем собственного героизма и одновременного предательства и слабых характеристик со стороны врагов. Именно эта модель заложена в «Истории ВКП(б)». Она построена на негативной модели. Определенный агрессивный характер этого текста отражен

даже в сопутствующих ему документах. К примеру, ауру «Истории ВКП(б)» передавало отдельное Постановление ЦК ВКП(б) от 14 ноября 1938 г. В нем говорилось следующее:

«Краткий курс истории всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)» является важнейшим средством в деле разрешения задачи овладения большевизмом, вооружения членов партии марксистско-ленинской теорией, т.е. знанием законов общественного развития и политической борьбы, средством повышения политической бдительности партийных и непартийных большевиков, средством поднятия дела пропаганды марксизма-ленинизма на надлежащую теоретическую высоту» [50, с. 678].

Одновременно — и это очередная амбивалентная ситуация — постановление становилось на защиту интеллигенции, против пренебрежительного отношения к ней. Постановление критиковало:

«Вреднейшее перенесение на нашу советскую интеллигенцию тех взглядов и отношений к интеллигенции, которые были распространены в дореволюционный период, когда интеллигенция находилась на службе у помещиков и капиталистов <...> Такое антибольшевистское отношение к советской интеллигенции является диким, хулиганским и опасным для советского государства. Необходимо понять, что именно заброшенность политической работы среди интеллигенции, среди наших кадров, привела к тому, что часть наших кадров, оказавшаяся вне политического влияния партии и лишенная идейной закалки, политически свихнулась, запуталась и стала добычей иностранных разведок и их троцкистско-бухаринской и буржуазно националистической агентуры» [50, с. 683—684].

Цели были поставлены достаточно четко, «Краткий курс» должен был стать средством воспитания интеллигенции. Но что собой представляет «Волга-Волга»? Это — позитивный аспект реализации той же схемы.

И то и другое сообщение носит массовый характер. Стиль «Краткого курса» прост и монументален, что исключает пропуск хотя бы одного слова. Каждая глава завершается выводами, иногда достаточно серьезными. Например:

«Капиталистическое окружение, стремясь ослабить и подорвать могущество СССР, усиливает свою “работу” по ор-

ганизации внутри СССР банд убийц, вредителей, шпионов. Особенно усиливается враждебная по отношению к СССР деятельность капиталистического окружения с приходом к власти фашистов в Германии, Японии. В лице троцкистов, зиновьевцев фашизм приобрел верных слуг, идущих на шпионаж, вредительство, террор и диверсии, на поражение СССР — во имя восстановления капитализма.

Советская власть твердой рукой карает этих выродков человеческого рода и беспощадно расправляется с ними, как с врагами народа и изменниками родины» [73, с. 315].

Тут снова проявляются эти необычные слова для официального текста (типа «выродков»). Это газетный жанр, жанр митинга. Сцены кровопролития создают ощущение римской истории, настолько они интенсифицированы из-за привязки к современности. Такого рода тексты задают жесткое деление на друзей/врагов, предопределяют правила поведения.

Если список врагов персонализирован, то и список своих героев не менее четок:

«Красная армия победила потому, что: а) она сумела выковать в своих рядах таких военных руководителей нового типа, как Фрунзе, Ворошилов, Буденный и другие; б) в ее рядах боролись такие героини-самородки, как Котовский, Чапаев, Лазо, Щорс, Пархоменко и многие другие; в) политическим просвещением Красной армии занимались такие деятели, как Ленин, Сталин, Молотов, Калинин, Свердлов, Каганович, Орджоникидзе, Киров, Куйбышев, Микоян, Жданов, Андреев, Петровский, Ярославский, Держинский, Щаденко, Мехлис, Хрущев, Шверник, Шкирятов и другие» [73, с. 234].

Необходимо отметить, что список деятелей политпросвещения оказался больше списка военных, отражая, таким образом, реальный статус этих двух списков.

Сюжет фильма «Волга-Волга» (а он совпадает по времени создания с «Кратким курсом») построен на соревновании двух групп художественной самодеятельности, которые стремятся в Москву. Иерархия Москвы задана очень четко: только она может определить, кто есть лучший, кто есть справедливый. Ведь и главный бюрократ этого маленького городка сидит и ждет вызова в Москву и только это позво-

ляет одной из групп поехать туда с ним, задав нужный тон: «Под вашим руководством».

В разделении героев на группы задан главный символизм эпохи социализма. С одной стороны, это интеллигенция, исполняющая Шуберта (Шульберта — в словах главного бюрократа), что выглядит достаточно нудно и неинтересно. С другой, стороны в фильме были представители рабочего класса, которые исполняют частушки и свои песни. С идеологической точки зрения перед нами «гегемон» и «прослойка». Гегемон, преодолевая преграды, вызванные неадекватностью бюрократа, уверенно идет к своей победе. В конце фильма мы уже не видим противопоставления: «гегемон» и «прослойка» сливаются в едином счастливом порыве любви к своей социалистической Родине.

Мужские и женские персонажи (социалистические Ромео и Джульетта) персонизировались нахождением в разных «командах». При этом женская роль была отдана более «правильному» социальному типу, которую играла Любовь Орлова. Приоритетность женской героини определяется приоритетностью ее социального класса.

В сюжете фильма идеологическое разделение реализуется в физическом пространстве — отдельном путешествии каждой из «команд» к цели. Бюрократ при этом ставит не на ту «команду», оставляя вне своего внимания представителей рабочего класса. В финале обе «команды» сливаются с одновременным отторжением из своей среды бюрократа — героя И. Ильинского. Кстати, фильм настолько серьезно проник в массовое сознание, что потребовал создания повтора функционирования «товарища Бывалова» в новой роли «товарища Огурцова». Зато этот социалистический римейк — «Карнавальная ночь» — сохранил ту же схему: глупый руководитель локального уровня — умный народ.

Простота сюжета фильма «Волга-Волга» поддерживается четкой идеологической символикой: побеждает более правильная интеллигенция, которая исполняет более правильные произведения, с чем приходится согласиться и всем героям. При этом приятным для зрителя нарушением является фигура для осмеяния, которой оказывается самое высокое для данного уровня бюрократическое лицо. Это говорит о

карнавальная (в смысле М. Бахтина) организации взаимодействия этого сюжета и зрителя. Кстати, необходимо подчеркнуть, что практически никакие художественные произведения того времени не стремились запечатлеть лиц высшей иерархии. Одно из объяснений этого может лежать в том, что чем выше мы поднимаемся, тем конкретнее становится данная персонализация. Тут вступала в противоречие сама схема страны, где человек, сидящий наверху, сидел так долго, что любая сфера народного хозяйства ассоциировалась с конкретным именем.

Следует также честно признать, что культура эпохи социализма, будучи идеологически ориентированной, ни на йоту не теряла своей художественности, в ряде случаев достигая вершин мировой культуры. Идеологическая схема наполнялась сочной художественной тканью, что позволяет лучшие фильмы того времени с интересом смотреть и сегодня. Кинорежиссер И. Дыховничий в программе «Старый телевизор» (НТВ, 1998, 6 нояб.) говорит, что мастерство актера побеждает бедность материала. Но это не так. Материал очень героический: советский сюжет все время строится на преодолении колоссального сопротивления жизни.

В заключение приведем еще один вариант «внимания» к интеллигенции — постановление ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г., где со всей определенностью говорится в первую очередь о Зощенко и Ахматовой. При этом используемый язык странным образом уходит от стиля официального постановления:

«Зощенко изображает советские порядки и советских людей в уродливо карикатурной форме, клеветнически представляя советских людей примитивными, малокультурными, глупыми, с обывательскими вкусами и нравами. Злостно хулиганское изображение Зощенко нашей действительности сопровождается антисоветскими выпадами. Предоставление страниц “Звезды” таким пошляками подонкам литературы, как Зощенко, тем более недопустимо, что редакции “Звезды” хорошо известна физиономия Зощенко и недостойное поведение его во время войны, когда Зощенко, ничем не помогая советскому народу в его борьбе против немецких захватчиков, написал такую омерзительную вещь, как “Перед восходом солнца”, оценка которой, как и оцен-

ка всего литературного “творчества” Зощенко, была дана на страницах журнала “Большевик”» [63, с. 3].

Советская система порождает системно не только героев, но и врагов. И тех и других с — достаточной долей интенсивности. Это связано с жестким навязыванием картины мира, которая не может быть только с положительным полюсом. Отрицательный полюс (даже в целях правдоподобия) также должен быть выписан с достаточной долей детализации. В докладе А. Жданова лексика та же, например: «Только подонки литературы могут создавать подобные «произведения», и только люди слепые и аполитичные могут давать им ход» [63, с. 8].

Вышедшие наружу подобные тексты являются прямыми порождения «советской грамматики» действительности. Именно они предопределяют появление всех других текстов, задавая координаты правильного/неправильного. Именно этим объясняется повышенное внимание партии к «инженерам человеческих душ».

«ДЕВУШКА С ВЕСЛОМ» КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭРОТИКИ

В школе ввели новый предмет — сексологию. Учитель:

— Любовь мужчины к мужчине и женщины к женщине — это физиологические извращения, о них мы говорить не будем. В любви между мужчинами и женщинами и без меня разберетесь. Четвертый и пятый вид любви — это любовь партии к народу и народа к партии. Этим с вами и будем заниматься весь год (анекдот).

В СССР секс отсутствовал, как было четко зафиксировано на одном из телевизионных мостов времен перестройки. И действительно, даже введение «унисексовых» обозначений

ний типа «товарищ» вместо «господин»/«госпожа» мы можем увидеть действие того же феномена. Вероятно, это связано с завышением социальных координат общества по отношению к координатам биологическим. С другой стороны, семья декларировалась как «ячейка общества». Человек неженатый не мог и мечтать, что его могут отпустить куда-нибудь за границу, даже в командировку. Вероятно, все это позволяет заметить кинорежиссеру К. Шахназарову («Московский комсомолец», 1998, 5-12 нояб.): «В России традиции эротики тоже не существует. Наш секс-символ — Татьяна Ларина. Если уж проститутка, то Соня Мармеладова, тоже вроде бы не гулящая девка».

Секс в СССР выглядел как встреча Штирлица с женой в великом мифологическом фильме «Семнадцать мгновений весны». Секс предполагался, но никогда вслух не назывался. Появление фильмов типа «Интердевочки» революционизировало эту среду, ведь до этого секс был приметой только фильма заграничного. А в загнивающем мире все заранее по определению плохо.

Если посмотреть на девушку с веслом с точки зрения типичных памятников эпохи, то она сразу выстраивается в четкий ряд: в диахронии — она противопоставлена «скифской бабе», в синхронии — ряду памятников, среди которых «Ленин с вытянутой рукой», «Воин с мечом» (памятник павшим), а также два не столь частотных варианта — это Родина-мать с мечом и «Рабочий и колхозница» В. Мухиной. Мы можем увидеть следующие схемы сочетаний составляющих данных памятников: мужской — женский, сакральный — профанный («девушка с веслом» подпадала под общественное пространство, но явно менее значимое), частный-общественный. Реализуются следующие типы взаимоотношений:

диахрония

скифская баба → девушка с веслом

Однако учитывая, что скифская баба предположительно функционировала не только как символ плодородия, а, воз-

можно. выступала и в качестве символа матери, охраняющей погибших воинов, то в этой функции диахроническое противопоставление будет иным:

скифская баба → Родина-мать

синхрония



Если же мы учтем реальное противопоставление частотных объектов, то тогда Ленин должен быть противопоставлен Родине-матери, поскольку «рабочий и колхозница» являются единичным объектом. Наша схема тогда приобретает следующий вид:



Если учесть целостность «рабочего и колхозницы», то они могут быть противопоставлены только Ленину в Мавзолее, задавая следующий рисунок исходной схемы



Значимость заданных противопоставлений мы можем подтвердить словами О. Фрейденберг, которая видела реализацию мифа не только в слове, но и в вещи, и в действии:

«Словесные мифы — только одно из метафорических выражений мифа. Но миф охватывает и выражает собою всю без исключения жизнь первобытного человека. Он может быть поэтому и вещным и действенным» [188, с. 62]. Практически то же самое она говорит в другой своей работе:

«Поскольку речевая культура нацело сложена мышлением — не только в отношении семантики, но и морфологически, — вся словесная область представляет собой то же самое, что рядом выражено в стереотипе действия и вещи. <...> Сюжет имел стадию долитературную и даже дословесную, когда его морфология совпадала с морфологией действия, вещи, кинетической речи мира действующих лиц, с которым он был слит...» [189, с. 222].

Как видим, весь набор стандартных социалистических памятников задает фундаментальные противопоставления своего общества, «девушка с веслом» является лишь частью этой общей системы. Она действительно отражает женское начало, поскольку «скифская баба» в двух своих функциях (плодородия и героической) как бы разделилась теперь на два памятника



Женское начало «девушки» явственно приглушено утилитарным предметом — «веслом», делающим одновременно акцент на спорте. Подобный амбивалентный знак является достаточно характерным для кодов социализма. Следует также подчеркнуть, что СССР был в определенной степени феминистским государством, поскольку не было неженских профессий. «Трактористка» — это не менее значимый символ социализма. В целом, женские имена социализма несут неженские функции. Это Паша Ангелина, это Зоя Космодемьянская и др.

XIII съезд РКП (б), проведенный в 1924 г., вынес отдельную резолюцию «О работе среди работниц и крестьянок», где ставилась задача «вовлечения работниц и крестьянок в партийное, профессиональное, кооперативное и советское строительство» [49, с. 570-572].

«Девушка с веслом» интересна своей безымянностью. Именно этим объясняется ее смещение на периферию. На первом месте стоит «Ленин с вытянутой рукой», занимавший место напротив райкома-горкома. «Воин с мечом» как символ почета погибшим воинам был уже дальше, и самые дальние позиции в общественном пространстве занимала «девушка с веслом». Был еще покрытый такой же серебряной краской «пионер с горном», который ставился возле школ и дворцов пионеров. Безымянность и распространенность девушки с веслом говорят о ее существенной значимости в социалистическом контексте.

Она также амбивалентным образом символизирует силу и мощь государства, амбивалентным — поскольку сделано это сквозь существо женского пола. «Девушка с веслом» в этом своем функционировании эквивалентна какому-нибудь «самолету-истребителю» или «танку», стоящему как памятник в некоторых местах. «Коня на скаку остановит» сменилось на советский подтекст «танк на скаку остановит».

Одновременно здесь присутствует и биологическое начало, которое отражает символическую координату «молодости». Вспомним: «Коммунизм — это молодость мира, и его возводить молодым». Социальные параметры всегда оказывались важнее естественных. Поэтому Мичурин призван был обуздывать природу, Маресьев — преодолевать отсутствие ног.

Биологическое чувство «любви» также ставится в жесткие социальные рамки. Кинолюбовь всегда укладывалась в вариант социальных противопоставлений:

- *плохой рабочий — хорошая работница,*
- *рабочий — учительница,*
- *интеллигент — рабочая,*
- *сын начальства — рабочая.*

Во всех этих ситуациях, кроме «Весны на Заречной улице», рабочая среда трактуется как более правильная и более чистая. Она как бы представляет каноническую жизнь, куда на «воспитание» попадает представитель из иной социальной прослойки. Этот сюжетный механизм сохранился и для перестроечного времени. Вспомним «Забытую мелодию для флейты» Э. Рязанова, где сюжет строится на том, что

начальник, зять начальника (Филатов), влюбляется в простую медсестру (Догилеву).

«Девушка с веслом» — это социалистическая женщина. Она может быть с ведром, с отбойным молотком и т.д., внося в свой образ элементы производственного символизма. С этой точки зрения «весло» как отсылка на спорт становится более мягкой формой указания на социализм. По крайней мере, это явно раскрепощение женщины. Современная реклама, например, демонстрирует женщину чаще в домашних ситуациях, чем в производственных. Советский сюжет знает только женщину-производственника.

Интересно, что мужские символы практически отсутствовали. И Ленин, и скорбящий воин не могут служить выразителями мужского начала. В то же время «девушка с веслом», в отличие от «Родины-матери», не имеет сакрального значения, поэтому допускает и иные интерпретации. Прослеживается интересная параллель с далеким прошлым: «Главные божества этого периода женские; мужские играют подчиненную им роль» [189, с. 203]. Практически то же мы видим в нашей ситуации, возможно, по другой причине. Поскольку мужчины сегодня, наоборот, занимают более значимые позиции в социальной и политической структуре общества, то вынесение женской фигуры в качестве символа резко усиливает ее значимость, поскольку строится на компенсации реального соотношения.

Вернувшись к мысли О. Фрейденберг о несловесном выражении сюжета как более базовом, попытаемся восстановить сообщения, заложенные в рассмотренных вариантах памятников. Они носят парный характер: два — мужских и два — женских.

<i>Памятник</i>	<i>Значение</i>
Ленин с выгнутой рукой	Связь с основной иерархией, в прошлом — защитные функции
Скорбящий воин	почести погибшим
Девушка с веслом	Женское начало + спортивное начало
Родина-мать	Почести погибшим

Все это принципиально социальные функции, связывающие воедино с центром даже маленький поселок, расположенный на краю земли. Наличие этих памятников позволяло осуществлять весь набор ритуальных функций: демонстрации, возложение цветов, принятие в пионеры. Памятник позволяет привязывать ритуал к местной точке. Временная точка задавалась извне: праздник проводился синхронно во всех городах, селах и поселках. Пространственная точка празднования определялась данным набором памятников. Значимость их возросла еще сильнее в брежневский период, который предстал как череда юбилеев. Эти юбилеи моделировались также в привязке к данному набору памятников.

Массовая культура должна иметь «меню», которое соответствует интересам массовой аудитории, поэтому эротический (хотя и в скрытой форме) компонент обязан присутствовать в любой даже самой строгой советской книге. Пускай там отношения двух людей будут окрашены производственными успехами или подтягиванием отстающих, но они должны быть, чтобы текст получил распространение в массовой аудитории.

«КНИГА О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ» КАК ФЕНОМЕН ПУБЛИЧНОГО ДИСКУРСА В ЧАСТНОЙ СФЕРЕ СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ

На следующий день после освобождения от должности Никита Сергеевич говорит домработнице:

— Ну, теперь я буду жить, как простой пенсионер. Сходи-ка, милая, в магазин, возьми «косушечку» и икорки красной, граммов около двухсот.

Домработница ушла и вернулась только вечером.

— «Косушечку», Никита Сергеевич, я это мигом купила, а вот икорки — хоть убей, нету, всю столицу обегала.

— Вот! — закричал Хрущев. —
Как будут жить дальше?! Один день,
как без меня, а икра уже пропала!
(анекдот).

Начнем с того, что данная книга была обязательным атрибутом быта многих советских семей. И в постсталинское, и в постсоветское время она остается в функции единственного кулинарного руководства. В периоды ухудшения материальной жизни она рассматривалась как элемент виртуальной реальности, повествующей об изобилии, существование которого было потеряно в глубинах истории. Иногда эта книга воспринимается как определенного рода музей. Ее характерной особенностью было то, что она описывала по сути отсутствовавший мир как настоящий. Она проецирует то, чего не было в действительности. Но одновременно это понятный и близкий населению мир. Вот это странное сочетание виртуальности с реальностью на нёбе и составляет характерную черту функционирования этой книги. Ведь каждый ее пассаж мог быть воспроизведен органами чувств. Это явный феномен массовой культуры сталинского времени. Он по степени легкости вхождения в массовую аудиторию был сравним с фильмами «Волга-Волга» или «Кубанские казаки».

Это странный феномен домашнего чтения, пронизанный идеологическим заданием. При этом «Книга...» хранила в себе даже рецепты пасхи, закодированные под разрядом «куличей», тогда, когда это слово было изъято из лексикона советского человека. То есть в ней были даже такие глубинные возможности — пронести сквозь десятилетия рецепт запрещенного для употребления типа еды.

«Книга...» служила определенным стабилизатором социальной ситуации, поскольку сообщала, например, что наша промышленность выпускает такое-то количество колбас или консервов. И это внушало доверие. Это особый тип пропаганды, но очень эффективный, поскольку косвенное воздействие всегда успешнее прямого. В случае прямого есть победитель и есть побежденный, в случае косвенного — все победители.

В идеологически насыщенном мире вполне естественно, что даже «вкусная» пища должна была быть не только «здоровой», но и политически верной. Поэтому текст такого рода (а тиражи его могли сравняться, если не с классиками марксизма-ленинизма, то, по крайней мере, с изданиями речей членов Политбюро) должен был сразу заявить о своей позиции. По этой причине книга начинается эпитафией, для чего выделена отдельная страница:

«Характерная особенность нашей революции состоит в том, что она дала народу не только свободу, но и материальные блага, но и возможность зажиточной и культурной жизни

И. СТАЛИН»

Издание 1953 г. повествует само о себе: «Изданная в 1952 г. «Книга о вкусной и здоровой пище» тиражом 500 тысяч экземпляров распродана в короткий срок. В издательство поступают многочисленные письма читателей с просьбой о переиздании книги, что свидетельствует о большой популярности ее среди населения..»

Введение книги под весьма симптоматичным названием «К изобилию!» пытается найти идеологический угол для прозаических кулинарных рецептов. И это удастся, ибо «непрерывное улучшение народного питания составляет одну из главных задач Коммунистической партии и Советского правительства». При этом в разрядку авторы выделяют следующие положения:

«Успехи тяжелой промышленности создали возможность организовать крутой подъем производства предметов народного потребления, чтобы тем самым более успешно осуществить главную задачу — обеспечение дальнейшего улучшения материального благосостояния всех советских людей. <...> Неотложная задача состоит в том, чтобы в течение двух-трех лет резко повысить обеспеченность населения продовольственными и промышленными товарами — мясом и мясными продуктами, рыбой и рыбными изделиями, маслом, сахаром, кондитерскими изделиями, тканями, одеждой, обувью, посудой, мебелью и другими предметами культурно-бытового и домашнего обихода, значительно поднять обеспеченность населения всеми товарами народного потребления».

Последнее высказывание четко отражает характерные черты советского дискурса: с одной стороны, он принципиально обращен в будущее, с другой, очень детализирован для такого будущего текста. То есть степень детализации берется из настоящего, но все размещено в будущем. Такая необычная конструкция позволяла в настоящем оперировать теми результатами, которые только планируются в будущем*.

Типичной газетной заметкой советского времени был рассказ о закладке в фундамент первого кирпича, за которым однако следовало гораздо более объемное повествование о том, что здесь *будет*, к примеру, самая большая фабрика в Европе, которая *будет* производить такое количество X, которого хватит, чтобы дотянуть до Луны и обратно.

Обязательным элементом любого идеологического текста являются отсылки на решения съездов и пленумов. Введение обладает такой типичной цитатой: «Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза в постановлении от 7 сентября 1953 года «О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР» указал:

«Задача состоит в том, чтобы в ближайшие 2—3 года в достатке удовлетворить растущие потребности населения нашей страны в продовольственных продуктах и обеспечить сырьем легкую и пищевую промышленность».

Текст «украшен» четкой отсылкой на иерархию — «пленум указал»**. При этом следует обратить внимание на то, что книга подписана к печати 4 августа 1953 г., так что такая цитата подчеркивает высокий уровень проникновения «священного слова» вне учета времени и пространства.

Графически весь текст этого Введения располагается на фоне фотографий, тематика которых и отражает изобилие:

*Эта технология манипуляции с успехом и без изменения используется и в постсоветское время во всех странах СНГ. — *Прим. С.У.*

**Эта технология в неизменном виде применяется в странах СНГ и сейчас, только вместо «пленум указал» используется «президент указал», тем самым подчеркивая его отстраненность и создавая иллюзию его непричастности к реальной ситуации и просчетам в соответствующей стране. — *Прим. С.У.*

это хлебные изделия, это колбасы, это рыба, это консервы и т.д. Редкие люди, которые встречаются на этих фотографиях, выполняют чисто функциональную роль: это продавцы и покупатели. Они тоже элемент процесса, как рыба, птица и т.д.

Но кулинарная книга не может читаться как политическая, авторы просто следуют требуемым шаблонам. Им удастся даже вплести противопоставление двух систем:

«В СССР, в интересах народа, осуществляется политика всемерного форсирования производства средств народного потребления, а в капиталистических странах, наоборот, в последние годы производство средств потребления снижается. В СССР, в интересах народа, осуществляется политика систематического снижения цен, что дает непрерывный рост реальной заработной платы, а в странах капитализма, в интересах капиталистической прибыли, цены на предметы потребления непрерывно растут, что ведет к резкому уменьшению среднедушевого потребления, к резкому снижению реальной заработной платы».

Введение завершается достаточно серьезно:

«Под руководством нашей славной Коммунистической партии, ее Центрального комитета и Советского правительства народы нашей необъятной и могучей социалистической Родины в радостном, героическом и творческом труде воздвигают величественное здание коммунизма, претворяя в жизнь многовековую мечту человечества о построении коммунистического общества, об изобильной, счастливой и радостной жизни»

Эта книга была библией частной сферы советского человека.

Сталин уже умер, но риторика гигантских шагов продолжается.

Книга «Детское питание» была издана в 1957 г. Но ее идеологические вкрапления носят даже более жесткий характер, учитывая специфику «детского» издания. Она начинается с эпиграфа Ивана Павлова:

«Не нужно приучать детей к тонким и однообразным вкусовым ощущениям. Не следует избаловывать их в еде. Это

только ограничивает в будущем их приспособление к меняющимся условиям жизни».

Такую цитату скорее можно было бы представить себе в книге под названием, к примеру, питание домашних животных, но никак не детей. Введение к книге называется «Слово о материнстве». Здесь цитируется Н. Крупская. Появляется и Ленин:

«В детях Ленин видел продолжателей того дела, которому отдал всю жизнь. Коммунистическая партия Советского Союза и Правительство продолжают традицию ленинского бережного отношения к детям. Это они станут носителями идеалов, за которые не на жизнь, а на смерть стоял наш народ. Дети — это воплощение всех надежд и чаяний строителей коммунизма».

Официоз Введения пытаются разрушить описанием мифической семьи:

«Вот Анна Ивановна Алова. У нее семь человек. Сегодня за ужином только шестеро. Старшая дочь еще в школе. Дома отец и младшие. Живут так: один в яслях, трое в детском саду, двое близнецов ходят во 2-й класс, а старшая кончает семилетку. И вся эта семья, веселая и дружная, с нетерпением ждет вечернего часа — часа отдыха, сказок и обмена впечатлениями».

Здесь вновь не удастся совместить требования частного и общественного дискурсов, все выглядит натянуто, арифметический подход оказался самым главным.

Мы обнаруживаем в двух этих книгах полное несоответствие предмета бытового свойства «высокому штилю» повествования, заполняемого массой указателей идеологического толка. Это характерно не только для Введения, но и для многих других статей внутри книги, которые принимают энциклопедический характер.

Особой силой воздействия обладали для последующих поколений советских людей цветные фотографии книги. «Икра зернистая» и «Икра кетовая» смотрелись по-иному тогда, когда они совершенно исчезли из продажи как и большинство других продуктов. Текст принимал сказочный характер:

«Среди деликатесных рыбных товаров — богатый выбор замечательной икры: черной — зернистой, паюсной, пастеризованной, красной (кетовой), а также ястычной. Вслед за икрой вкуснейшими рыбными изделиями являются балык вяленые (провесные) и холодного копчения (куренные). Лучшие балыки из белорыбицы и нельмы, причем не только из сибирской нельмы, но и из печорской».

Или рассказ о крабах, которые к тому времени уже исчезли из продажи: «Крабовые консервы — отличная закуска. Нежное мясо краба — хорошо в салатах и винегретах».

Или о раках: «Когда нет свежих раков, их можно вполне заменить консервами “Раковые шейки”». Эти консервы полностью сохраняют вкус, аромат, все свойства и достоинства ракового мяса». Подкупала простота подобных рецептов: «Открыв банку, выложить крабов вместе с соком в кастрюлю, залить белым вином, накрыть крышкой и варить 5 минут». Вообще все это виртуальное чувство представленной реальности никогда не оставляло читателя. Постепенно пропали не только продукты, но и иные объекты описываемой реальности.

«КНИГА» задавала также правила поведения за столом, особенно важные в случае приема алкогольных напитков. Она резко осуждала прошлое:

«В старой России буржуа и дворяне воспитывали у народа вкус к сивухе из “монопольки, что соответствовало отсталой экономике той эпохи и было выгодно правящим буржуазно-помещичьим классам. Для себя же русская буржуазия и помещики ввозили вина из-за границы, щеголяя утонченными и изысканными вкусами и приверженностью к французским виноградным винам и шампанскому, к заграничным коллекционным, старым коньякам».

Понятно, что только это стоило залпа «Авроры». Ведь по сути гастрономическое обвинение есть и в хрестоматийных строках: «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй». Разделение двух миров реализовывалось здесь на весьма конкретном поле — продукты наши и продукты глубоко чуждые нам. Но все равно сохраняется в качестве центрального разграничение «мы» и «они».

Мир сегодняшний описывается как более благоприятный:

«Производство виноградного вина, шампанского* и пива мы расширяем из года в год, а водку стараемся постепенно вытеснять из употребления. Такова наша, советская, политика в этом деле, политика, продиктованная интересами народа, заботой о сохранении и дальнейшем укреплении его здоровья и сил».

Идеологическая значимость в сфере питания придается любой технологической составляющей в противоположность бытовой как незначимой. Передовая технология как знак прогресса прослеживается повсюду: «Всего 20-25 лет назад томаты выращивались преимущественно на юге, и то в небольших количествах; теперь их выращивают почти во всех районах Советского Союза». По сути каждое предложение призвано усилить имиджевую картинку СССР.

Еще одной характеристикой текста является *перевод его объектов в сферу полезности, уводя из сферы удовольствия*. Пример: «Пиво — весьма ценный пищевой продукт: в нем много питательных веществ, не зря его часто называют “жидким хлебом”». Это, кстати, соответствует наблюдениям Пьера Бурдьё, который считал, что культура рабочего класса отличается от культуры буржуазии ориентацией на калорийность, питательность и т.д.

*Для обеспечения всего советского народа буржуазным символом — шампанским, была изобретена ускоренная технология получения шампанского, а ее авторам была присвоена Ленинская премия. Этот напиток, полученный по оригинальным технологиям, ничего общего не имеет с настоящим шампанским, хотя и называется “шампанским”. Шампанское по классическим технологиям выпускается в Артемовске и на некоторых других заводах. В советское время оно в основном поставлялось на экспорт. Эрзац-шампанское шло на праздничные столы советского народа. Эта традиция сохранилась и поныне. Для улучшения вкуса этого эрзац-шампанского в него добавляются ликеры, в результате чего оно становится «сладким» или «полусладким», хотя настоящее шампанское может быть только «сухим» или «брют». Большинство заводов шампанских вин как в России, так и в Украине выпускают эрзац-шампанское, изготовленное по ускоренным технологиям. Для привлечения покупателей такому «шампанскому» присваивают громкие имена и обеспечивают эффектный дизайн. — *Прим. С.У.*

«Вкусы в еде также зависят от идеи, которую каждый класс вкладывает в представление о теле и влияниях еды на тело, то есть на его силу, здоровье и красоту; и от категорий, которые используются, чтобы оценивать эти результаты. Некоторые из них могут быть важны для одного класса и игнорироваться другими и их разные классы могут по-разному ранжировать. Так, если рабочий класс более внимателен к силе (мужского) тела, чем к его форме, и стремится употреблять продукты, которые и дешевы, и питательны, профессионалы предпочитают продукты вкусные, дающие здоровье, легкие для организма и не отражающиеся на весе» [222, р. 190].

В целом «Книга о вкусной и здоровой пище» является лишь одним из примеров проникновения публичной сферы в частную. Она была призвана также решить проблему питания населения, но в вербальной сфере. Теперь никто (особенно за пределами СССР) не мог говорить о недостатках в этой сфере. Книга была призвана закрыть эту брешь, что и произошло. Подобно «Кубанским казакам» в кино она отразила тему изобилия, только в книжной форме. Важно, что это чисто семиотическое решение: проблема изобилия решается не в сфере реальности, а в разных семиотических языках, что можно изобразить в следующем виде:



Интересно, что и в том, и в другом случае речь идет о принципиально визуальной составляющей, поскольку именно она действует на массовое сознание непосредственно, минуя всяческие фильтры. Мы говорим о «Книге о вкусной и здоровой пище» как о визуальной, поскольку до сегодняшнего дня у каждого, кто держал ее в руках, встают

перед глазами цветные иллюстрации, созданные достаточно тематически. Апофеозом книги являются ее развороты, где огромный праздничный стол искрится икрой, винами, поросенком и подобными радостями жизни.

Отсутствие изображений людей делает главным героем книги ее читателя: сообщение не только направлено на него, но и, в отличие от «Кубанских казаков», он волен направлять свое внимание на то, что вздумается. Он, словно дитя, становится полноправным владельцем данного нарисованного мира.

РАБОЧИЙ И КОХОЗНИК: СКУЛЬПТУРА «РАБОЧИЙ И КОЛХОЗНИЦА»

— Какой тезис Ленина иллюстрирует собой министр культуры Фурцева?

— Ленин сказал: «У нас каждая кухарка может управлять государством» (анекдот).

В структуре идеологических текстов встречаются два типа единиц: символы и высказывания. Символы отмечают ключевые моменты картины мира, высказывания связывают их между собой. Символы и высказывания реализовывались как вербально, так и невербально. Например, «вечно живой» Ленин невербально реализовывался в обязательной скульптуре, украшавшей центральную площадь города или села. Различие было только в материале, из которого делалась скульптура. Придаваемые фигуре позы не отличались принципиальным разнообразием, что говорит об определенной нейтрализации этого аспекта невербальности. Пренебрежение характеристиками невербальности говорит о принципиальной вербальности этой скульптуры. Она являлась не самостоятельным элементом мира, а иллюстрацией вербального мира. Вторым таким же обязательным элементом был «пионер с горном».

Скульптура «Рабочий и колхозница» В. Мухиной также принадлежит к подобной невербальной реализации, которая функционировала наравне с вербальной. Подобные бинарные сочетания пронизывают всю идеологическую схему социализма. Мы знаем сочетания «Маркс и Энгельс», «Ленин и Сталин», «партия и правительство» и даже «Чук и Гек». Но это другой тип сочетаний, поскольку в них встречаются два типа реализации одной природы (по типу римских близнецов Ромула и Рема).

«Рабочий и колхозница» — это особая идеологема, поскольку она соединяет представителей двух классов, принятых за основу в рамках бывшего СССР. Это конкретная реализация идеологемы «рабочий класс и трудовое крестьянство». Враги также оформлялись в подобный формат: «буржуазия и помещики». Интеллигенция не попадала на престижное место еще и потому, что ей не находилось места в бинарном противопоставлении. Ее все время приходилось выделять в дополнительный структурный элемент: *«успехи социализма в нашей стране радовали не только партию, не только рабочих и колхозников. Они радовали также всю нашу советскую интеллигенцию, всех честных граждан СССР»* [73, с. 309].

«Рабочий и колхозница» обладают особым статусом по следующим причинам:

а) Это объединение иного уровня, чем список типа «Ленин и Сталин».

б) «Рабочий и колхозница» реализуют несколько оппозиций, в том числе и базового уровня «мужской/женский».

в) Оппозиция типа «Свинарка и пастух» обладает иным статусом, поскольку находится в рамках одного класса, а именно «трудового крестьянства».

г) «Рабочий и колхозница» принципиально вычеркивают из своих интерпретаций любые сексуальные интерпретации. Здесь был заложен иной уровень пафосности, не позволяющий давать любые «занижающие» интерпретации.

Пафос возникает за счет образов, которые реализуют в себе характеристики целых классов..

«Рабочий и колхозница» визуально реализуют идею объединения двух классов. В динамике их фигур содержится ничем не сдерживаемое движение вперед. Мужской пол,

присвоенный именно рабочему классу, подчеркивает его доминантный характер. Ср. сочетание «Колхозник и рабочая», которое уже не носит столь пафосного характера. Хотя сочетание «Колхозник и колхозница» вновь обретает нужную пафосность.

Правители всегда были очень чувствительны к идеям памятников. К. Победоносцев, к примеру, пишет в своей объяснительно записке по поводу памятника императору Александру II, что «он должен быть понятным народу без объяснений» [75, с. 528]. Все фигуры в этом плане достаточно четки: «К ногам главнокомандующего Шамиль кладет свою саблю, а за ним последуют и ханы Средней Азии. На другой стороне точно так же к обер-церемонимейстеру собираются депутаты народа русского, несут хлеб-соль крестьяне польские, и наконец болгары с образами».

Странным образом в советское время никогда не было обобщенной фигуры для воплощения идеи партии. Возможно, это произошло из-за частичной реализации этой идеи в обязательной фигуре Ленина. Число памятников Ленину при ограниченном наборе разрешенных поз было бесконечным. В основном Ленин был активным, деятельным, призывающим. Уже потом стали появляться чисто фантастическое — просто головы вождя огромных размеров. Туловище исчезало вообще, что говорило вновь о преобладании символического над реальным.

«Партия» чаще воплощалась в лозунгах, вероятно, из-за необходимости для реализации этой идеи множества фигур, а множество всегда предполагает альтернативность, что противоречит идеологическим памятникам. При этом слова «СЛАВА КПСС» реально функционировали как визуальная единица, имеющая одновременно вербальное наполнение. Ср. анекдот про Славу Метервели, которого знают, и Славу КПСС, который неизвестен.

В памятниках, отображающих революцию, всегда присутствовали бородатый солдат, символизирующий крестьянство, и матрос. Фигура Ленина иногда находилась в «окаменении» именно подобного типа символизаций. При этом перед скульптором всегда стояла проблема, как сделать так, чтобы не возникало ощущения, будто присутству-

ющие в этой композиции вооруженные солдат и матрос арестовывают Ленина.

Еще одним из типов сочетаний являются чисто синтагматические типа «красная армия» или «большевистская партия». Они характерны именно для страны, которая полностью меняет систему оценок, что позволяет использовать «старые слова» только с новыми определениями типа «советская власть». Особый статус этим словам обычно придает написание их с прописной буквы. Назовем этот тип переименованием, поскольку таким образом вводится старый объект, но особый статус этих переименований позволяет акцентировать их идеологическую сущность.

Возьмем для анализа отрывок из «Краткого курса»:

«Красная армия победила потому, что Советская страна не была одинока в ее борьбе с белогвардейской контрреволюцией и иностранной интервенцией, что борьба Советской власти и ее успехи вызывали сочувствие и помощь пролетариев всего мира. В то время как империалисты пытались задушить Советскую республику интервенцией и блокадой, рабочие этих империалистических стран были на стороне Советов и помогали им. Их борьба против капиталистов враждебных Советской республике стран содействовали тому, что империалисты были вынуждены отказаться от интервенции. Рабочие Англии, Франции и других стран, участвовавших в интервенции, организовывали стачки, отказывались грузить военное снаряжение в помощь интервентам и белогвардейским генералам, создавали «комитеты действия» под лозунгом — «Руки прочь от России!»» [73, с. 235].

В этом отрывке представлены следующие рассмотренные типы сочетаний:

Бинарные объединения: контрреволюция и интервенция, интервенция и блокада, интервенты и белогвардейские генералы, борьба и успехи.

Переименования: Красная армия, Советская власть, Советская республика, белогвардейские генералы.

Противопоставления типа «война и мир», «лед и пламень» и т.д., представляющие два противоположных полюса, реализуются в текстах этого периода, выражая столкновение. При этом есть два варианта действий: победные — с одной стороны, и заранее обреченные на провал — с другой.

Обозначение «новый» также несут положительный смысл. Даже минимальные изменения все равно делают хороший объект новым: *«На XVII съезде партии был принят новый устав партии, отличающийся от старого устава партии прежде всего тем, что в устав введена вступительная часть»* [73, с. 309].

С другой стороны, любые изменения плохого объекта не могут изменить его сути. *«На XVII съезде выступили Бухарин, Рыков и Томский с покаянными речами, восхваляя партию, превознося до небес ее достижения. Но съезд чувствовал, что их речи носят печать неискренности и двурушничества, ибо партия требует от своих членов не славословия и восхваления ее достижений, а честной работы на фронте социализма, чего, однако, давно уже не замечалось за бухаринцами»* [73, с. 310].

Многоступенчатая схема аргументации не позволяет ее реально отслеживать. Подобные сложные структуры не обрабатываются человеческим сознанием с помощью анализа, а принимаются целиком. Например: *«Для улучшения дела проверки исполнения решений партии и правительства XVII съезд партии вместо ЦКК -РКИ, которая со времени XII съезда партии успела уже выполнить свои задачи, создал Комиссию Партийного Контроля при ЦК ВКП (б) и Комиссию Советского Контроля при Совнаркоме СССР»* [73, с. 302—303].

В целом речь идет о создании понятия, известного в области паблик рилейшнз как *корпоративный имидж*. Эта задача стоит и на Западе. Так, правительство консерваторов в Великобритании от затрат на «рассказ о себе» в размере 35 миллионов фунтов в 1979 г. перешло к 200 миллионам в 1989 г. [264, р. 131]. При этом часть из этих сумм направлена на создание имиджа открытого правительства.

Речь идет об имидже целого государства, причем на неформальном уровне предполагается, что от имиджа руководства зависит имидж государства. Поэтому и государство, и его руководство подавались как *сильное, единое, прогрессивное*. В это же время иной полюс, его врагов, подавался с отрицательными характеристиками как *несильные, неединные, непрогрессивные*. В последнем случае всегда подчеркивается «ниточка», ведущая из прошлого, в то время как сам СССР всегда был устремлен в будущее, что, кстати, хорошо сим-

волизируют «Рабочий и колхозница». Причем даже сегодняшние аналитики отмечают, что «белые» оказались слабее в области пропаганды, они не смогли обеспечить себе поддержку со стороны крестьянства, их идеология не обладала той же стройностью [262, р. 201].

Пропаганда продуцирует разнообразные *модели счастья*, которые годны для употребления в целом наборе контекстов, к примеру, для солдата — счастье гибели на войне, поскольку он защищает свою родину. В случае советской пропаганды в любом, даже совершенно частном контексте всегда обязательно присутствие государства.

Модели счастья самого государства в значительной степени были связаны с пространственными символами *большого* и *высокого*. «Планов громадь» именно отсюда. Покорение вершин и стратосферы демонстрируют распространение советского пространства в новые измерения. Символами государства были также технические символы могущества: самолеты и танки, электростанции и мосты, трактора и грузовики. Это символы технического прогресса, обладание которыми делает страну сильнее.

Т. Кларк, анализируя одну из картин 1934 г. из русского музея в Киеве, говорит о ней в терминах голливудского внешнего вида и рекламной композиции [226, р. 89]. Там изображены двое монтажников (кстати, как «рабочий и колхозница», там тоже он и она: монтажник и монтажница), поднимающихся на опору электропередач. Здесь реализуются символы высоты, электричества как символика прогресса, а также индивидуальные отношения двух человек противоположного пола.

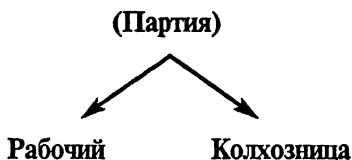
Обязательность врага делает идеологический сценарий более объемным и убедительным. Это модель массовой культуры допечатного периода, аналогом которого является сказка, где присутствует строгое черно/белое разделение на плохих и хороших, где врагам разрешены только отрицательные действия. Подобная утрировка необходима для работы с массовым сознанием, где невозможен вариант воздействия типа акварели, а требуются театральные декорации. Поэтому «Краткий курс» любит врагов особой любовью — ведь они представляют обязательный структурный элемент, без

которого не могут проявиться подлинные герои: «Очищая свои ряды и укрепляя их, уничтожая врагов партии и беспощадно борясь против извращений линии партии, большевистская партия спланировалась еще теснее вокруг ЦК партии, под руководством которого партия и страна Советов переходили к новую этап — к завершению строительства бесклассового, социалистического общества» [73, с. 314]. Как видим, здесь есть определенная однозначность, когда совмещается цель достижения бесклассового общества с наличием врагов на бесконечный период времени.

Сталин чувствует себя уверенно в вербальном пространстве, которое полностью ему подчинено. Поэтому столь конкретные задачи ставятся именно в области агитации.

«Рабочий и колхозница» В. Мухиной выразила четкий корпоративный имидж советского государства как динамичного и сильного, покоящегося на соединении двух классов, в четкой визуальной форме. Визуальная форма — принципиально монологична, она воспринимается как данность, поскольку диалог предполагает ответ, выраженный в рамках того же канала, что в данном случае становится практически невозможным. В постсоветское время диалогичность возникала, когда рабочего и колхозницу, к примеру, одевали в ткань.

Реально двучленная структура «рабочий и колхозница» подразумевала за собой такой компонент, как партия.



В этом, вероятно, состоит переход к тернарности, реализуемый в советской цивилизации. К примеру: советский народ — все прогрессивное человечество — американские империалисты. «Советский народ» сближен с «прогрессивным человечеством» по типу мышления, в то же время «прогрессивное человечество» сближено с «империалистами» по месту проживания.

Можно вспомнить ряд подобных образований: «Ленин, партия, комсомол», «Партия, профсоюзы, комсомол» или «Пионер, комсомолец, коммунист». Здесь объединение строится по принципу нарастания какого-то признака: у пионера его наименьшее количество, у коммуниста — наибольшее.

МИР СОВЕТСКИХ ГЕРОЕВ

Когда Маленков посетил Чехословакию, для него устроили охоту на фазанов. Из кустов вылетел фазан. Маленков выстрелил. — Чудо! — восторженно аплодирует Запотоцкий. — Невиданное чудо, товарищ Маленков! Мертвый фазан продолжает лететь (анекдот)

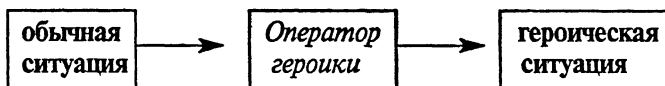
Сталин, как отмечал в своих воспоминаниях Л. Троцкий, в качестве своего идеала вождя видел Гитлера [175]. Это говорит об определенном сближении тоталитарных моделей, в основе которых лежит как герой, так и враг, оба являясь равноценными элементами этой системы. Сила героя определяется силой врага, без него ему невозможно проявить себя. Ибо враг в виде преодоления природных катаклизмов (авария, покорение горных вершин и т.д.) не дает нужного уровня личностной окрашенности. Таким образом, «герой» и «враг» являются взаимозависимыми сущностями.

Советская модель действительности может быть описана как героическая риторика. Целью ее является создание подвига или героя из любой благоприятной для этого ситуации. Герой — несомненно контекстно-зависимая единица. Герой невозможен вне героической ситуации. Например, нельзя стать героем в ситуации чтения газеты. Герой закрывает собой «разрывы» пространства и времени, как бы «сшивая» их собой, своей жизнью, доводя действительность до нормы.

Ситуация	возможность появления героя
нейтральная	—
отрицательная	+
позитивная	+

В последнем случае герой возможен в ситуации постфактум, когда героическая ситуация уже его проявила. Это ситуация триумфа героя. Собственно героическая ситуация другая, это ситуация борьбы, а не фанфар.

Когда за дело брались подлинные имиджмейкеры сталинского времени, то им удавалось из трагедии сделать триумф. В качестве примера можно назвать гибель «Челоскина». Оператор героики стремится из любой ситуации сделать подвиг. Мы можем изобразить его действие следующим образом:



Соответственно, возникает мифологема, что у нас в стране каждый может стать героем. Характерной чертой советского героя является его максимальная простота в обычной ситуации, героем он становится в новой ситуации, открываясь с новой стороны.

С другой стороны, героическая риторика подчеркивает работу с новыми и сверхъестественными ситуациями, поэтому для нее не является характерной схема повтора, рассмотренная выше в применении к фашизму. Новые ситуации всегда окружают советского человека, ему всегда дается возможность ощутить себя героем. Это и целина, это и БАМ. Работа с новым может дать возможность стать героем даже людям солидного возраста (типа И. Мичурина или И. Павлова).

То, что перед нами особая модель риторики, мы можем подтвердить следующим мнением Дж. Брауна: «Каким бы ни было поверхностное подобие между ними двумя, фашизм и коммунизм в основе своей противоположны. Фашизм — националистически сориентирован, коммунизм — интернационалистически; первый предназначен не для экс-

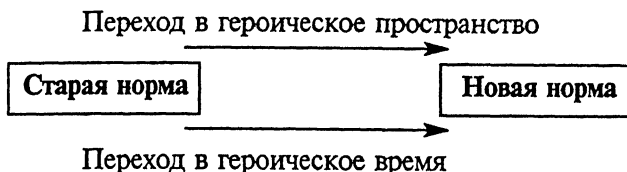
порта, последний — предназначен» [224, р. 116]. Из этого различия следует подтверждение наших рассуждений. Интер-ориентация требует перехода к новым ситуациям, национал-ситуация — замыкается на себе, что можно изобразить в следующем виде:



Сталинская героика имела еще одну цель, с которой сегодня вплотную столкнулись страны СНГ — это создание новой макроидентичности. Если сегодня это переход, например, для России от «советского человека» к «россиянину», то тогда следовало создать именно «советского человека». На это напрямую работали «Стихи о советском паспорте» В. Маяковского. Соответственно, все вводимые герои и враги призваны были уточнить, что такое хорошо и что такое плохо. Без наличия такой идентичности страна не может эффективно функционировать.

Сталинская героика максимально системна. Мы можем выстроить три типа порождения героя: военный, мирный и киногерой. Герой военного времени — это **герой обожествления**, его подвиг мы не в состоянии повторить. Герой мирного времени — это **герой подражания**, на повторение его подвига нас хочет подвигнуть пропаганда. **Герой обожания**, или киногерой — это герой мелодрамы или оперетты. Для каждого из типов героев характерен свой набор признаков.

Герой военного времени преодолевает границы ЖИЗНИ/СМЕРТИ. Он гибнет с точки зрения одной нормы, но возрождается в другой. Женщина-герой (например, Зоя Космодемьянская) выполняет мужскую функцию. Герой выступает в роли жертвы, благодаря которой общество восстанавливает ситуацию до первоначального уровня. Герой движется от старой нормы к новой, попадая в свое собственное героическое пространство-время.



Героическое время также носит особый характер из-за своей концентрированности: принятие решений, проведение тех или иных действий всегда реализуется «в доли секунды». Перед нами концентрированное время, поэтому в нем могут действовать не все. Трус не может принять решение за то время, которое отпущено для этого ситуацией в отличие от героя, потенциально готового к подвигу.

Герой мирного времени преодолевает *физические законы*: он «пашет», «добывает уголь», делая это за пределами возможного. Это Стаханов, Паша Ангелина. Подобное событие, как правило, накладывается на параллельное событие перехода героя в новое состояние: стать комсомольцем, коммунистом, метростроевцем и т.д. Он хочет и стремится быть в этом пространстве, социально более высоком, для чего ему следует выполнить ряд дел, существенных для общества. В фильме «Большая жизнь» совершившего трудовой подвиг героя к концу второй серии назначают начальником шахты. При этом шахтеры в фильме не только работают вместе, но и вместе проводят свободное время, создавая идиллическое единое пространство-время. Все это являлось отражением взглядов советских вождей, именно такая картина мира была всего милее их сердцу.

Герой мелодрамы движется в схеме *потери* (мужа, жены, детей). Появление героя в сюжете связано с тем, что он не знает о потере или о двойнике. Для такого сюжета очень важно узнавание тайны, которую знает зритель (или заранее догадывается), но не знает сам герой. Подобный сюжет характерен для оперетты, мьльной оперы, женского романа. Герой мелодрамы также проникает в новый социальный круг, который он не смог бы преодолеть, если бы за ним не было тайны. Подобного сюжета не лишена и сказка, например, вариант Золушки с ее проникновением в высший свет. В западных вариантах одним из важных моментов является

преодоление сословных границ, которое удается совершить герою (героине). В сталинском варианте этого сюжета движение вверх по социальной лестнице обусловлено трудом во благо общества. В нашем случае западный мелодраматический сюжет переплетается с героическим сценарием мирного времени. Например, в фильме «Свинарка и пастух» любят и ищут друг друга передовики производства. Только они — равноценные в труде во благо — могут полюбить друг друга. Нельзя себе представить вариант «женского романа», т.е. мелодраматического повествования, без социальной нагрузки в рамках сталинской эпохи. Например, А. Жданов следующими словами укоряет А. Ахматову:

«Разве можно культивировать среди советских читателей и читательниц присущие Ахматовой постыдные взгляды на роль и призвание женщины, не давая истинно правдивого представления о современной советской женщине вообще, о ленинградской девушке и женщине-героине, в частности, которые вынесли на своих плечах огромные трудности военных лет, самоотверженно трудятся ныне над разрешением трудных задач восстановления хозяйства?» [63, с. 16].

Из двух ролей женщины — женщина в любовной/семейной роли и женщина на восстановлении народного хозяйства — возможен выбор только одной.

Враг выступает в роли антипода героя. Враг, как правило, связан незримыми нитями либо с дореволюционным прошлым, либо с западным настоящим. Например, о М. Зощенко А. Жданов говорил следующее:

«Насквозь гнилая и растрепанная общественно-политическая и литературная физиономия Зощенко оформилась не в самое последнее время. Его современный «произведения» вовсе не являются случайностью. Они являются лишь продолжением всего того литературного «наследства» Зощенко, которое ведет начало с 20-х годов <...> Это означает, что Зощенко как тогда, так и теперь не нравятся советские порядки. Как тогда, так и теперь он чужд и враждебен советской литературе» [63, с. 9].

В этом же докладе А. Ахматова выводится из «дворянско-буржуазного течения в литературе».

Враг действует исподтишка, раскрываясь только в самый последний момент. Поступки врага исходно плохи, поскольку он делает их скрыто. Герой, в отличие от него, характеризуется цельностью своего характера. Враг может обмануть героя, прикинувшись иным, но распознавание врага обязательно наступает. Мифология сталинского «Краткого курса» раскрывает подобное коварство врага:

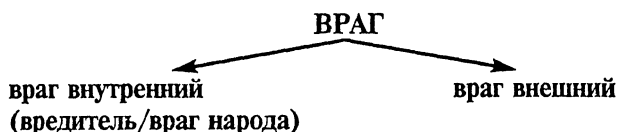
«Теперь, когда открытая борьба против колхозов потерпела неудачу, они изменили свою тактику. Они уже не стреляли из обрезов, а прикидывались тихонькими, смиренными, ручными, вполне советскими людьми. Проникая в колхозы, они тихой сапой наносили вред колхозам. Всюду они старались разложить колхозы изнутри, развалить колхозную трудовую дисциплину, запутать учет урожая, учет труда. Кулаки поставили ставку на истребление конского поголовья в колхозах и сумели погубить много лошадей. Кулаки сознательно заражали лошадей сапом, чесоткой и другими болезнями, оставляли их без всякого ухода и т.д. Кулаки портили тракторы и машины. Кулакам удавалось обманывать колхозников и проводить вредительство безнаказанно потому, что колхозы были еще слабы и неопытны, а колхозные кадры не успели еще окрепнуть» [73, с.302—303].

Враг пытается уничтожить положительные результаты труда героя. Это мальчиш-плохиш при мальчише-кибальчише. Он, как мы помним, продался за бочку варенья и ящик печени. Выбор этой цены автором говорит сам за себя, характеризуя особенности того времени.

Враг служит оправданием того, что происходит. Причем не менее важным, чем герой. «Враги народа» в сталинское время своим вредительством не давали наступить эре всеобщего счастья. Сходная модель была и по другую сторону «железного занавеса». Как пишет директор Института коммуникативных исследований Лилдского университета Филип Тэйлор:

«В кино повсюду были шпионы: как еще можно было объяснить то, что технологически более слабые русские сделали ядерную бомбу, если предатели не передали им секрет?» [262, р. 261].

Систематика врагов предполагает два типа: враги внутренние и враги внешние.



Внутренние враги выглядят как друзья. Враги внешние полностью отличаются, поэтому борьба с ними носит более определенный характер. Тот или иной этап борьбы с врагами становится тем или иным историческим этапом, т.е. реально история определяется типажам врагов. Приведем цитату из «Краткого курса» об одном из таких этапов:

«Огромное значение в этот период имела чистка партийных рядов от примазавшихся и чуждых элементов, начатая в 1933 году, в особенности же — тщательная проверка партийных документов и обмен старых партийных документов на новые, предпринятые после злодейского убийства С.М. Кирова. До проверки партийных документов во многих партийных организациях царили произвол и халатность в обращении с партийными билетами. В ряде местных парторганизаций был вскрыт совершенно нетерпимый хаос в учете коммунистов, чем воспользовались враги для своих гнусных целей, используя партбилеты в качестве ширмы для шпионажа, вредительства и т.п.» [73, с. 313].

Враг может прикрыться и личиной биологической связи.

Сталинский тип героя четко иерархичен: просто герой часто не знает, что он герой. Для своего полного раскрытия ему нужен партийный работник, который может направить и подправить. Если для героя возможны некоторые отклонения от нормы поведения, то это практически невозможно для партийного работника. Образуется следующая трехчленная структура:

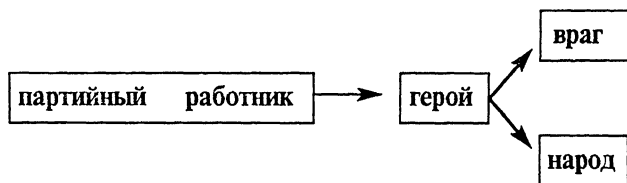


А. Фадеев не зря переписывал «Молодую гвардию»: в ней не хватало данной трехчленности. Одного противопоставления «герой — враг» явно было недостаточно. В новой схеме партийный работник побеждает врага с помощью героя, герой выступает в роли предохранительного клапана между партийным работником и врагом. Враг может подобраться к герою, но никак не к партийному работнику.

В дополнение к этой схеме строится схема географическая, где Москва становится центром всего мира. Стремление в Москву характеризует не только чеховских героев, но и героев фильма «Волга-Волга», где главный бюрократ посылает целый оркестр в Москву ради того, чтобы отправиться туда же в качестве руководителя делегации.

Иногда партийный работник также выступает в незаметной роли (например, «ответственный шофер» у А. Корнейчука). Однако затем он раскрывает свое инкогнито, чем успокаивает зрителя, в том числе и возвращением к трехчленной структуре, где он занимает иерархически высшее место. Этот переход в иерархии интересен сюжетно и эмоционально. Зритель попадает в ситуацию узнавания/неузнавания, характерную не для героического сюжета, а для сюжета оперетты.

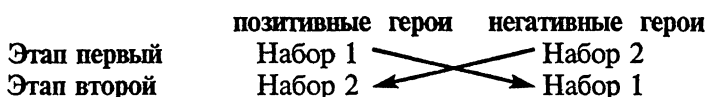
Трехчленная схема героя должна быть наполнена точкой «народ»: герой как в античной мифе при отрыве от земли теряет свои героические возможности. Схема тогда приобретает следующий вид:



Герой тогда выступает в качестве связующего звена между всеми данными элементами, которые также входят в определенные отношения между собой. В ситуации триумфа именно партийный работник имеет право возложить на героя лавровый венок. Дает тот, кто уже имеет это, следовательно, партийный работник живет в своем собственном

пространстве, и условный «лавровый венок» является элементом этого высшего мира, которым он просто делится с героем.

В постсоветское время смена героики сопровождалась разрушением вышеотмеченных типажей. Переходный период вынес на первое место отрицательных героев. Опросы школьников стали показывать, что они выбирают в числе представителей престижных профессий «киллера» или «проститутку». Смена героев выглядит следующим образом:



При этом бывшие позитивные герои одновременно «мигрировали» в сферу негатива (например, Павлик Морозов), что отражается не только в новых негативных характеристиках, но и в уходе их со сцены активного повтора в виде школьной программы, фильмов, пьес и т.д.

Сегодня во взрослом мире герой бизнеса превратился в «нового русского» с очень четко очерченными характеристиками, которые соответствуют двоичнику времен мультипликационного кино. Необычным стало то, что этот отрицательный герой соединен в реальности с символами успеха (деньги, машина и т.д.). Массовое сознание отвергает его успешность, моделируя в ответ его тупость и т.д., тем самым нейтрализуются характеристики успешности.

Герой движется в рамках основных бинарных противопоставлений, которые можно перечислить в следующем виде:

<i>Москва</i>		<i>Провинция</i>
<i>Армия</i>		<i>Народ</i>
<i>Партия</i>		<i>Народ</i>
<i>Рабочие</i>		<i>Колхозники</i>

Здесь не только присутствует определенная причинно-следственная связь между первым и вторым членом. Первый член — сильный член оппозиции, где необходимое качество выражено максимальным образом, второй член —

слабый член оппозиции, рассматриваемое качество в нем нейтрализовано. Герой может проявиться только с учетом роли первого члена, в рамках него, поскольку первый член отражает более нормированный элемент общественной структуры.

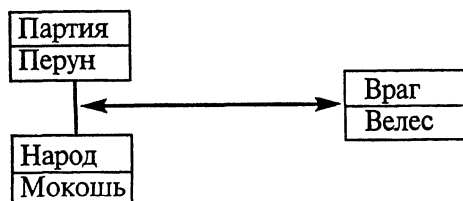
Герои образуют идеальную структуру общества, реальная структура была, естественно, иной. Героическая структура общества в первую очередь должна проявляться в условиях отрицательных ситуаций, когда вступают в действие иные нормы поведения. Герой олицетворяет представления вождей об идеальном гражданине.

Иерархии картины мира заданы вышеназванными бинарными противопоставлениями. Для признания следует двигаться в Москву, где кремлевские звезды светят над всем миром. Они выполняют тут роль мирового дерева, которое в ритуале задает сакральный центр мира, знак ключевого места-времени [172, с. 119]. В. Топоров связывает миф с ритуалом: миф «контролируется им и эксплицирует тайные глубинные смыслы ритуала в дискретной форме» [172, с. 115]. Так, в нашем случае движение в Москву в фильме «Волга-Волга» четко задает этот центр.

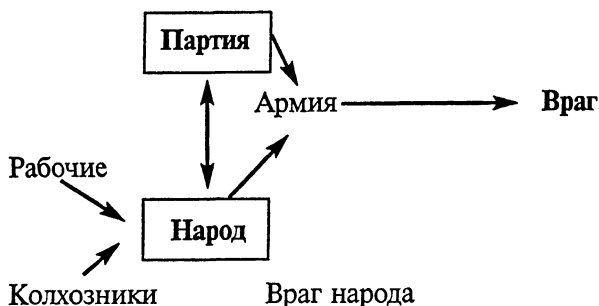
Мы можем поискать параллели нашей бинарной оппозиции с основными типами богов древних славян. В соответствии с реконструкцией В. Топорова речь может идти о трех божествах, принадлежащих основному мифу: Перун, Волос и Мокошь. Перун стремится занять место Партии в нашей модели, поскольку является универсальным богом, который мог заменить любого другого. Ему противостоит Велес, который связан со смертью. Таким образом, Велес является символом нашей вражеской составляющей, т.е. множественность врагов одновременно предполагает существование единого протобрага. В нашем наборе противопоставлений не хватало противопоставления с врагом, который и оправдывает появление героя и развитие сюжета.

Мокошь как женский персонаж демонстрирует продолжение рода, а также сюжеты, связанные с нарушением запретов, за которые потом несет наказание. Этот тип поведения относится к категории Народ. В «Кратком курсе» схема зависимости партии и народа передается следующим обра-

зом: «Эти гигантские успехи достигнуты рабочим классом, колхозниками и всеми трудящимися нашей страны благодаря смелой, революционной и мудрой политике партии и правительства» [73, с. 314—315]. В результате перед нами возникает следующая трехчленная структура, позволяющая порождать основной миф сталинской эпохи:



В результате для противостояния врагу порождается Армия, а Народ еще дифференцируется на Рабочих и Колхозников. Правда, в идеальной схеме этого деления нет, поскольку есть «задача укрепления смычки города и деревни» [73, с. 257]. Теперь наша схема приобретает следующий вид:



Подобная схема мира позволяет в каждой из точек выделять свои типы героев, при этом самые важные герои образуются в точке пересечения с врагом. Пересечение «враг народа — народ» порождает такую категорию, как «народная милиция»/ «органы» со зловещей формулировкой сталинского времени: «органы не ошибаются». При этом статус «врага» не декларируемый, а реконструируемый. О враге говорится меньше, но он необходим для правильного функционирования всех остальных элементов. «Краткий курс»

констатирует: «Капиталистическое окружение, стремясь ослабить и подорвать могущество СССР, усиливает свою «работу» по организации внутри СССР банд убийц, вредителей, шпионов» [73, с. 315]. В таких прямых высказываниях враг вырастает до вселенских масштабов.

В. Топоров пишет об «основном» мифе:

«“Основной” миф был мифом по преимуществу и претендовал на универсальное значение, на то, чтобы быть руководством человека на его жизненном пути. <...> Более того, “основной” миф играл центрирующую роль для всего мифопоэтического наследия той эпохи, как бы собиравшегося в целом “основного” мифа и вместе с тем из него исходящего. В широком смысле слова именно «основной» миф в совокупности его вариантов и версий может рассматриваться как рамка и контекст всей мифопоэтической словесности той эпохи, которые играли отчетливо объединительную роль. В нем миф соединялся с ритуалом, частное и конкретное с общим, парадигматическое с синтагматическим, случайное с необходимым, исключение с правилом, годовой цикл с жизненным и т.п. Естественно, что такой текст не мог быть забыт» [172, с. 95].

Если мы глянем на советский ритуал, которым формировался годовой цикл — **военный парад и демонстрация трудящихся**, — то можем увидеть четкое выделение данных вышеотмеченных составляющих. Военный парад олицетворял потенциал героев в действии. Это АРМИЯ, само наличие которой держит на дальних подступах. Иногда в довоенное время на демонстрации могли присутствовать чучела врага — буржуй, Чемберлен и т.д. В послевоенное время иногда мог появиться дядя Сэм на карикатуре, но ВРАГ не мог своим присутствием испортить подобный праздник. НАРОД представляли колонны радостных трудящихся, которые приветствовали олицетворение ПАРТИИ на трибуне.

Как видим, все основные элементы сталинского мифа находили свое выражение в этом ритуале. Второй, столь же распространенный ритуал, — **торжественное собрание** — снова четко разделял ПАРТИЮ и НАРОД, а АРМИЯ олицетворяла свое присутствие в торжественном карауле у знамени. Перед нами проходит кодировка основного мифа уже невербальными средствами.

Что сделала перестройка как таковая? Она принялась нарушать основной миф. Она изменяла подчиненную роль НАРОДА по отношению к ПАРТИИ, что проявилось в определенном проявлении ненормированного поведения на демонстрациях. В одном случае поднимали не те флаги (Львов), в другом — не те лозунги (Киев), в третьем — происходил уход с трибуны олицетворения ПАРТИИ (М. Горбачев однажды спешно покинул Мавзолей).

Сталинский мир был достаточно четко структурированным, имел точки пространства и времени, где было возможно и необходимо порождение героев. Например, смерть в одной из его точек вызывала соответствующую реакцию в другой.

Сталинский миф системно порождал героев и врагов, реально существуя и реализуясь в последующих наборах высказываний. Например, статус ПАРТИИ передавал набор высказываний уже другого уровня: *Партия — наш рулевой, Партия — честь, ум и совесть эпохи, Партия — авангард советского народа, Слава КПСС*. Тексты в свою очередь служили расширением этих высказываний, находясь уже как бы на третьем уровне по отношению к базовому. При этом строится идеальная общественная схема, которая заранее декларируется как отличающаяся от реальной, сегодняшней. В печально известном докладе А. Жданова есть такие слова:

«Показать эти новые высокие качества советских людей, показать наш народ не только в его сегодняшний день, но и заглянуть в его завтрашний день, помочь осветить прожектором путь вперед — такова задача каждого добросовестного советского писателя. Писатель не может плестись в хвосте событий, он обязан идти в передовых рядах народа, указывая народу путь его развития. <...> Писатель должен воспитывать народ и вооружать его идейно. Отбирая лучшие чувства и качества советского человека, раскрывая перед ним завтрашний его день, мы должны показать в то же время нашим людям, какими они не должны быть, должны бичевать пережитки вчерашнего дня, пережитки, мешающие советским людям идти вперед. Советские писатели должны помочь народу, государству, партии воспитать нашу молодежь бодрой, верящей в свои силы, не боящейся никаких трудностей» [63, с. 24].

Здесь речь идет о конструируемой действительности, которая призвана отразить вышеотмеченный основной миф сталинского периода.

Контроль над литературой выступает в роли контроля над сферой желания, попыткой воплотить ее в социально одобренные формы. Поэтому столь важное значение придается писательскому труду в сталинскую эпоху. И делается это всегда с акцентом на советскую молодежь, подрастающее поколение. Литература — это материализация сферы желания, допускающая разнообразные формы контроля. Сквозь литературу и кино можно было контролировать сферу желания советского человека самым быстрым и эффективным способом.

БРОНЯ КРЕПКА, И ТАНКИ НАШИ БЫСТРЫ: О знаковости техники

Когда М. Горький вернулся из-за границы, он пожелал увидеть прогресс советской промышленности. Показали ему первый автоматизированный завод, который выпускал таблички с надписями: «Вход воспрещен», «Свободных мест нет», «Лифт не работает» (анекдот)

Общество задает образцы для подражания в наиболее уязвимых для него точках действительности, чтобы усилить и укрепить их. Для сталинского времени, когда происходила интенсивная индустриализация, такой точкой стала техника. В противопоставлении ПРИРОДА/ТЕХНИКА приоритет отдан не природе, а технике. И это объяснимо, поскольку «техническое» требовало еще создания, было местом приложения усилий, а природное в принципиальных своих параметрах существовало всегда. Психологически техника выступает как знак неограниченного расширения возможностей человека.

Природа находит свою подлинную реализацию только в процессе служения человеку. И тут Мичурин выступает Ньютоном социального порядка, когда заявляет, что нельзя ждать милостей от природы. Только в служении человеку природа реализует свой истинный смысл. Отсюда следует метафоризация типа «разбудить», показывающая, что предыдущее состояние природы было неверным и временным. Горные вершины также становятся «правильными» (освященными) только тогда, когда туда ступит нога человека, будет установлен флаг. Реки, текущие вспять, это идеал природного устройства. Здесь возникает характерный образ героя — покорителя природы, преодолевающего снега и пустыни, поднимающегося на самые высокие вершины, спускающегося в самые глубокие пещеры. Только с помощью таких походов природа включается в подлинное мироздание, получает имя (типа пик Сталина). Безымянная природа нераспознаваема, она сливается в единый хаотический мир. Мир с именами обязан себя вести уже по другому, он имеет куда меньше прав на стихийные бедствия. Наиболее значимые имена дублируются многократно: улица, площадь, город, горная вершина. Герой — тот тот, кто несет имя безымянной точке природы.

Смена списка героев автоматически приводила к замене названий. Ср. известный анекдот: «После переименования Сталинграда в Волгоград с того света пришла телеграмма: «Согласен. Иосиф Волгин». Некоторые города проходят этот процесс многократно в соответствии с изменяющейся линией партии. Так было, например, с Луганском — Ворошиловградом, когда Ворошилов то исчезал, то вновь появлялся в советском пантеоне героев. В. Паперный отмечает:

«Имена должны как бы проиграть ту же драму, что и их носители. За этим стоит, во-первых, мифологическое отождествление имени и его носителя, во-вторых, представление о возможности почти самостоятельного функционирования имени» [134, с. 187].

«У природы нет плохой погоды, каждая погода хороша», — неверно с точки зрения прошлой модели мира. Такой взгляд дает природе право на автономное существование от человека, и человеку приходится подстраиваться к ней.

Настоящий герой в состоянии вернуть природу в заданное русло, спасая людей, восстанавливая коммуникации после аварии. Герой сам управляет природой, а не природа им. Бинарная оппозиция «Природное — Техническое» отдает предпочтение техническому. Сталинский «Краткий курс» также заявлял: «Техника приобретала, таким образом, решающее значение» [73, с. 299]. И это не просто стратегическое решение, а точка, где сразу же возникает категория «врага». В мифологии «Краткого курса» все расставляется по своим местам: «Наши хозяйственные работники считали, что техника — дело «спецов», дело второстепенное, порученное «буржуазным спецам», что хозяйственники-коммунисты не обязаны вмешиваться в технику производства» [73].

Покорение природы выразилось в замене имен не только городов, но и людей. От Революции и Октябрины к Вилену и Мэлору. Языковое преобразование мира шло впереди его реальных изменений. В. Кривулин даже судьбу «временного» правительства выводит из самого этого слова: «Крестьянское большинство населения к «Временному» правительству просто-таки не могло относиться серьезно, следовательно, не могло подчиняться ему. Насильственное свержение промежуточной власти сделалось неизбежным» [93, с. 36].

При этом именно «новизна» становится определяющим признаком. Лев Троцкий следующим образом описывает процесс возникновения одного обозначения:

«Власть в Петербурге завоевана. Надо формировать правительство.

— Как назвать его? — рассуждал вслух Ленин. — Только не министрами: это гнусное, истрепанное название.

— Можно бы — комиссарами, — предложил я, — только теперь слишком много комиссаров. Может быть, верховные комиссары?.. Нет, “верховные” звучит плохо. Нельзя ли “народные”?

— Народные комиссары? Что ж, это, пожалуй, подойдет. А правительство в целом?

— Совет Народных Комиссаров?

— Совет Народных Комиссаров, — подхватил Ленин, — это превосходно: пахнет революцией.

Последнюю фразу помню дословно» [177, с. 212].

Здесь самым важным аргументом становится не повторение старого, а привносимый акцент на новом.

Техника в этом плане была принципиально новой, советской, а не чуждой, пришедшей из прошлого. Она сразу «пахла революцией». Особая роль техники отмечена памятниками техническим объектам — трактору, истребителю, танку, трамваю... Если природа порождает новую природу, то техника порождает новую технику, в том числе и в виде памятников.

При пересечении противопоставлений вырастает роль вдвойне маркированных элементов. Так, сочетание двух маркировок АРМИЯ и ТЕХНИКА порождает особое значение. Это находит отражение в фильме «Трактористы», ведь трактористов можно легко переобучить в танкистов. Точно так была построена и экономика. Танковый завод может выпускать трактора, но не наоборот. Приоритет все равно отдан армии. Из пилотов планеров получаются хорошие летчики. Песенные строки «Броня крепка, и танки наши быстры» становятся гимном как танкистов, так и трактористов.

Идеальный человеческий тип технизируется, в нем выпячивается то, что сегодня мы бы отнесли к роботу, а не к человеку. При отсутствии роботов система стремилась сделать его из человека. «Краткий курс» приводит цитату из выступления Сталина на совещании стахановцев в ноябре 1935 года:

«Присмотритесь к товарищам стахановцам. Что это за люди? Это, главным образом, — молодые или средних лет рабочие и работницы, люди культурные и технически подкованные, дающие образцы точности и аккуратности в работе, умеющие ценить фактор времени в работе и научившиеся считать время не только минутами, но и секундами. Большинство из них прошло так называемый технический минимум и продолжает пополнять свое техническое образование. Они свободны от консерватизма и застойности некоторых инженеров, техников и хозяйственников, они идут смело вперед, ломая устаревшие технические нормы и создавая новые, более высокие, они вносят поправки в проектные мощности и хозяйственные планы, составленные руководителям нашей промышленности, они то и дело дополняют и поправляют инженеров и техников, они нередко учат и толкают их вперед, ибо это — люди, вполне овладевшие техни-

кой своего дела и умеющие выжимать из техники максимум того, что можно из нее выжать» [73, с. 324].

Здесь для анализа значимыми становится два момента. *Во-первых*, техника ассоциируется с динамизмом, прогрессом, это явное движение страны вперед, выход ее на новые рубежи. И несомненно следует поддержать подобное движение, когда удастся из единицы техники получать больше продукции, чем это кажется возможным. *Во-вторых*, присутствует воспитание определенного поколения «технических хунвэйбинов», которые в нарушение буржуазных норм и книжных представлений могут совершить любые действия. Динамика общества задана как в аспекте его технизации, так и в общественном срезе, когда некоторые представители старых сил пытаются закрыться невозможностью, в то время как «мы рождены, чтоб сказку сделать былью...»

В качестве знаковых фигур общество выделяет технические профессии, в качестве знаковых действий — технические рекорды. Это позволяет гармонизировать всю общественную систему, сделать ее ясной и понятной. Тем более, что здесь ТЕХНИКА хорошо пересекается со второй знаковой составляющей АРМИЕЙ, что позволяет техническое сделать общественным.

«Первым делом, первым делом — самолеты. Ну а девушки? А девушки — потом», — это ироническое освещение определенного этапа общественного развития, когда на первом месте стояла техника, поскольку ее физически не было. Развитие техники приводит к переосмыслению роли человека: все более совершенная техника требует технически грамотного человека. Столкновение совершенной техники с неподготовленным человеком губительно для техники. Чтобы спасти ее, нужно было менять приоритеты. И Сталин делает это. Выступая на выпуске академиков Красной Армии (так, вероятно, назывались выпускники военных академий) он по-иному расставляет акценты, меняя свои приоритеты:

«Раньше, говорил тов. Сталин, мы говорили, что “техника решает все”. Этот лозунг помог нам в том отношении, что мы ликвидировали голод в области техники и создали широчайшую техническую базу во всех отраслях деятельности для вооружения наших людей первоклассной техникой.

Это очень хорошо. Но этого далеко и далеко недостаточно. Чтобы привести технику в движение и использовать ее до дна, нужны люди, овладевшие техникой, нужны кадры, способные освоить и использовать эту технику по всем правилам искусства. Техника без людей, овладевших техникой, — мертва. Техника во главе с людьми, овладевшими техникой, может и должна дать чудеса. Если бы на наших первоклассных заводах и фабриках, в наших совхозах и колхозах, на нашем транспорте, в нашей Красной армии имелось достаточное количество кадров, способных оседлать эту технику, страна наша получила бы эффекта втрое и вчетверо больше, чем она имеет теперь. Вот почему упор должен быть сделан теперь на людях, на кадрах, на работниках, овладевших техникой. Вот почему старый лозунг — “техника решает все”, являвшийся отражением уже пройденного периода, когда у нас был голод в области техники, — должен быть теперь заменен новым лозунгом, лозунгом о том, что “кадры решают все”. В этом теперь главное...» [73, с. 322].

Перед нами, среди прочего, *риторика чудесного* — странная смесь рационального с иррациональным. Это в принципе было характерно для советской риторики — живописать еще не построенный, но желаемый мир. Чем большим числом подробностей он насыщался, тем более достоверными выглядели мечты. Приложив все усилия на создание совершенной на то время техники, утопически решая, что наличие техники решит все наши проблемы, человек остался за пределами этого внимания.

В обществе присутствовала как отрицательная персонификация (Берия, Ежов — ср. «ежовые рукавицы»), что позволяло уводить отрицательные эмоции в сторону, так и положительная персонификация. Стахановское движение выступает в роли подобной персонификации техники. Имена Стаханова, Изотова, Кривоноса, Ангелиной звучали по всей стране.

Лозунг «Кадры решают все» не равноценен лозунгу «Человек решает все». «Кадры» олицетворяют человека в социальной ячейке, в том числе в соединении с машиной. «Кадры» могут быть только советскими, чего не скажешь о человеке, который может оказаться и буржуазным.

Знаковость техники выносит на первое место момент динамизма, прогресса. Этот же динамизм сталинский мир ре-

шает с помощью других методов, например, внимании к молодежи, внимании к физкультурникам. Физкультурный парад становится обязательным элементом праздничной демонстрации, сравнимым с военным парадом. Физическая культура также, как и техника, служила поддерживающим плечом для армии, сквозь нее шла подготовка будущих новобранцев к службе в армии.

Техника также становится культурным символом. Вспомним фильм «Цирк», где путешествие в небо с помощью пушки символизирует возможности техники. Это техника, нашедшая себе место уже в массовой культуре. В этот момент советской истории выработывалась новая картина мира, в которой важное место занимает как раз техника.

Техника — это идеологический символ прогресса. Отечественная техника всегда должна быть лучше зарубежной. Фильм «Волга-Волга» иронизирует в этом плане: «Америка России подарила пароход: огромные колеса и ужасно тихий ход». Тут всегда работает противопоставление СВОЙ/ЧУЖОЙ: наш грузовик, первый советский грузовик, наша подлодка и т.д.

Техника материализует успехи государства. Это результат его работы, видимые наочно. Одновременно это знаковое выражение его мощи. Поэтому государство концентрирует на этом участке науку и образование. Чем большую пушку, танк, самолет может сделать государство, тем большее чувство самоудовлетворения овладевает им. Как и АРМИЯ, ТЕХНИКА служит этому процессу государственного самоудовлетворения. Отсюда особая статусность как парадов, так и посещений выставок новой техники «руководителями партии и государства». В этот момент советское государство как бы смотрит в зеркальце со словами «Кто на свете всех мощнее?» И зеркало привычно отвечает: «Ты».

ТЕХНИКА выступает в роли знака. Обычно сам знак указывает на объект. В этом случае объект «техника» указывает на стоящую за ним знаковую сущность, имеющей такие характеристики, как мощь, динамизм, сила, прогресс, современность. Если громадность памятников и площадей должны были символизировать вечность государства, то техника с ее все время меняющимся набором признаков

должна была демонстрировать силу этого государства, его соответствие пульсации всемирного времени. Знаковость «Мы — первые» проявилась в танках, подлодках, спутниках, т.е. в тех объектах техники, которые напрямую связаны с АРМИЕЙ.

Р. Якобсон отметил особенность знаковой ситуации, когда знак овеществляется. Анализируя роль ожившей статуи в поэзии А. Пушкина, он писал:

«Условное пространство статуи сливается с реальным пространством, в которое статуя помещена, и вопреки ее вневременной сущности невольно возникает представление о том, что предшествовало изображаемому состоянию и что должно за ним последовать; статуя включается во временную последовательность событий» [216, с. 167].

В случае техники мы имеем обратный процесс: не *знак овеществляется*, а *объект означивается*. Технический объект перестает обозначать только себя, а несет с собой целый ряд символических отсылок. Он выступает в роли сообщения, которым государство информирует своих граждан, что оно сильно и динамично и так будет вечно. *Индустриализация* — это одновременно *семиотический* процесс, в рамках которого производятся знаки силы и мощи государства.

ХРУЩЕВСКАЯ «ОТТЕПЕЛЬ» — НОВЫЙ КОММУНИКАТИВНЫЙ ДИСКУРС

— *Что, мамочка, Никита Сергеевич больше не Хрущев? (анекдот).*

Сегодня Хрущев остался в массовом сознании с кукурузой и «кузькиной матерью», стучащим башмаком в ООН. Более пристальное рассмотрение добавит ему такие факторы, как антисталинизм и определенное послабление жесткости советского государства. Хрущев ассоциируется также и с образом Юрия Гагарина. Хрущев и Фидель Кастро — также подсказывает память, но в этом случае позитив Фиделя оказывался более сильным для советского человека. Хрущев

первым отправляется в США, страну, которую пропаганда портретировала только сквозь призму гонки вооружений, американских империалистов, что было знаковым выражением СИЛЫ, а трущобы безработных и забастовки трудящихся демонстрировали СЛАБОСТЬ этого государства.

Долгожительство наших лидеров делало их обязательной приметой жизни нескольких поколений. По этой причине с Хрущевым связано бесконечное число ситуаций. Как подлинный лидер он либо принимает решение, отправляя страну по тому или иному пути (например, в сторону целины), либо выносит свой судебский вердикт по поводу правильности/неправильности происходящего (типа оценки искусства). Для него нет границ непонимания: он все знает и по всему имеет свое мнение. Он универсально прав, как и любой другой советский лидер. Он прав заранее, всем остальным уготована участь слушателей.

Мы остановимся на не самых обычных дискурсах Хрущева — его встречах с творческой интеллигенцией. Михаил Ромм в начале принадлежал к числу поклонников Хрущева, его называли «хрущевцем». И вот в декабре шестьдесят второго года он получает приглашение на знаменитые встречи Хрущева с творческой интеллигенцией. Необычным на первой встрече оказалось то, что началась она с ... еды. Удивились и в перерыве: не была выделена отдельная уборная доля правительства, и кинорежиссер Алов рассказывал, как за ним занял очередь Хрущев. Все перечисленное является знаками обыденной сферы, почему-то допущенной в сферу публичную. Хрущев реагировал на все выступления репликами, а не сидел как молчащий член политбюро. На эти реплики очень бурно реагировал Ильичев.

«Ильичев все потирал руки, непрерывно кланялся, смотрел на него снизу, хихикал и поддакивал. Очень такое странное [впечатление] было, как будто он его подзуживает, подзуживает, подзуживает. И поддакивал, довольный необыкновенно, прямо сияющий» [153, с. 128].

Как видим, диалог в основном разворачивается с Ильичевым, которые и выдает более сильную ответную реакцию, чем сама аудитория.

Хрущев взорвался на Э. Неизвестном. По предположению М. Ромма, Хрущев устал объяснять искусство для художников, сам ничего не понимая в этом. Он долго искал, как пообиднее объяснить Неизвестному его искусство. И нашел:

«Ваше искусство похоже вот на что: вот если бы человек забрался в уборную, залез бы внутрь стульчака, и оттуда, из стульчака, взирал бы на то, что над ним, ежели на стульчак кто-то сядет. На эту часть тела смотрит изнутри, из стульчака. Вот что такое ваше искусство — ему не хватает доски от стульчака, с круглой прорезью, вот чего не хватает. И вот ваша позиция, товарищ Неизвестный, вы в стульчаке сидите!» [153, с.1 29].

Хрущев задает себя как учителя в любой области, включая искусство. Учителю не принято перечить. Учителю можно только внимать.

Вторая встреча начиналась уже не с еды. Хрущев начал вполне доброжелательно, а потом завел себя, внезапно сказав:

«Добровольные осведомители иностранных агентств, прошу покинуть зал». Он пояснил:

«Прошлый раз после нашего совещания на Ленинских горах, после нашей встречи, завтра же вся зарубежная пресса поместила точнейшие отчеты. Значит, были осведомители, холуи буржуазной прессы! Нам холуев не нужно. Так вот, я в третий раз предупреждаю: добровольные осведомители иностранных агентств, уйдите. Я понимаю: вам неудобно так сразу встать и объявиться, так вы во время перебива, пока все мы тут в буфет пойдем, вы под видом того, что вам в уборную нужно, так проскользните и смойтесь, чтобы вас тут не было, понятно?» [153, с. 133].

Затем следовал ряд покаянных выступлений. Интересно, что и в их рамках можно было вести диалог. М. Ромм вспоминает свои возражения Хрущеву:

«Никита Сергеевич, ну пожалуйста, не перебивайте меня. Мне и так трудно говорить. Дайте я закончу, мне же нужно высказаться!

Он говорит:

— Что я, не человек, — таким обиженным детским голосом, — что я, не человек, свое мнение не могу высказать?

Я ему говорю:

— Вы — человек, и притом первый секретарь ЦК, у вас будет заключительное слово, вы сколько угодно после меня можете говорить, но сейчас-то мне хочется сказать. Мне и так трудно.

Он говорит:

— Ну вот, и перебить не дают. — Стал сопеть обиженно» [153, с. 138].

На следующий день Хрущев начал говорить весело:

«Ну что ж, товарищи, должен сказать — вчерашнее предупреждение подействовало. Подействовало! Ничего не просочилось. Даже могу сказать: вчера были приемы в некоторых посольствах, так просто из осторожности, очевидно, не явился почти никто. Даже вот так. Так что, в общем, хорошо, хорошо. Ну-с, давайте продолжать» [153, с. 140].

Потом Хрущев «взрывается» на выступлениях Вознесенского, Аксенова, других. М. Ромм не может понять этого взрыва. Он даже пишет следующее: «А между тем самовозбуждение Хрущева все нарастало, и каждые десять минут выходил бесшумный молодой человек и тихо ставил перед ним стакан с каким-то питьем, накрытым салфеточкой. Хрущев все отхлебывал, и мне уже стало казаться: да не допинг ли это?» [153, с. 145].

Внучка Хрущева Нина, ныне аспирантка факультета исторических наук Принстонского университета, заявила: «Мой дед был маленьким, забавным, толстым человеком, который знал, что он не может состязаться с высоким, подтянутым, преисполненным собственного достоинства президентом Эйзенхауэром» («Известия», 1996, 31 июля).

Но подобные взаимоотношения становились реальностью только при столкновении с иной иерархией, внутри же страны маленький и толстый, но начальник, всегда мог стать большим и красивым, поскольку «короля играет свита».

П. Вайль и А. Генис назвали ряд примет нового времени, пришедшего с Хрущевым. Они проявляются в разных вариантах. Например, в визуальной сфере:

«Стиль эпохи требовал легкости, подвижности, открытости. Даже кафе стали на манер аквариумов — со стеклянными стенами всем на обозрение. И вместо солидных, надол-

го, имен вроде “Столовая-43”, города и шоссеиные дороги страны усыпали легкомысленные “Улыбки”, “Минутки”, “Ветерки”. По дорогам с ветерком поехали невнятные люди без командировочных удостоверений. Куда и зачем? Да куда и зачем угодно. В том-то и состояла новизна, что определенной цели у этих кочевников и не было» [40, с. 126].

Отсюда мы можем сделать важный вывод — страна как бы перешла от жестко заданного причинно-следственного движения, четко отмеренного символизма, в возможность импрессионистического движения и символизма. Это оформилось в виде слова *романтик*. «А я еду за туманом, за туманом и за запахом тайги», — такую песню не могли петь строители узкоколейки в Боярке. Население получает право на в некоторой степени свои решения. Возможно, это чисто потенциальное право, но и оно оказалось очень значимым.

Приметой времени становится авторская песня. Власть разрешила такой тип мини-СМИ, которые порождали свои тексты вне серьезного влияния идеологической цензуры.

Хрущев оказался необычен тем, что успевал доводить до конца самые свои авантюрные идеи. Они не успевали умереть в недрах аппарата.

«Загоревшись новой идеей, Хрущев не знал удержу и стеснения в ее воплощении. Если состязаться с Америкой по мясу, молоку и маслу — то уж и обогнать их за 3-4 года. Если налаживать связь теории с практикой — то расселить Тимирязевскую академию по селам: “Нечего им пахать по асфальту”. Если сажать кукурузу — то от субтропиков до Заполярья» [40, с. 222].

В этом списке может стоять и целина.

Здесь возникают признаки молодого государства. Если нельзя решить проблему горизонтального расширения, границы сформированы, то можно решить проблему путем «догнать и перегнать Америку», т.е. путем углубления уже имеющегося.

Несоответствие слов и дел привело Хрущева к той же опасности, в которой оказался потом Брежнев, вызывавший улыбки аудитории, что для вождя является невозможным. Такая реакция запрещена в его отношениях с народом, тогда это не вождь. Это важная семиотическая характеристика

такого типа коммуникации: она максимально ритуализирована и не должна допускать отклонений. Возможно, Хрущеву удалось и сместить со своего поста из-за этого раздвоения образа. Вот как вспоминают этот период современники, греша, в первую очередь, на «железного Шурика» (по аналогии с «железным Феликсом») Шелепина:

«Поначалу обыватели решили, что Хрущев создает себе команду опричников, как при царе Иване, — уж очень нагло и бесцеремонно вели себя эти молодые люди, приближенные, как они всячески старались показать, к могущественной фигуре первого секретаря. Это они во всю раздували культ личности Хрущева. Весь мощный аппарат пропаганды Советского Союза был у них в руках, и они использовали его так бесстыдно и цинично, что очень скоро вся эта кампания славословия превратилась в посмешище для всей России. Над Хрущевым смеялись в открытую и без стеснения — уж очень не соответствовал лик и поведение нового вождя тому образу, который создала пропаганда. Пошла волна анекдотов» [56, с. 157-158].

Хрущев оказался первым советским руководителем такого ранга, оказавшимся в роли пенсионера. Обычно руководители уходили либо в мавзолей, либо в кремлевскую стену. Хрущев оказался и живым, и неруководителем. Это необычное сочетание, к которому общество так и не привыкло. Правда, информационная блокада Хрущева не делала из него человека, живущего там же, где все. Он был вынесен за пределы общества, как выносятся преступники. Хрущев был жив только биологически, но не социально. Социально на нем стоял крест.

В истории же он останется явным «инноватором»: он открывал кукурузу и закрывал абстрактное искусство, отправлял человека в космос и вспахивал целину. Он постоянно порождал новые действия, по этой причине, конечно, только он мог взять на себя роль Колумба: открыть Америку уже с точки зрения одной конкретной локальной точки. Наверняка, ему было и страшно, как настоящему Колумбу, и он не был уверен в благоприятном исходе своего плавания. Но Америка оказалась точно там, где и предсказывали. Более того, с ней можно было бороться, что и стало очередной его инновационной стратегией.

Хрущев вынужден был приоткрыть «железный занавес», поскольку не мог выдержать присутствия запертой комнаты в своем замке...

ПАРАДОКСЫ БРЕЖНЕВСКОГО ДИСКУРСА

Телефонный звонок. Брежнев поднимает трубку:

— Дорогой Леонид Ильич слушает! (анекдот).

В массовом восприятии Л. Брежнев оказался первым из генсеков, который незаконно надел на себя маску героя. Перед этим попытка Н. Хрущева облечься в образ героя закончилась с негативным результатом. В случае Л. Брежнева образуется двойственность восприятия: он ведет себя по модели героя, его же воспринимают по реальному поведению. И здесь не вина Брежнева. Не его шамкающий голос разрушает стереотип. Изменились информационные параметры общества. С одной стороны, телевидение стало в небывалой до сего момента мере передавать весь набор характеристик генсека, что приводит к уменьшению возможностей для контроля. Но эти же возможности дали небывалую силу размножению дискурсов генсека в виде фильмов, пластинок, спектаклей и т.д. С другой стороны, ни один период прошлого не обладал такой силой «кухонных дискурсов», которые теперь смогли наравне с официальными обсуждать те или иные события. Впервые частный дискурс сравнялся с публичным, что привело к полной деградации дискурса публичного, поскольку он слабо учитывал изменившиеся контексты восприятия и продолжал наращивать объемы, не меняя своей сути. Количество не смогло победить качество, особенно потому, что качество соответствовало потребителю, поскольку создавалось им самим.

Для спасения ситуации начинается резкое наращивание символизаций, что становится характерной приметой брежневского времени. «Первый» секретарь заменяется на Генеральный, растет число юбилеев. Брежнев, как и все другие

советские вожди (и Хрущев, и Горбачев, да в какой-то мере и Сталин) оказывается очень зависим от западного дискурса, в первую очередь американского. Наши вожди испытывают какую-то небывалую гордость от общения с американскими президентами. То ли это действие «запретного плода», то ли просто переход в пограничные дискурсивные сферы, но факт остается фактом — общение с иностранной непонятным образом становится одним из основных параметров руководителя. В случае Горбачева он вообще был более популярен вне страны, чем внутри нее.

Можно условно разделить массовую историю на время действия, время думания и время говорения. Сталин был временем действия (как позитивного, так и негативного), Брежнев — временем говорения. Брежневское время — это огромное число докладов и выступлений, которыми сопровождаются бесконечные юбилеи. Оказывается даже, что анекдот о чтении нескольких экземпляров одного доклада имел место в действительности. Начальник личной охраны ряда генсеков В. Медведев вспоминает сразу о двух «странностях»:

«Когда-то чехи смушались перед нами за Гусака, потом мы поменялись местами. В 1981-м Брежнев выступал на съезде Компартии Чехословакии, все ждали оценки положения в Польше, но генсек перепутал листки и еще раз повторил уже прочитанное. С ответной речью выступил Гусак, закончил по-русски: “А сейчас, Леонид Ильич, я скажу по-русски. Мы очень рады, что вы приехали на наш съезд. Большое вам спасибо!” Брежнев внезапно повернулся к переводчику и громко с обидой спросил: “А ты почему мне не переводишь?” В зале — гробовая тишина» («Всеукраинские ведомости», 1996, 16 авг.).

Следует отметить, что в начальный период своей карьеры первого секретаря Л. Брежнев воспринимался как вполне прогрессивный лидер. Он как бы сменяет «кукурузника» (а значит, в определенной степени самодура) Хрущева. Проходит некоторое время, и вновь генсек превращается в тормоз движения страны. Начинается эпоха застоя. Каждый вождь должен соответствовать своему времени. Когда ему удастся задержаться в своем кресле дольше, он начинает

выполнять роль мешающего фактора. Он пытается подчинить время, но ему удается только немного приостановить его движение. Брежнев даже политбюро создал «геронтологическое», что крайне отрицательно воспринимало общество. Анекдоты пародируют глупость Брежнева: значит, общество фиксировало это со всей отчетливостью.

«Вождь-гротеск тотально семиотичен», — отмечает Татьяна Чередниченко [197, с. 67]. Брежнев стал героем, вероятно, наибольшего количества анекдотов. Необычно и то, что он становится подобным героем при жизни, что было невозможным ни при одном из советских генсеков до этого.

Брежнев пытается надеть на себя маски всех предыдущих исторических периодов. Он — «верный ленинец», поэтому ему требуется выступать с научными трудами, двигающими вперед марксизм-ленинизм. С другой стороны, он должен носить строгую фуражку генсека Сталина, поскольку любой генсек жаждет признания. И Брежнев получал все признания в виде демонстраций, гигантских портретов и т.д. По тому максимальному количеству наград видно, что его внутренняя позиция, реальная оценка себя была очень шаткой. По количеству почестей — это явный Сталин сегодня. Он спасает себя, воздвигая частокол из звезд героя. Одновременно он должен быть Хрущевым, демонстрируя народную простоту. Все эти три противоположные маски он пытается надеть на себя одновременно. Это как бы попытка разместить на одной голове кепку Ленина, фуражку Сталина и шляпу Хрущева одновременно. Расслоение образа не способствовало эффективности воздействия. Поэтому образ получился совершенно иной. Брежнева мы можем представить в качестве читающего анекдоты о себе как никого другого из наших генсеков. Он и это допускает из-за пластичности своего образа, которая переходит границы возможного.

Брежнев одновременно и плох, и хорош. Именно это позволяет сегодня оценивать период Брежнева как вполне пристойный, что позволяет его внуку даже баллотироваться в депутаты. «Создав» застойный период, Брежнев одновременно задал тем самым достаточно четкую семиотику советского общества того периода. Бесконечная череда юби-

леев, характерная для его времени, и является попыткой создания семиотической грамматики.

Генсек Брежнев годился для завершения начатых дел, но не для начала новых. Он не был «инноватором», говоря современным языком. Он постоянно вступал в противоречие со своим идеальным образом. Если Брежнев выпускал текст под названием «Целина», то все понимали, что написать он его не мог. Он был принципиальным «аниматором», говоря словами Э. Гофмана, то есть озвучивателем, диктором, но при этом занимал роль не диктора, а создателя текста. Вся страна с помпой обсуждала это произведение, автором которого были совсем другие люди. Таким образом, в фигуре Брежнева воплотилось наибольшее количество противоречий. Советский Союз и «взорвался» именно на его времени, в том числе и из-за этого. Брежнев не мог качественно сыграть ролей, которые ему писались. И раньше все понимали, что за генсеками стоят толпы помощников, но только теперь впервые все ощущали, что перед ними не автор того, что он произносит. А это сразу уничтожает тот культ почтения, который имеется у вождей. Вождь оказывается оголенным, как король из сказки Андерсена... А вождь всегда должен быть закрыт броней, сквозь которую нельзя разглядеть правду.

ГОРБАЧЕВСКАЯ СЕМИОТИКА КАК ПОРОЖДЕНИЕ НЕОДНОЗНАЧНЫХ СООБЩЕНИЙ

Горбачев, уже почувствовав отношение в народе к своей жене, как-то говорит ей:

— Рай! Я тебя очень прошу: ты хоть на Политбюро со мной не ходи!

— Только при одном условии: если и ты туда ходить не будешь (анекдот).

Горбачев входит в историю как автор неоднозначных текстов. Он в принципе нарушил все правила коммуникации вождей. Если вожди были безмолвными, то Горбачев заговорил. Если вожди были резко отделены от народа, то

Горбачев первым стал практиковать «выход в народ». Горбачев, являясь представителем номенклатуры, бросал в толпу клич о критике партийных комитетов. Он нарушил весь тип властного дискурса, сложившийся на тот период.

Мы начнем с завершающего этапа правления М. Горбачева как президента СССР — путча 1991 г. и Фороса. Анатолий Собчак противоречит сам себе, когда говорит, что события 19 августа для демократических лидеров страны были неожиданностью («Московские новости», 1996, № 33), поскольку тут же рассказывает и о предупреждении Э. Шеварнадзе в декабре 1990 г., и о попытке Г. Попова предупредить американское руководство через посла в Москве Мэтлока о возможном перевороте и смещении Горбачева в июне 1991 г.

Горбачев проигрывает президентские выборы 1996 г. при полном молчании публики. Единственное замечание по этому поводу встретилось мне у Эдварда Радзинского, в последнее время ставшего «телевизионным историком». Отвечая на вопрос о российских политиках, достойных для изучения и осмысления, он первым называет Горбачева:

«Хотел бы сделать с ним беседу для “Загадок истории”. Те десятые доли процента, которые он получил на выборах, — по-моему, вовсе не повод ко всенародному ликованию. Горбачева можно не любить, но трудно не уважать. Ни одна страна мира не осталась бы равнодушна, если бы ее бывший президент получил удар по лицу. Это не его, это всю страну ударили» («Известия», 1996, 30 июля).

Сам Горбачев нашел аргумент в оправдание своей «нерешительности». В статье в «Московских новостях», подписанной необычных в наших условиях титулом «Президент СССР» он говорит следующее:

«Перемены таких масштабов, да еще в такой огромной стране, — дело многотрудное и архисложное. Нельзя упустить времени, но нельзя и торопить его. Нельзя не видеть реальных условий, реальной подоплеку тех или иных событий и обстоятельств, а “Новости” с революционным напором торопили, подталкивали к более радикальным переменам, не всегда разбираясь в сущности происходящего. А ведь в политике можно делать только то, что возможно» («Московские новости», 1996, № 32)

*Выделено нами. — Г.П.

Реальные события заключения в Форосе наиболее наглядно демонстрируют принятие не реальной, а семиотической точки зрения на события. Основной моделью интерпретации стал коммуникативный аспект заключения: изолированность от средств, дающих возможность влиять на развитие ситуации.

Бывший начальник Службы госохраны в Крыму Лев Толстой выступил в роли свидетеля события. Легенду о стареньком радиоприемнике он автору прощает — человек столько пережил! Но ради истины поясняет: на объекте не чердак, а подвесной потолок. Перед заездом гостей все проверяется. О «стареньком радиоприемнике» не могло быть и речи так же, как и о «старенькой mine». «Самый старый радиоприемник, который у нас тогда был, — рассказывал он, — это ВЭФ 1989 года выпуска. Выключены были только телефоны и центральный ретранслятор. Все радиоприемники спокойно брали «Маяк» и все другие радиостанции, но с соседнего ретранслятора...» («Зеркало недели», 1996, 10 авг.).

Модель отключения от мира — это известная модель. Бог (барин, царь, генсек) не знают и потому не реагируют на нарушения. Но раньше эту модель использовало население. Горбачев применяет эту модель, оставаясь в позиции барина.

Модель ухода от ситуации была для Горбачева центральной. Его стандартное оправдание: «Я не знал о (Тбилиси, Вильнюсе, ГКЧП)».

Пространное интервью о событиях в Тбилиси завершается фразой Горбачева («Московские новости», 1996, № 30): «В определенной степени я стоял вне тех событий».

В самом интервью масса попыток отстранения от тех событий, например:

«Никаких приказов и распоряжений на применение войск я не отдавал, поскольку, исходя из представленной мне информации, не видел в этом необходимости».

Коммуникативные характеристики были достаточно значимыми и в случае ГКЧП. В памяти у всех остались не только нервные пальцы Г. Янаева и молчание М. Горбачева. Так, в программе «До и после...» (ОРТ, 1996, 19 авг.) говорилось, что В. Крючков агитировал военных за поддер-

жку ГКЧП магнитофонной записью «подслушанной» беседы М. Горбачева и Н. Назарбаева, где шла речь о смещении Павлова и заменой его Назарбаевым, а также о смещении Председателя КГБ и Министра обороны.

Начальник личной охраны Горбачева В. Медведев называет массу указателей на то, что ситуация ГКЧП хотя и была неоднозначной, но не была новой для М. Горбачева:

«В мой кабинет в Форосе вошли оба моих начальника — Плеханов и Генералов, последний только что разговаривал со мной из Москвы. “Все в порядке, — улыбнулся Плеханов. — К Михаилу Сергеевичу прилетела группа, пойдете доложить”. Он назвал имена прилетевших — самые близкие люди.

Горбачев сидел в теплом халате, читал газету. Он удивился: “Зачем они прибыли?” И замолчал. Перед ним стоял я, начальник его личной охраны, одного его слова было достаточно, чтобы на руках “гостей” оказались наручники, в моем подчинении были и самолет, и вертолет. Но, видимо, Горбачев знал, зачем они прилетели, недаром на прощание он пожал им руки. Поэтому ничего он мне не сказал и, как всегда, пошел в спальню — советоваться с женой. К “гостям” он еще долго не выходил, и они сами бродили-искали его по пустому дому. После разговора с генсеком Болдин спокойно сказал: “Нет, не подписал” («Всеукраинские ведомости», 1996, 16 авг.).

Партийный лидер Крыма в 1991 г. Николай Багров также дает понять, «что путч организовал лично Михаил Горбачев и что об этом не знал даже его заместитель Владимир Ивашко. <...> место президента в эти дни было вакантным. Именно потому, что его зарезервировал сам Горбачев» («Зеркало недели», 1996, 23 авг.). Кстати, при таком развитии событий становится ясной сдача Горбачевым многих своих позиций (запрет КПСС и т.д.). Ельцин мог шантажировать его раскрытием роли Горбачева в самом путче.

Во всех этих перипетиях нас не столько интересует сам фактаж, как порождение Горбачевым неоднозначного текста в любой ситуации.

С чем связан этот феномен? Дело в том, что подобная модель является характерной для массовой культуры, которая выступает в виде «меню», откуда каждый может выбрать

блюдо по своему вкусу. Джон Фиске пишет по поводу Мадонны:

«Мадонна как текст, или как серия текстов, неполна до тех пор, пока она не попадет в социальную циркуляцию. Ее политика пола лежит не в ее текстуальности, а в ее функциональности. Она настолько популярный текст, насколько полна противоречий — она содержит патриархальное значение женской сексуальности и сопротивление ему: ее сексуальность принадлежит ей, что позволяет использовать ее такими способами, где не требуется мужское одобрение» [234, р. 124].

В популярной культуре объектом почитания в меньшей степени является текст или художник и в большей исполнитель, и исполнитель, такой, как Мадонна, существует только интертекстуально» [235, р. 125]. Интертекстуально — в случае и поп-певца, и политического лидера значит одно — в процессах говорения, обсуждения и т.д.

Горбачев, став генсеком нового поколения, начинает вести себя подобно поп-певцу. Столкнувшись с наличием обратной связи, т.е. зависимостью от населения, М. Горбачев первым среди генсеков, взял ее на вооружение. В восприятии людей он спонтанно останавливает машину для разговора с толпой. Это необычный тип собеседника для генсека. Генсеки до этого функционировали в манере, свойственной классическому искусству, когда исполнитель «не видит» своего зала. Поп-исполнитель действует совместно с залом, он его «заводит», он просит поддержки в виде аплодисментов.

Он же, как и поп-певец, извлекает все возможные атрибуты для своих фанов, включая жену. Г. Хазанов не зря в одной из своих юморесок назвал Михаила Сергеевича Михаилом Раисовичем. Жена — это новый феномен для советского вождя. Мы не имели опыта по введению частных объектов в сферу общественной жизни. Тогда, когда они возникали, они возникали в чисто отрицательном контексте. Это бесконечная борьба со Светланой Аллилуевой, затем Галиной Брежневой.

«Знал ли Горбачев о раздражающем мелькании жены?» — спрашивают у начальника личной охраны. Владимир Медведев дает следующий ответ:

«Кто-то осмелился намекнуть Горбачеву, что, может, не стоит так часто брать жену в поездки, он резко ответил: “Ездила и будет ездить” («Всеукраинские ведомости», 1996, 16 авг.).

Это первый коммуникативный вождь в обществе, которое еще не созрело к такой роли. Негативным последствием такой коммуникативности становится боязнь Горбачева быть связанным с любыми негативными явлениями, которые могли повлиять на его имидж. Отсюда дистанцирование от Тбилиси, Вильнюса и ГКЧП. Однако боязнь принять на себя негатив повлияла на создание неуправляемой ситуации. Беловежская пуца требовала решений, но образ не позволял. А. Руцкой требовал самых решительных мер, но Горбачев только улыбался в ответ. Ради красивого жеста он упустил свою власть, став экс-президентом.

Американские исследователи провели сопоставительный анализ Дж. Буша и М. Горбачева в плане их психологических портретов. Это построение портретов на расстоянии, а не в процессе, к примеру, сеанса психоаналитика. Психологический анализ мотивов Дж. Буша и М. Горбачева показал их близость как друг другу, так и Ричарду Никсону [266]. При этом Горбачев определяется как «социалистический Никсон». По мнению исследователей, он также напоминает короля Хуссейна из Иордании, лидера итальянских коммунистов Энрико Берлингуэра, аргентинского генерала, затем президента Видела и бразильского генерала, потом президента Гизела. Горбачев, как Никсон, спас страну от войны со страной «третьего мира», восстановил отношения с долговременными врагами. Как Хуссейн и Берлингуэр, он нашел прагматический курс компромисса.

Мотивные профили Буша и Горбачева описывают их как заинтересованных в рациональном сотрудничестве, в максимализации общих результатов, а не эксплуатации другого (низкий уровень власти). В состоянии стресса они защищаются. Буш и Горбачев высоко оцениваются по концептуальной сложности. Если обычно подозрительный национализм реализуется в виде упрощенной черно-белой модели, то у Буша и Горбачева эта тенденция преодолевается из-за их высокой концептуальной сложности. Горбачев также полу-

чил оценку как имеющий ориентацию на развитие политического процесса. Такие лидеры стремятся улучшить положение своих наций в экономической или военной сферах. Но поскольку они не уверены в том, что их нации могут управлять событиями, они ищут помощи на стороне.

Вербальные характеристики этих двух лидеров описывают их межличностный стиль (много прямых отсылок и риторических вопросов), высокий объем негативов и «мне»-местоимений предполагает, что в стиле Буша есть оппозиционные и пассивные тенденции. У Буша высокая экспрессивность (высокое соотношение я/мы). Горбачев использует контролируемое выражение эмоций. Оба лидера экспрессивны, увлечены, импульсивны. Следующая таблица показывает частоту использования на 1000 слов:

	послевоенные американские президенты	Буш	Горбачев
Использование "я"	25,0	47,8	11,8
Использование "мы"	18,0	10,4	19,3
Соотношение я/мы	1,4	4,6	0,6
Использование "мне"	2,0	3,5	0,9
Выражение чувств	3,0	4,0	1,8
Оценка	9,0	15,0	12,4
Прямая отсылка на аудиторию	2,0	4,2	3,1
Интенсификация наречием	13,0	12,9	21,4
Риторические вопросы	1,0	2,5	2,5
Отступающие высказывания	7,0	10,9	7,4
Негативы	12,0	15,2	13,1
Неличные отсылки	750,0	543,5	854,1
Творческие выражения	2,0	4,0	1,3
Квалификаторы	11,0	9,0	6,3

Как интерпретируются эти данные? С точки зрения эмоционального стиля Буш и Горбачев очень экспрессивны, но в разных плоскостях. У Буша наблюдается личностные вер-

бальные экспрессивные характеристики (высокий уровень соотношения я/мы, выражение чувств и низкие неличностные отсылки). Экспрессивность Горбачева идет не в личностном ключе, а использует интенсификацию (оценки, интенсификацию с помощью наречия, прямые отсылки и риторические вопросы). Вывод авторов: «Горбачев реализует контролируемое выражение эмоций; он, говоря вкратце, совершенный актер-политик» [266, р. 235]. По отношению к проблеме принятия решений Буш выглядит импульсивным политиком (у него низкий уровень квалификаторов, а они вносят сомнение в ситуации; высокий уровень отступлений от только что сказанного — именно так Д. Винтер (личное сообщение) понимает этот тип указателей — как бы «забирание назад» того, что только что прозвучало). У Горбачева уровень таких отступлений умеренный (Буш — 10,9, Горбачев — 7,4). Низкий уровень квалификаторов предполагает импульсивные тенденции, хотя одновременно это просто могут быть ответы на заранее подготовленные вопросы. И очень интересно творческое использование (куда подпадают новые слова, новые комбинации слов, метафоры). Уровень Буша — 4,0 при норме американских президентов — 2,0, Горбачев же показал — 1,3. Вывод авторов: «Горбачев больше полагается на других для получения новых идей и решений проблем» [266, р. 235]. Оба они признаются стабильными экстравертами, при этом Горбачев чуть больше, а Буш — чуть меньше.

Когда два лидера, стремящихся установить отношения, ведут переговоры (а они одновременно отличаются недоверием и национализмом), особенно важно, чтобы первое впечатление оказалось благоприятным.

Как авторам при таком портрете Буша удастся объяснить войну в Персидском заливе? Поскольку у Буша высок уровень национализма и важны темы опасности и конфликта в его операционном коде, то соглашение с Горбачевым и конец холодной войны не уничтожили эти характеристики, а перевели их на нового врага — Саддама Хусейна. «Проведение Бушем, как и создание, политики в Персидском заливе выражают его высокую мотивацию к достижениям, как и другие аспекты его личности. Его исходное намере-

ние возникло после длительной встречи с британским премьер-министром Тэтчер» [265, р. 461].

Горбачеву удалось остаться в политике после своего ухода из власти. Постепенно ушло неприятие его своей аудиторией, и теперь Горбачев воспринимается как четкая часть нашей истории.

Сфера личности	Буш	Горбачев
Мотивы	Достижения и отношения; власть на умеренном уровне.	Достижения и отношения; власть от низкого до умеренного уровня
Представления	Недоверчивый националист, высокий уровень когнитивной сложности. События рассматриваются как частично контролируемые. Низкая самоуверенность.	Недоверчивый националист, высокий уровень когнитивной сложности. События рассматриваются как контролируемые. Высокая самоуверенность.
Стиль	Тенденция акцентировать людей, а не задачи.	Тенденция акцентировать людей и задачи.
Операционный код	Рассматривает мир как враждебный. Создает ограниченные цели. Использует конфликт.	Рассматривает мир как дружелюбный. Ставит всеобъемлющие цели. Использует как политику (позитивные слова), так и конфликт.
Характерные черты	Эмоционально экспрессивный. Не тревожен. Подвержен депрессии. Чувствителен к критике. Реагирует с гневом. Импульсивен. Относительно стабильный. экстраверт.	Эмоционально экспрессивный в просчитываемой манере. Не тревожен. Не подвержен депрессии. Чувствителен к критике. Реагирует, беря контроль над ситуацией. Несколько импульсивен. Стабильный экстраверт.
В целом	Ориентирован на роли <i>интегратора/посредника</i> (со вторичной ориентацией на развитие/улучшение)	Ориентация на <i>развитие/улучшение</i> .

ПОСТСОВЕТСКАЯ МАССОВАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ ПОЛИТИКА

Горбачев вышел на балкон покурить. Из комнаты доносится голос Раисы Максимовны:

— Миша, ты опять куришь в трусах?

— Да, но откуда ты знаешь?

— Да только что по «Би-Би-Си» передавали (анекдот).

Постсоветское время вновь как в 1917 г., выводит на арену новое действующее лицо — массового человека. К нему начинают апеллировать политики, пытаясь заручиться его поддержкой. Если до этого от него требовалось только одобрение действий властей, то теперь сами власти ищут одобрения.

Горбачев совершает очень важное семиотическое действие: он снимает защиту от критики советских реалий. Если раньше зона критики и зона восхваления были строго разделены, то теперь они сместились. Можно критиковать то, что раньше считалось святым. Вспомним шокирующие выступления на первом съезде народных депутатов СССР, где впервые возникли такие объекты для критики в публичном дискурсе, как «КГБ», «Ленин», «КПСС».

Таким своим действием Горбачев одновременно спасает себя, становясь на сторону новой политики. Точно так же Л. Кравчук из критика Руха переходит в ряды одного с ним политического направления. Политик такого уровня — это текстопорождающий механизм, он сам создает оценки. Массовый человек — только читатель такого текста, он никогда не является создателем.

В постсоветском периоде наступил момент, когда массовый человек превратился в автора текста: это митинги. Митинг такого рода был необычным явлением советской публичной сферы, поскольку выступал в оппозиционной роли по отношению к власти. Митинги были первыми

пространствами, где было возможно порождать антиофициальные тексты. По этой причине именно в рамках митингов выросли первые депутаты, они получали свою известность там, и владение риторической культурой принесло им депутатство. Отсюда массовый приход в депутаты писателей, журналистов и других представителей Слова. Они раньше других смогли сменить стереотипы говорения.

Митинг обладает очень малым потенциалом реагирования. Это черно-белая культура: либо «да», либо «нет». Только хвала или хула, но и то, и другое в безмерных масштабах. Митинг в этом плане был порождением варианта сказочной реальности. Там были только герои или враги. Митинг всегда был принципиально вербальным, он никогда не выводил на действия.

Митинг создает очень сильное ощущение реальности вербальности. В рамках митинга слово является делом, они практически неразличимы. У человека, находящегося в толпе захватывало дух от смелости говорящего, поскольку такого рода высказывания были невозможны ранее в публичной сфере. Тексты частной сферы (тексты, позволявшие только на кухне, только среди знакомых людей) внезапно зазвучали во весь голос. Митинг безраздельно завладевает человеком в рамках этого пространства-времени. Но он слабо переносим в другую временную и пространственную точку. Ведь пересказ происшедшего, не обладает той же силой. В этом заключается различие между перформативным и констативным высказываниями.

Митинг выступает против структуры доминирования, навязанной властями. На митинге подвергаются сомнению цели парадигмы доминирования, высказывается неверие в «богов», защищаемых парадигмой доминирования. Если это же в малой степени проходит во всем массовом искусстве, то митинг усиливает свое воздействие тем, что в нем все эти характеристики реализуются прямо, а не косвенно. Мыльная опера также противоречит господствующей парадигме, но только косвенно; в рамках мыльной оперы это только один из множества параметров. В рамках митинга момент противодействия становится основным.

При этом принципиальной составляющей митингов стало нереагирование властей. Власть до этого принимала жесткие решения по признанию или непризнанию текстов истинными или ложными, наказывая тюремными заключениями авторов ложных, по мнению власти, текстов. И первыми ораторами, кстати, становятся авторы тех старых «ложных» текстов, которые при произошедшей смене ориентиров внезапно оказались авторами «истинных» текстов.

Митинг — яркое свидетельство «пролетарской культуры» по П. Бурдье, поскольку буржуазная культура — это культура дистанции, в то время как пролетарская является культурой включенности в ситуацию.

В этом плане Рух и другие массовые движения отразили перенос митинга в более организованную сферу. Они оказались в сильной степени текстопорождающими: статьи, значки, плакаты, близкие организации (например, «Просвита»). Будучи массовым движением, Рух создавался как параллельная целому государству структура. Здесь было место и экономисту, и политологу, и военному аналитику. Однако главной сферой все же была национальное самоопределение и ее основное самовыражение — язык.

Митинг реализует семиотическое многоголосье, что было совершенно непривычно в принципиально монологическом государстве. Митинг кует своих Савонаролл, он также выносит на первое место такой жанр как обличение. Он был генератором отрицательных высказываний, которые были призваны нейтрализовать десятилетия порождения позитива. И на митинге, и в официозе до этого речь идет о тех же самых объектах, условно назовем их «Ленин. Партия. Комсомол». Но митинг задает им совершенно иную интерпретацию. Анекдот также говорил о тех же объектах, но он старался дать тот же набор характеристик в ироническом ключе, который всегда воспринимается как более мягкая форма. Однако все они говорили о тех же объектах, чем и создавали столкновение между собой. Эту одинаковость мы можем отразить в следующей таблице:

<i>речевой тип</i>	<i>объекты</i>	<i>модус</i>	<i>аудитория</i>
<i>официоз</i>	те же	восхваления	массовая
<i>митинг</i>	те же	обличения	массовая
<i>анекдот</i>	те же	осмеяния	немассовая

Дополнительным отличием также является ограниченность аудитории в случае анекдота, однако при имеющейся скорости его распространения эта характеристика нейтрализуется.

Митинг дает право голоса каждому, точнее создает такое ощущение. Митинг четко дает возможность проявить себя в политике, даже просто молчаливое стояние воспринимается как участие. До этого демонстрации были максимально организованными, участие в них не было маркированным из-за его обязательности. В митинге же можно принять или не принять участие. Это приподнимает статус участника, в первую очередь, для него самого. Он также становится свидетелем события, недоступного для остальных. Он может рассказывать дома об увиденном и услышанном, что также приподнимает его статус. Митинг как бы реализует до этого не задействованные потребности человека. Человек приподнимается из состояния пассивного потребителя информации советского периода на уровень активного потребителя постсоветского периода (подробнее об этих процессах см. в [253]).

Вскоре, правда, митинги исчезли как свободное волеизъявление граждан, а стали одной из форм платной политической коммуникации. Митинги ушли из сферы любопытствующих, став обыденностью, а обыденность приедается. Но для того периода именно митинги выступали в роли «операторов» смены семиотических кодов. Они вводили священные имена и объекты прошлого периода в новые критические контексты, что до этого было совершенно невозможным. В подобной же роли функционировало большинство СМИ. Митинги и СМИ задали тот процесс перекодировки политической действительности, без которого была бы невозможной смена политической системы. Митинги и СМИ выполнили роль определенного рода «пере-

водчиков». Сохранив все те же объекты вокруг, население получило новые имена этих объектов.

СЕМИОТИКА ГЛАСНОСТИ И ПЕРЕСТРОЙКИ

Горбачев звонит Рейгану:

— *Примите наши глубокие соболезнования по поводу взрыва «Челенджера»!*

— *Как, — удивляется Рейган, — наш «Челенджер» стоит на старте цел и невредим.*

— *А-а-а! Тогда извините, я выясню, кто меня ввел в заблуждение (анекдот).*

За последние десять лет произошли существенные события по изменению массового сознания, которые затронули десятки миллионов людей. *Гласность* и *перестройка* выдвинули М. Горбачева в число важных специалистов по пабблик рилейшнз, как отмечают сами американцы (см., к примеру [260]). Мы не будем вслед за С. Кургиняном [94] говорить об определенной «злонамеренности» случившегося. Но в любом случае столь резкие изменения за столь малые сроки несомненно представляют исследовательский интерес. Семьдесят лет мы также подвергались определенного рода кодированию (типа «*Читайте, завидуйте, я — гражданин Советского Союза!*»). Но они носили более естественный характер (если в этом случае позволителен такой термин) из-за растянутости во времени и параллельной смене поколений, происходящей за тот же период. В перестройку все события происходят в краткий срок и в течение непродолжительного периода жизни одного поколения. Даже психоаналитики говорят, что существенных изменений можно достичь за период от полугода до года [3]. Однако это происходит при индивидуализированной и еженедельной работе (2—3 часа в неделю). Все это очень сложный и напряженный труд. К примеру, если достаточно легко удалось совершить распад СССР, то построение государствами СНГ своей идеологии пока окончилось безрезультатно. Напри-

мер, Украина содержит в своем массовом сознании противоречивые интерпретации действительности. С одной стороны, газета «Коммунист» печатает свидетельства очевидцев о зверствах бандеровцев, с другой — им ставятся памятники на Западной Украине, что является абсолютно ненормальным для одного государства, в котором обязательно должны быть единые схемы интерпретации действительности.

Процессы «кодирования» массового сознания советского периода носили далеко не условный характер, в них вкладывались достаточно большие людские и материальные ресурсы. И при этом лучшие варианты идеологических текстов того периода имеют одновременно высокий эстетический уровень. К примеру, и «Волга-Волга», и даже «Кубанские казаки» сохраняют художественный интерес и сегодня. И зрительская ностальгия по фильмам тех лет, отмечаемая руководителями телевидения, покоится на вполне реальных основаниях.

Однако массовое сознание, вероятно, начиная с хрущевского периода, становится раздвоенным, разделенным на официальную и неофициальную точку зрения на одни и те же события. Впервые на авансцену вообще была допущена частная жизнь, ознаменовав начало *смены мифологем*. «Смена эпох выражается сменой знаков. Советское общество до хрущевского периода было серьезным. Оно было драматическим, героическим, трагическим. 60-е искали альтернативы этой идеологической модели. Они заменили знаки, и общество 60-х стало НЕсерьезным» [40, с. 67—68]. Однако более точно следует сказать, что общество не потеряло серьезности, а допустило еще одну интерпретацию, схему действительности. Они могли сосуществовать, когда описывали разные сферы, к примеру, частную и публичную. Когда же они столкнулись на одной сфере — публичной, конкурируя в признании именно своей интерпретации в качестве единственно верной, между ними разразилась война. «Холодная война» в этом плане может рассматриваться как поддержка одной из конкурирующих точек зрения из-за рубежа.

Максимума это раздвоение достигает в брежневский период, когда неофициальная интерпретация по многим вопросам начинает побеждать официальную. С этой точки зре-

ния лидером «перестройки» скорее можно считать Леонида Ильича, который сделал для собственно развала Советского Союза гораздо больше Михаила Сергеевича. Если идти по концепции С Кургиняна об управляемости этих процессов, то лучшей фигуры, чем Л.И. Брежнев в роли генсека и не требовалось для тех гипотетических лиц, которые это могли бы задумывать. Типажи Ю. Андропова и М. Горбачева уже не могли исправить создавшуюся ситуацию. Они и не могли этого сделать из-за сформированной к тому времени сильной западной ориентацией. К примеру, для того, чтобы облегчить вхождение имиджа Ю. Андропова в это новое информационное пространство ему были приписаны (реальные или мифические) характеристики любви к джазу, виски и западным романам.

Массовое сознание реагировало порождением своих текстов в ответ на доминирующую коммуникацию. Два их типа существенным образом формировали интеллектуальную защиту от пропагандистского кодирования: «кухонные разговоры» и анекдоты. Разговоры на кухне не уступали по интенсивности политической пропаганде того времени. Нормой коммуникативного поведения стало признание всего происходящего вокруг чистой пропагандой. Анекдоты также выстроились по всем параметрам идеологической сетки. К примеру, анекдот «из энциклопедии: Брежнев Л.И. — мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой» системно меняет всю иерархию. Анекдоты о Ленине разрушали агнографию первых лиц, о Чапаеве — советскую героиню, о чукче — интернационализм и т.д. С одной стороны, массовое сознание таким образом защищается от давления, демонстрируя точки своего наибольшего сопротивления. Кстати, именно таким образом Дж. Фиске определяет массовую культуру [234] как реализующую ресурс сопротивления доминирующей культуре. Массовая культура занята на своем микрополитическом уровне теми же явлениями перераспределения власти, что и макрополитика на своем. С другой стороны, это явный прием разрушения, когда из реальности конструируется нужный образ, с которым затем и производят все необходимые манипуляции. Так, к примеру С. Кургинян расценивает миф о «командно-административ-

ной системе», созданный Г. Поповым, поскольку команда и администрирование свойственны любой системе. Или отмеченное выше стремление скептически оценивать все происходящее как советскую пропаганду. Таким же ярлыком, но уже частичного самоописания является термин «совок» (частичного, поскольку никто себя этим термином не описывает, а переносит его на других).

Таким образом, если бы перед нами стояла гипотетическая задача разрушения, мы бы могли идти только таким путем:

— *предварительный этап (при действующей системе)* — конструирование образа, принципиально неправильного. Здесь на первом месте действовали два варианта — *осмеяние и обвинение*. К примеру, Л. Брежнев подходил для того и другого вариантов — он оглушлялся, и он и его окружение обвинялись в коррупции; этот процесс можно назвать **скрытым порождением (или накоплением) негативности**;

— *активный этап (начало разрушения системы)* — при акцентуации существующей негативности (**открытое порождение негативности**) выход был предложен в рамках западной модели. К примеру, как считает С. Кургинян, ни одно высказывание советского политика не обходилось в то время без фразы «У НИХ ВСЕ ХОРОШО, У НАС — ВСЕ УЖАСНО, ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ ТАК, КАК У НИХ, И БУДЕТ ТАК ЖЕ ХОРОШО, КАК У НИХ» [94, с. 154].

На примере Украины мы увидели процесс ускоренного решения по этой же модели путем отделения от «империи неправильности», для чего номенклатуре пришлось выпустить на «боевые позиции» творческую интеллигенцию. Затем, после проведенного артобстрела, интеллигенцию вновь вернули на привычные позиции «толкователя уже принятых наверху решений», что вернуло на маргинальные кресла так громко прозвучавшие раньше имена, например, И. Драча или Д. Павлычко. Если в период перестройки интеллигенция могла влиять на принятие решений, то теперь она могла лишь «легитимизировать» своим участием принятые наверху решения.

— *закрепляющий этап (переход к новой системе)* — эйфория разрушения сменилась непонятным унынием и полным отсутствием вразумительного ответа на стоящие перед мас-

совым сознанием вопросы. Отсюда идет возникновение интереса к построению новой идеологии, о которой сначала заговорил Б. Ельцин, а затем Л. Кучма и В. Путин. Это можно назвать **открытым порождением позитивности**, но работа в этой сфере очень сложна, и мы не имеем достаточного числа специалистов. К примеру, опыт показывает, что даже полный контроль телеэфира может не привести к победе, как это случилось с Л. Кравчуком. Его образ в массовом сознании закреплен только «кравчучкой» и анекдотом о «хитром лисе». Даже отсылка к нему носит меняющийся характер — *первый? второй? президент*, что отражает совершенно «сырой» характер украинской истории.

Кстати, сегодня мы практически потеряли стихию анекдотов, что вновь порождает два возможных ответа. Либо сейчас уменьшилось давление на массовое сознание, что не требует столь же интенсивной его защиты, как раньше, либо отсутствует потребность в разрушении имеющихся стереотипов, если принять гипотезу о сознательном конструировании этого процесса в прошлом. При этом не только исчезла старая идеология, но и не возникла новая, а на безыдеологическом постсоветском пространстве не оказалось места для анекдотов.

Каким конкретным образом шло разрушение советских идеологических стереотипов? Избранным инструментарием, по нашему мнению, была *контекстная коммуникация*. Этим термином мы хотим обозначить тип передачи информации, когда главным становится не само содержание, а передача сопутствующего контекста. К примеру, образ человека, курящего сигару, помимо курения передает нам отсылку на аристократический тип жизни. Что здесь оказывается главным?

а) это отсылка на уже имеющийся в сознании образ, его только активизировали и привязали к данному новому объекту,

б) эту коммуникацию трудно опровергнуть, поскольку основная информация идет на так называемом уровне *пре-суппозиции* (предполагаемого содержания), которое не проверяется данным высказыванием, а принимается как данность;

в) принципиальной при таких видах коммуникации является полная отключенность сознания, поскольку мы не осознаем и соответственно не фильтруем получаемую информацию, она идет на более *глубинном* уровне, чем уровень осознания.

При этом проводниками (каналами для массового сознания) стали известные в СССР лица, начиная с того же Гавриила Попова. Перестройка действительно была сделана творческой интеллигенцией, поскольку их авторитет абсолютно не был затронут эрозией советского времени, а наоборот, перед перестройкой они начали выходить на новые более выигрышные позиции. При решении гипотезы об управляемости этих процессов вопрос был бы в другом — система почему-то разрешила это делать, создавая зрелищно выгодные образы типа уничтожения своего партбилета Марком Захаровым.

Интересное мнение на страницах «Комсомольской правды» высказал Валентин Распутин, даже если принять во внимание присущий ему синдром обиженного человека. Он начал с упоминания о кампании повальных разоблачения того периода, считая, что тем самым общество принялось уничтожать себя. И далее остановился как на лидерах перестройки, так и на лидерах антикоммунизма:

«Кто собирал стотысячные демонстрации у Манежа? Это привилегированная часть общества — научные городки, тот же Зеленоград. Они при коммунизме жили неплохо и первыми начали переворачивать те, прежние порядки. То же можно сказать про академгородки у нас в Новосибирске и Иркутске.

Теперь о лидерах антикоммунизма тех лет. В основном это внуки старых революционеров, которые при старой власти жили намного лучше остальных. По сути, они выступили против дела, которому служили их отцы и деды. Но и деды, и внуки воевали против России, против народа, только за свои интересы» («Комсомольская правда», 1996, 25 сент.).

Каким образом идет манипулирование сознанием сегодня? Именно так мы получили ряд культурных мифологем, где мифологическое содержание оказывается сильнее реальности. Это РЫНОК, это РЕФОРМЫ, это СВОБОДА СЛОВА.

Все эти слова несут в себе очень сильный указатель на ЗАПАДНЫЙ ТИП ЖИЗНИ. Но только на уровне идеологии, а материальный уровень основной массы людей стал хуже чем прежде. Как заявил кто-то на страницах газет, при каком капитализме можно месяцами не выплачивать зарплату? Или такой пример, как сегодняшняя программа закрытия шахт, при которой якобы не будет затронут ни один шахтер или его семья. Все это идеализация чистой воды.

При этом Уильям Гэмсон [238] предложил для описания политических дискурсов **символы-конденсаторы** ситуаций, которые в какой-то мере являются заменителями анекдотов для описания сути происходящих явлений.

Приведем некоторые примеры. От М. Горбачева осталась фраза *«Процесс пошел»*. Л. Кравчук сказал *«Маємо те, що маємо»*. У В. Черномырдина есть фраза *«Хотели как лучше, а вышло как всегда»*. Все они имеют одно общее значение: *неуправляемость происходящего за окнами их кабинетов*, т.е. констатация существования объективных процессов, не подлежащих процессам субъективного управления.

Процессы приписывания «оглупления», происходящие сегодня и в России, и в Украине, концентрируются вокруг роли Верховного Совета. Создается ощущение полной бессмысленности их работы, отсутствия результатов, из них делается тормоз счастливого развития событий.

Сергей Кургинян приводит иной инструментарий, позволяющий бесконечно варьировать, что такое «хорошо» и что такое «плохо», соответственно меняя аргументацию типа сказки о солдате, который варил суп из топора. Его пример:

«Вначале нам нужно было сделать нашу экономику “восприимчивой к научно-техническому прогрессу”. Но это, в свою очередь, нельзя было сделать, не “насытив рынок товарами” (“ускорение”), но это, в свою очередь, нельзя было сделать, не “перейдя на рыночную модель” (“перестройка”), но это, в свою очередь, было невозможно без “гласности”, “демократизации” и “реформы политической системы”, но это, в свою очередь, нельзя было сделать без “национального самоопределения”, но это, в свою очередь, нельзя было сделать без “суверенитетов”, но и “суверенитет” потребовал “реформы нашего государства”, но “наше государство” нельзя было “реформировать” в условиях “демократии и

гласности” ни во что иное, как в Союз государств. Но Союз государств неизбежно превращается в “государства без Союза”. Но эти государства ...» [94, с. 155—156].

Это определенный **инструментарий итерации**, применение которого позволяет растягивать процесс до бесконечности, одновременно создавая психологическое ощущение движения при его полном отсутствии*.

Помимо итеративности мы проходим также испытание аргументами **трансформации** в позитив негативов. К примеру, чеченская война России становится аргументом позитива для Украины: «Украина строится без войн» или «Наши парни не отправятся на войну». Россия также поставляет благодатный материал для **конструирования образа потенциального врага** в Украине, которая вписывает туда «антиукраинскую риторику», «антиукраинское поведение» (по поводу Черноморского флота, по поводу введения НДС и т.д.).

Таким образом, *современное кодирование идет в аспектах итерации, трансформации и конструирования*. Это аргументы, оправдывающие задержку в движении. Действительное движение вперед не может строиться на негативных контекстах, в него следует вкладывать контексты, которые принципиально позитивны. Следует признать, что значимым моментом строительства нового после 1917 г. также был элемент идеализации. Как пишет С. Кургинян [94, с. 254], «Россия не приняла бы “красную идею”, если бы в ней не было величия и святости».

Отдельным вопросом является работа с **новым поколением**. В советское время эта работа была проделана, к примеру, в том числе и на уровне мультипликационных фильмов. Т. Чередниченко продемонстрировала, как песня в них строится на противопоставлении пионерской песне [197]. Внезапно произошел разрыв поколений, когда старшие и младшие заговорили на разных языках. Только частично это можно прочувствовать в разговорах в семье, где их личностный характер мешает полностью проявиться этому разры-

*Т.е. движение по кругу или циклическое движение, что соответствует, например, символическому годовичному циклу и характерно для земледельческих культур. — *Прим. С.У.*

ву. Более серьезно мы прочувствуем это в будущих голосованиях по кардинальным вопросам, когда мы столкнемся со стремительными изменениями политического климата с непредсказуемыми последствиями.

Модель переноса западных стандартов нашла самых благодарных почитателей именно в молодежной среде. Но, как показывают исследования А. Панарина (см. [72, 132]), заимствование жизненных стандартов без заимствования поддерживающих их технологий создает неустойчивую систему. Обратный вариант — это исламская модернизация, когда технологии прошли, а западные стандарты жизни были задержаны иными жизненными ценностями. Мы же, принадлежа к той же цивилизационной схеме, лишены реальной возможности задержать чужое, чтобы дать возможность развиваться своему.

Молодежь является лакмусовой бумажкой любого процесса. Когда общество хотело террора, оно делало из молодежи Павликов Морозовых. Внешний враг Павки Корчагина стал тогда врагом внутренним. Сегодня мы стали «штамповать» циничное поколение. Хотя, с другой стороны, оно четче видит ближние цели, что делает их движения к успеху более вразумительным. Эпоха романтиков 60-х сменяется эпохой более циничной, когда для достижения целей можно (и нужно) поступать нечестно и незаконно. Подобные события встречались и в прошлом, но тогда нормы морали оказывались сильнее. Сегодня мы вписали их в список вполне возможного поведения, как бы расширив его рамки. Неправильное поведение как нормированное, вероятно, вытекает из дилеммы, в свое время отмеченной еще Р. Мертоном: если общество показывает образцы успешной жизни, но не дает законных путей ее достижения, тогда вступают в действие *незаконные* пути. Можно посмотреть на это явление как на определенный *застой* в официально разрешенном движении к успеху. Если в средневековом обществе вертикальную мобильность, разрывающую застой общества того времени, обеспечивала церковь, и мальчик из бедной семьи мог подняться на вершины благополучия, то в советское время эту мобильность стала обеспечивать партийная вертикаль, вынесшая многих сельских пареньков на

самые высокие кресла. Ни один советский генсек не родился в городе. Теперь такой вертикалью стала *денежная*. Однако она слишком универсальна — и честные, и нечестные варианты получения денег позволяют теперь достигать успеха, т.е. эта вертикаль не разграничивает моральные/неморальные параметры.

Периоды «застоя» как норма нашего движения. *Застой-1*, порожденный Л. Брежневым, привел к перестройке. *Застой-2*, созданный М. Горбачевым, вылился сначала в ГКЧП (кстати, С. Кургинян считает его блефом и псевдопутчем, который специально не был доведен до конца), а затем и в реальную смену строя. Украина во многом сегодня попала в полосу *Застоя-3*, куда ее завели как объективные, так и субъективные факторы. Примеры предыдущих застоев, однако, демонстрируют странную закономерность — как бы *сознательно конструируется застой, который затем взрывается новой составляющей*. Характерно, что новое состояние нашего общества строится почти теми же лицами, но под новыми лозунгами.

Что же может получиться из застоя-3?

Украина (как и Россия) получили новую организацию своего коммуникативного пространства, при которой единичное высказывание не в состоянии что либо изменить. И этому есть исторические параллели. Фильм «Торможение в небесах», отражающий времена перестройки, эксплуатирует тот же *коммуникативный зазор*, который был описан еще Н. Гоголем в «Ревизоре». Это расхождение между официальной и неофициальной точками зрения. В иерархической организации коммуникативного пространства происходит резкое несовпадение этих точек зрения. В «монологическом» обществе правильной считается только одна точка зрения. Поэтому нижестоящая в иерархии структура не пропускает наверх информацию, которая не совпадает с той, которая уже имеется наверху. «Диалогизация» коммуникативного пространства, привнесенная перестройкой, резко расширяет количество сообщений и, тем самым, занижает их статус. Возникает множественность истин, а раз так, то неизвестно, насколько истинна каждая из них. То есть если раньше система цензуры (в широком смысле, понимая под

цензурой и облегчение создания и функционирования нужных видов текстов) решала проблему нужной организации коммуникативного пространства, то сегодня эта же проблема решается допуском множественности высказываний.

И последний важный момент — *перестройка* использовала как свой организующий стержень **многие характеристики массовой культуры**, которая, как известно, наиболее приближена к аудитории и обладает наиболее эффективным воздействием. Перечислим некоторые существенные черты, сближающие перестройку и массовую культуру (в ряде случаев мы идем на сознательную повторяемость явления, но как бы с другой стороны):

1) если высокая культура делает зрителя пассивным, массовая возрождает *активность зрителя*, возвращая его к фольклорному варианту искусства. Перестройка реализовывалась как раз с помощью массовых действий типа митингов, в которых роль аудитории совпадает с фольклорной;

2) массовая культура строится на *противодействии* культуре доминирующей (Дж. Фиске), «взрываясь» именно в точках наибольшего сопротивления — перестройка также породила дискурсы, противоположные официальным;

3) массовая культура позволяет вариант *самотворчества* — «люди из зала» в период перестройки также постоянно поднимались на сцену (к примеру, Г. Попов, Ю. Афанасьев и др.); одновременно возникло непривычное чувство значимости для среднего человека, которое стало реализовываться в выборах, в свидетельстве исторических событий;

4) массовая культура реализует *карнавальную смену* «верха» и «низа» (М. Бахтин) — перестройка также отрицала старых «богов» (Ленин, коммунизм и др.), при этом она разрешила бывшим диссидентам-зекам занять высокие иерархические позиции в новой ситуации (хотя бы не во властной, а в коммуникативной и символической системах);

5) массовая культура характеризуется *серийностью*, перестройка также не имеет завершения;

6) массовая культура порождает тексты, которые характеризуются *многозначностью* прочтений, чтобы удовлетворить всех — перестройка также породила бесконечное число «говорящих людей», что, кстати, привело к тому, что

теперь ни одно обвинение в прессе не имеет существенно-го значения;

7) массовая культура носит *транслятивный* характер, в этом проявляется суть ее в коммуникации, именно поэтому она выносит на первое место не автора или текст, а исполнителя — она вынесла на первое место людей говорения, начиная от М. Горбачева и Л. Кравчука до первой шеренги депутатов вербальных профессий — журналистов и писателей.

ПОСТСОВЕТСКИЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ (ЖИРИНОВСКИЙ КАК СИМВОЛИЧЕСКИЙ БРАТ ЕЛЬЦИНА)

Жириновский в ресторане долго изучает меню. Наконец говорит:

— Оно мне чертовски напоминает наши демократические свободы!

— Почему? — интересуется официант.

— Ну как же, все вычеркнуто! (анекдот).

Жириновский и Ельцин во многом могут рассматриваться как «близнецы-братья», поскольку в системной перспективе они дополняют друг друга. Здесь явно действует принцип дополнительности: говорящий Жириновский и молчащий Ельцин, официальный президент и оппозиционный депутат, эпатирующий в красном сюртуке Жириновский — этикетный в черном костюме Ельцин. При этом Жириновский временами пытается занять место «старшего брата», что ему не удастся. Жириновский пытается занять внимание неиерархическим путем. То, что Ельцину достается по должности как президенту, Жириновскому следует достигать своими усилиями. Но любое коммуникативное действие как Жириновского, так и Ельцина обязательно попадают на телеэкран.

Жириновский порождает свою точку зрения по десяткам тем. При этом он всегда выглядит чуточку неофициальным

в этой максимально официальной ситуации. У него расстегнут ворот рубашки и приспущен галстук. Он отчаянно жестикулирует. При этом постоянно остается неясным, является ли он частью власти или представителем оппозиции. Он оставляет в неведении зрителей, поскольку легко смещается по этой шкале от готовности войти в правительство, до столь же откровенной готовности разогнать его.

Если Жириновский стремился овладеть официальными типами дискурсов, то Ельцин одновременно пытался овладеть частной сферой, которая получила название «встречи без галстуков». Мы видели Ельцина на лыжах, несущего лыжи на плече, гуляющего с внуками (отдых на Валдае в январе 1998 г.). Этот тип символической простоты переносится и на партнеров Ельцина по переговорам: будь-то украинский президент или японский премьер. «Грамматика» этого действия предполагает колоссальную симметричность со стороны партнера. Символический галстук снимается только сразу с двоих.

Ельцин как символ — это роль защитника. Его функционирование подчинено сталинской модели: если в стране и есть недостатки, то Ельцин про них не знает. Стоит ему узнать, он сразу же накажет виновных и все будет исправлено. Роль Жириновского — роль защитника, поскольку именно за это его качество голосует люмпен.

Ельцин пытался дистанцироваться от своего окружения, четко показывая свою неравноценность с ними. Жириновский известен сам по себе, а его ближайшее окружение для широкого круга зрителей покрыто мраком. Как Ельцин обслуживается командой имиджмейкеров, так и Жириновский.

Несомненным элементом образа Ельцина был непонятный «осадок», который никогда не получал внятного объяснения. Например, Т. Чередниченко перечисляет следующее:

«Есть в складывающемся имидже Ельцина и символы “народности”. К ним относится история аппаратчика-расстриги. Ельцин — это как бы помещик Дубровский, ушедший в разбойники со своими крепостными, или гусар Давыдов, возглавивший крестьянский партизанский отряд. Сюда же подключается память о падении в речку и публич-

ные появления (на лекциях в США) в нештатном состоянии, труднообъяснимом, если избегать объяснений слишком тривиальных. Житейские подробности типа «с кем не бывает» придают Ельцину черты фольклорного богатыря, одинаково монументального и в деле защиты отечества, и в удалом веселье» [197, с. 200].

Когда такая двусмысленность вводится в дискурс сознательно, как например, в дискурсе гаданий, то цель там состоит в охвате единым текстом как можно большего числа потребителей, чтобы каждый увидел свою детализированную ситуацию в этом рассказе. Что преследовал подобный дискурс Ельцина, кроме сокрытия реального негатива? Он также позволял скрывать будущий негатив. Например, падение в реку было возможной нормой, а не нарушением нормы. Следует признать, что этот нестандартный тип текста все время держал Ельцина в центре внимания аудитории. По сути, он гораздо больше отсутствовал, чем действовал. Но его редкие появления компенсировались недоговоренными ситуациями, которые реально обсуждались. Циркуляция информации о Ельцине все равно имела место, только она носила не столько официальный, сколько устный характер.

Жириновский предстает как карнавальный образ. Он не нарушает, а по сути выполняет правила игры. Только другой игры. Это в положительном смысле роль юродивого как представителя иноморы, который имеет право именно на иную норму. Жириновский предстает как реализация того же героя, но в иной стихии. Если для Ельцина такой стихией являлся кабинет в Кремле, где он виден во всей своей красе на фоне малахитовых письменных приборов, то для Жириновского естественной стихией является движение. Он как бы должен сейчас находиться в следующей временной и пространственной точке, что-то случайное задержало его тут. Ельцин, наоборот, был неподвижен и монументален. С уходом с политической арены Ельцина поблек и политический облик Жириновского.

ТЕОРИЯ СИМВОЛИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ В ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЕ СОВЕТСКОГО И ПОСТСОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ

*Пришел как-то Горбачев в баню.
Мужики как его увидели — так все
сразу тазиками стали прикрывать
срамные места.*

*— Да вы что, товарищи? Мы же
все — мужики!*

*— Так мы, Михаил Сергеевич,
сомневаемся: разве Раиса Максимов-
на не с вами? (анекдот)*

Символическое действие предполагает существование зрителя. Массовый зритель резко усиливает символизацию. То же происходит в случае особых событий — типа юбилеев. В этом случае даже при сохранении того же количества зрителей все равно происходит возрастание символичности. Официальный характер всегда привносит особый тип поведения, позы, жеста: ср. домашнюю фотографию и фотографию на паспорт.

Символическое действие в рамках советского общества неравноценно: есть точки сильно выраженного символизма и точки слабо выраженного символизма. В сильный символизм подпадает публичная сфера, в слабый — частная. Примером сильно выраженного символизма являются пограничные объекты: переходы между «нашим» и «чужим» миром, также переходы в рамках символических иерархий «нашего» мира (например, прием в пионеры, комсомольцы, члены партии). Это переходы между разными структурами или переходы в рамках одной структуры, но между ключевыми позициями, которые естественно значимы и должны особым образом маркироваться. Для советского общества важно даже преодоление физического пространства, что приводит к особой роли в нем альпинистов, стратонавтов, летчиков, космонавтов.

Символическое действие не терпит разрывов в пространстве и времени. По этой причине в советское время предпринимались гигантские усилия по идеологизации частной сферы. Это достигалось как идеологизацией коммуникативных каналов, потребляемых дома (издание книг, программы ТВ), так и созданием минимассовых каналов (типа агитационных площадок во дворах домов). Интенсив общественной коммуникации в домашних условиях служил в качестве определенного предохранительного средства от зарождения неправильных мыслей.

Дискурсы в определенном пространстве-времени считались наиболее существенными (типа речь на съезде КПСС, речь с трибуны Мавзолея и т.д.). Такие дискурсы должны копироваться многочисленными каналами коммуникации, а также (что является характерным признаком их особого характера) обсуждаться в ином пространстве-времени — типа политзанятий, занятий по общественным наукам, партсобраний.

Даже когда Л. Брежнев стал совмещать несколько постов, все равно статус генсека был наивысшим. Независимо от отвратительных речевых данных последнего времени статус первого говорящего безусловно отдается генсеку. Генсек был главным оратором, его речи должны были затем *повторно* изучаться и читаться. Текст остается неизменным, постоянно меняются условия его потребления аудиторией. Чем сакральнее текст, тем большее число таких контекстов в нем имеется. Причем все это в достаточной степени публичные тексты, заранее заданные, по этой причине в них невозможна импровизация.

Символическое действие особо реализуется в парадах и демонстрациях. Здесь порождаются целые невербальные тексты, призванные отразить структуры пространства и времени. Это было возможно, поскольку за невербальными текстами стояли вербальные. Пространство разворачивалось, так как демонстрация строилась как отражение волеизъявления трудящихся по географическому (колонны соответствовали районам города) или производственному принципу (шли «заводы», «вузы» и т.д.). Временной параметр отображался изображением матросов Октября, военных времен

Великой отечественной войны. Военные также выдерживали эти же принципы (производственный — рода войск, временной — исторической окраской в редких случаях).

Государство очень положительно относится к военным парадом. Это странный феномен удовольствия от самими же организованного действия может быть объяснен лишь определенным государственным «нарциссизмом». Государству необходимы определенная публичность положительных самооценок. Особенно наглядно это проявляется в юбилейных точках пространства-времени, когда снимается любой критический фильтр.

Важной функцией военного парада, вероятно, является демонстрация подчиненности первому лицу. Это существенный аспект, поскольку при этом происходит «разрыв» ведомственной принадлежности. Министр обороны публично демонстрирует свое подчиненное положение, как и все вооруженные силы. Замкнутая военная среда «отталкивает» всеми возможными видами штатское руководство. Поэтому парад призван продемонстрировать обратное. Хотя это и чисто символическое действие, но в публичной сфере нет разницы между символическим и реальным действием. Любое реальное действие преисполнено символизма (типа прием посла), а любое символическое действие реализуется в материально существующих формах.

Любое государство с обязательной последовательностью наращивает формальный символизм — герб, флаг, знаки отличия, ордена и медали. СССР сначала отказался от военной символики царского времени, затем постепенно снова к ней вернулся. Знаки отличия и воинские звания стали теми же. «Золотопогонники» перестало быть негативным словом.

Любое символическое действие является таковым, когда носит системный характер. Особенно это сильно проявляется в случае ритуала, где реальное значение уже стерто, а существует только системное (= выполнение ритуала ради самого ритуала). При этом внешняя картинка советских ритуалов была достаточно однообразной: многообразие юбилейных дат реализовывалось в ограниченном объеме событий. Можно перечислить такие типы, как съезд, конференция, торжественное собрание, парад, demonstra-

ция, народные гуляния. Воздействие усиливалось за счет многократности повторения.

Особенностью советских символических действий является последовательная нейтрализация индивидуального. Это ритуал бронзовых памятников, а не живых людей. Его принципиально неживой слой иллюстрируется отсутствием в официальном срезе жен и детей. Неприятие Раисы Горбачевой лежит в нарушении этой стороны символизма, а не только в определенном раздражении женской части населения. Это не какой-то злой умысел: определенная форма требует определенного содержания. Введение в нее несвойственного содержания вызывает отторжение формы. Примером служит не только Раиса Горбачева, но и поцелуи членов политбюро при расставании. Действие, обладающее личностными характеристиками, не подходит для передачи в публичную сферу. Оно начинает нести непрогнозируемые ассоциации. Публичная сфера — это управляемая сфера, она не допускает случайного развития событий.

Ритуализированное действие отличается по ряду параметров от обычного повтора действия в обыденной сфере. Это не просто публичная сфера, что выражается в большей обязательности нормы и соответственно в большей наказуемости за ее нарушение. Участник советского ритуала обычно описывал его словами «так надо», «так было всегда», «ничего изменить нельзя». То есть очень важной составляющей является ощущаемая долговременная связь. Ритуал частной сферы, например, обед, не имеет этого компонента. Поэтому он может иметь большую вариабельность. Ритуал публичной сферы (демонстрация, партсобрание) нес разные значения для разных участников. Ритуал «обед» также может нести разные значения, к примеру, для жены и мужа, матери и сына: одна сторона готовит, другая — съедает. Но эти роли не столь жестко закреплены, они могут меняться. Роли в публичной сфере не меняются. Они очень профессионализируются. Как пишет, к примеру, Питер Бергер, для выполнения своих ролей:

«Врачам, священникам и офицерам приходится приобретать особые манеры, речевые и моторные навыки: военную выправку, елейный голос, доброе лицо у постели больного» [26, с. 91].

По его идее сама роль начинает детерминировать свою реализацию:

«Мы чувствуем себя более пылкими, когда целуем; более смиренными, когда стоим на коленях; более свирепыми, когда потрясаем кулаками, т.е., скажем, поцелуй не только выражает пыл, но и “производит” его» [26, с. 91].

Роль начинает усиливать, гипертрофировать определенную установку, доводя ее до предельно возможного состояния.

Определенные внешние характеристики ее выступают как *пусковые механизмы* требуемых обществом эмоций. На индивидуальном уровне этот пусковой механизм уже представим достаточно хорошо (см., к примеру [135]). Однотипно выполнение *ролей подчинения* должно воспитывать даже бессознательно соответствующие стереотипы внутри участника символического действия. При этом роли разного уровня давали разные стереотипы. Партсобрание, поскольку оно направлялось не руководителем предприятия, а секретарем парторганизации, вероятно, призвано было уменьшить самооценку руководителя. Ему демонстрировалась теоретическая возможность контроля снизу. И так каждый уровень иерархии реально включал отсылку на определенную коллективность, связывая действия первого лица. Чаще всего это была чисто теоретическая возможность, но она все равно присутствовала, и отрабатывалась, к примеру, партсобранием.

Символическое действие демонстрирует единство общества, подчиненность его общим целям. Чем большее число людей оказывается вовлеченным в него, тем крепче ощущает себя государство. Это становится понятным, если взглянуть на процесс ритуала как определенную жертву индивидуального в пользу общественного.

АНЕКДОТ КАК ИНТЕРПРЕТАТОР СОВЕТСКОГО И ПОСТСОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ

Звонок в дверь. Брежнев подходит к двери, вынимает из кармана очки, бумажку и читает:

— Кто там? (анекдот)

Анекдот фиксирует те точки мифологической системы общества, которые вступают в определенное противоречие со здравым смыслом. Анекдот «взрывает» спокойное течение официальной модели действительности. Брежнев моделируется анекдотом как достаточно ограниченный типаж руководителя, что противоречит подаче его в роли теоретика марксизма-ленинизма и даже автора ряда (!) литературных произведений типа «Целины». В постсоветское время массовое сознание не принимает такой же ограниченный типаж «нового русского», который развитием социально-экономической ситуации вынесен на первые позиции. Массовое сознание отвергает «незаконных победителей» этого мира.

Анекдот настолько классичен для советской эпохи, что даже агиографические рассказы о Ленине строятся по модели анекдота, конечно, без расчета на юмористическую реакцию, а по сути структуры.

Анекдот универсален в том смысле, что весь набор героев и объектов «большого мира» представлен в нем, то есть частная сфера выстроила параллельный публичный мир, но смысл строительства мог быть только в том, чтобы наделить эти объекты иными характеристиками. Есть анекдоты о вождях. Но на этом никто не останавливается. «Первыми попадают в одну рубрику с вождями легендарные герои советской истории — например, Чапаев. К ним примыкают типовые персонажи, репрезентирующие власть, — например, милиционеры. Глупость милиционеров перекидывается анекдотом на остальных граждан — типичных предста-

вителей советских социальных слоев (инженеров, колхозников и т.д.). Так возникает сплошной континуум глупости, в котором, собственно, некому посмеяться над кем-то другим: все — «другие», все равны в качестве нелепых винтиков нелепой машины» [197, с. 28—29]. Макрокосм полностью отражен в микрокосме. Единственное отличие заключается в том, что происходит существенная смена иерархических отношений: вождь перестает быть вождем. Но это и не полярная смена (подобная карнавальная М. Бахтина), поскольку никто не претендует на жезл официальной власти.

В. Руднев отмечает, что для героя анекдота необходимо средняя политическая ситуация: «Идеальный герой для анекдота — Василий Иванович Чапаев, он осуществляет посредничество между официозной напряженной идеологией большевизма (Фурманов) и спонтанным народным началом (Петька и Анка) — он одновременно герой и шут» [154, с. 28]. Сходно он объясняет и появление в качестве героя анекдота Штирлица: «Штирлиц — свой среди чужих и потенциально, конечно, чужой среди своих — осуществлял посредничество между официозным, «надутым» брежневским взглядом на культуру, в том числе на отечественную войну, и интеллигентским углубленно-потенциальным пониманием того, что «все не так просто» [154].

Анекдот невозможен в официальной культуре из-за ее жесткой иерархичности и прямолинейности. Развернутый вариант анекдота был представлен именами М. Жванецкого, М. Задорнова и других на излете советского государства. Исчезновение жесткой цензуры и, как следствие, уход от необходимости игры словом приводит к серьезному снижению значимости этого явления и на эстраде, и в жизни. Многообразие анекдотов сменило унылое однообразие повествований о новых русских и их мобильных телефонах. Произошло сближение ритмов жизни и анекдота, что оказалось противопоказано анекдоту. Анекдот умер, и нельзя прокричать — да здравствует анекдот, поскольку в своем прежнем виде он уже не сможет возродиться.

Тоталитаризм, как это ни странно, может считаться золотым веком политического анекдота. Сегодня мы наблюдаем

даем полнейший упадок этого жанра. Это свидетельствует о том, что анекдот являлся *ответом* на сильный идеологический пресс, характерный для тоталитаризма. Соцреализм и анекдот занимают как бы два полюса воображаемого мира. И чем сильнее навязывался соцреализм, тем активнее на него отвечал анекдот. Если соцреализм отмечал точки восхищения, то анекдот эти же точки подвергал осмеянию. Например (анекдоты советского времени из изданий: [36; 212]; анекдоты прошлого времени из книги: [155]):

— Алло! Это Смольный?

— Да.

— У вас пиво есть?

— Нет.

— А где есть?

— В Зимнем, кажется.

— Ура-а-а! На штурм!

— Алло, это КГБ?

— Нет, КГБ сгорело.

Опять звонок.

— Алло, это КГБ?

— Нет, КГБ сгорело.

Снова звонок:

— Алло, это КГБ?

— Вам же сказали: КГБ сгорело!

— А может, мне это приятно слушать...

Осмеянию подвергаются не только исторические ситуации и основные организации, а и весь ареопаг вождей:

Брежнев спрашивает у Суслова:

— Ты «Малую землю» читал?

— Да, читал, два раза. Очень понравилось.

— Надо и мне почитать.

Дипломатический прием. Брежнев читает:

— Уважаемая госпожа Тэтчер!

— Леонид Ильич, это Индира Ганди!

— Я и сам вижу, но тут написано «Тэтчер».

При этом активно используются уже апробированные соцреализмом сюжеты. Например:

На Брежнева совершено покушение. Террориста схватили и стали разыскивать его брата, который сказал: «Мы пойдем другим путем».

— Владимир Ильич, участники кронштадского мятежа арестованы. Что с ними делать?

— Гасстгелять! Но перед гасстгелом напоить чаем. И непременно голячим!

Отсюда следует, что анекдот является частью того же континуума, что и соцреализм. Они отталкиваются от того же набора составляющих, только если в первом случае риторическая сила направлена на возвеличивание, то во втором — на осмеяние. При этом анекдоту не удалось развернуться в «крупномасштабные» полотна, это всегда малый жанр. Редкими исключениями являются Д. Хармс, Ф. Кафка и современная серия книг о Чапаеве, которые функционируют именно в рамках анекдотического измерения. Для них, как и для анекдота в целом, характерно совмещение полярных категорий: большого/малого, великого/низкого.

Анекдот подобен лилипуту в мире великанов, он интересен для населения, поскольку позволяет выполнять функцию компенсации и функцию карнавализации, описанную Михаилом Бахтиным [24]. Карнавал в средние века давал возможность сброса социального напряжения тем, что на время его проведения менялись местами верх и низ: шут становился королем, а король занимал позиции для осмеяния.

Анекдот — это параллельная карнавальная структура, только без фиксации конкретного времени и места. Хотя место и время все же были, анекдот — это примета неофициального («кухонного») общения, с ослабленным внешним контролем.

Анекдот задает определенные универсальные законы бытия, он более системен, чем сама жизнь, и в нем явственнее проступает причинно-следственная связь явлений не только в будущем, но он строит их и в прошлом. Например:

Ленин с соратниками обсуждают план вооруженного восстания. Подбегает маленький мальчик и говорит:

— Вооруженное восстание нужно провести 25 октября 1917 года!

Ленин спрашивает:

— Ты кто такой?

— Ленька.

О анекдоте, моделирующем энциклопедическую статью будущего: «Брежнев Л.И. — мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой», Татьяна Чередниченко пишет: «Эстрадная звезда, превратившаяся в политического деятеля, именуется эпоху, олицетворяет «общественное». Напротив, политический деятель, став эстрадным увеселителем, теряет «эпохальность», становится фигурой частной, не имеющей большого общественного значения. Общественное и личное меняются местами, предварительно раздвоившись друг на друга» [197, с. 13].

Слухи также являются достаточно сильным динамическим каналом, который закрывает собой ту тематическую область, о которой молчит масс-медиа. Правда, сегодня на коммерческих ТВ-каналах появились «официальные» передачи под названием «Слухи», но от этого не меняется их характер принципиального противопоставления официозу. Слухи, как и анекдоты, представляют собой элементы устной коммуникации. Их яркий характер способствует свойству самотрансляции, позволяющему конкурировать по масштабности распространения с новостями, циркулирующими как бы в принудительном с точки зрения слухов режиме. Исследователи часто трактуют слух как желание, например, слух о расстрелах мародеров во время армянского землетрясения, хотя таких расстрелов реально не было.

Очевидно, тоталитарное общество можно рассматривать как такое, где не было вопросов, а были только ответы. Поэтому как анекдоты, так и слухи пытались разрушить основной конструктивный скелет такого общества, работая именно в том срезе, который то общество попыталось закрепить как законами, так и стереотипами. Отсюда и тематическое расслоение анекдотов по запрещенным «силовым линиям»: партия, Ленин, генсеки, КГБ и др. Акцент на этнических

особенностях шел в противовес концепции интернационализма, единого советского народа. Грузин, к примеру, в анекдотах предстает как «человек заметный, шумный, богато, хотя и безвкусно одетый. Он любит прихвастнуть, показать свое реальное или мнимое благополучие» [203]. Или в другом месте: «Наиболее «злые» анекдоты об украинцах, хотя русские и украинцы близки по культуре и языку. Видимо, родственное, но не тождественное раздражает больше, нежели совершенно чужое и непохожее. Украинцы в анекдотах часто и глупые, и жадные, и неопрятные, и едят сплошь сало».

Лариса Васильева в поиске материала для своих книг выступила с опровержением двух слухов. В одном случае речь идет о национальности жены Брежнева, которая сказала автору: «Но я никогда не отказывалась от своего вымышленного еврейства — что мне, жалко, что ли!» («Комсомольская правда», 1997, 12 марта). Второй слух такой:

«Когда люди из НКВД пришли домой то ли к Ворошилову, то ли к Буденному (в рассказах по очереди фигурировали обе фамилии), один из них выставил в окно автомат и кричал, что всех сейчас перестреляет. Я спрашивала об этом случае в двух семьях — не было ничего похожего. Очевидно, кому-то захотелось придумать романтическую историю» («Комсомольская правда», 1997, 12 марта).

Общество, в котором не задают вопросов, породило этот особый пласт литературы, который и служил ответом на незадаваемые вопросы. Отсутствие анекдотов о дне сегодняшнем (если не считать некоторого количества рассказов о «новых русских», которые заменили анекдоты о богатых грузинах) говорит об их определенной очищающей функции. Сильное давление пропаганды в свое время давало в ответ информационный выброс массового сознания, повествующего на свой манер о Брежневе, Чапаеве и других, тем самым создавая баланс нормальности. Анекдот советского времени как раз подтверждает *существование нормы*. Человек, даже находясь под идеологическим прессом, сохранял ясность видения и противопоставлял пропагандистскому варианту свой тип интерпретации действительности.

СОВЕТСКИЙ ЯЗЫК

Брежнев умер, но тело его живет! (анекдот).

Мераб Мамардашвили замечал, что мы говорим «на каком-то странном, искусственном, заморализованном языке, пронизанном агрессивной всеобщей обидой на действительность как таковую. <...> В пространстве этого языка почти нет шансов узнать, что человек на самом деле чувствует или каково его действительное положение» («Социум», 1991, № 1, с. 11).

Можно представить два варианта универсализации языка. Один тип направлен на такой уровень двусмысленности, чтобы каждый считал, что это говорят о нем. По этому пути пошли гадалки, так как их язык гаданий должен подходить любому. Единый для всех текст должен иметь при этом как можно более индивидуализированную отсылку на конкретного слушающего. Например, говорится не конкретное имя, отсылка строится по более широким параметрам: это имя из пяти букв.

Второй тип универсализации, первые ростки которого в сфере обыденной жизни отмечал Корней Чуковский — это строительство канцелярского языка для описания сферы обыденности. То есть язык публичной сферы используется в сфере частной. Естественно, что в нем нет индивидуализаций, интимности и проч. У него масса примеров, к которым мы уже и привыкли, но для его уха они еще звучали ненормально. Мне нравится один из них, когда молодой человек увидел плачущую пятилетнюю девочку.

«Он ласково наклонился над ней и, к моему изумлению, сказал:

— Ты по какому вопросу плачешь?

Чувства у него были самые нежные, но для выражения нежности не нашлось человеческих слов» [201, с. 160].

А. Селищев — первым из лингвистов отметил особенности языка эпохи. Он обратил внимание на склонность публичного языка послереволюционной эпохи к колоссаль-

ным преувеличениям. Стандартом стали при описании себя «гигантские успехи», а противоположная сторона стала обозначаться как «пигмеи», «белогвардейские козявки».

Язык этого типа не нуждается в аргументах и обоснованиях своей точки зрения. На нем можно задать одним высказыванием типа «Кибернетика — продажная девка империализма» всю научную сферу. Он не нуждается в аргументации, будучи порождением монологического типа, где все слушающие. Только там, на Олимпе, есть кто-то, кто формулирует эти прекрасные слова, обязательные для всех.

Такой язык очень любит сам себя. Ср. весьма показательное высказывание Л. Троцкого:

«Язык цивилизованных наций ярко отметил две эпохи в развитии России. Если дворянская культура внесла в мировой обиход такие варваризмы, как “царь”, “погром” и “нагайка”, то Октябрь интернационализировал такие слова, как “большевик”, “Совет” и “пятилетка”. Это одно оправдывает пролетарскую революцию, если вообще считать, что она нуждается в оправдании» [176, с. 396].

Очень важным аспектом задания иерархии, которая лежит в основе любой бюрократической системы, являются титулы. Филипп Роже, исследуя семиотический образ Марата, говорит:

«Революция постоянно задает своим деятелям вопрос об их революционном титуле. Некоторые быстро это поняли — те, кто обманом записались в “участники взятия Бастилии”: в хозяйстве пригодится. Сколь ясно Марат осознавал эту важность титула, видно из эпизода, когда он, чтобы дискредитировать одного из кандидатов в Конвент, в своей разоблачительной афишке 30 августа 1792 г. удовольствовался тем, что к имени “недостойного” прикрепил ярлык “Неизвестен Революции”» [152, с. 28].

Советский язык предопределяет действительность, в отличие от нормальной функции языка, призванного отражать действительность. В этой действительности главным элементом был героический поступок. Это можно представить как борьбу «точки» с «контекстом». У «точки» есть преимущества в том, что ее потенциал не исчерпан, она может

броситься с новой силой, может решить проблему ценою своей жизни.

Поскольку этот язык описывает героический поступок постфактум, он неизбежно окрашен пафосом. Полнос «мы» описывается максимально положительно, полнос «они» — максимально негативно. Эта интенсификация отражается уже и на уровне детской литературы. Нейтральные «Детство Темы» Н. Гарина-Михайловского и «Детство Никиты» А. Толстого сменяются детской героикой Аркадия Гайдара, причем ему пришлось предложить и детские отрицательные образы типа Мальчиша-Плохиша.

Героическое всегда расположено в прошлом. Это оценка скорее потомков, чем современников. Советская мифология попыталась нарушить эту закономерность, задав героизм в прошлом, настоящем и в будущем. *Советский язык — это героический язык.* Это язык, на котором повествуется о победах. В нем невозможны проявления слабости и сомнений, подобно тому, как письменный язык отмечает определенные характеристики языка устного (типа хезитации). В нем невозможны отрицательные высказывания, поскольку советская действительность позитивна. Подобного рода высказывания как лакмусовая бумажка выдают врага — он говорит на чужом и чуждом языке. Подобно тому как Баба-Яга чуяла русский дух, иные типы высказываний сразу выдают носителя иной идеологии.

Героический язык характеризуется серьезным завышением. Поэтому идеальным гражданином Страны Советов мог быть космонавт, но никак не обычный человек. Обычный человек с его заниженными проблемами никак не интересен для государственного языка. А советский язык был языком государственным и никак не частным. Обслуживая иные потребности, он имел и иную лексику, и иной синтаксис. Это язык оды, язык во славу. Это голос, усиленный многими громкоговорителями, а не шепот. Это язык яркого дня, а не безлунной ночи.

Советский язык позднего периода «сломался» из-за своего несовпадения с действительностью. Тогда «правильности» прошлого времени стали восприниматься как пародийные. Например, «советское, значит, отличное». Все это

привело к пародированию советского языка в анекдотах о самых крупных в мире микрокомпьютерах и о Советском Союзе как о родине слонов. Когда предложенная идеологическая схема, составлявшая сущность этого языка, оказалась не универсальной, а локальной, резкая смена контекста привела его к гибели. При этом он продолжает храниться в качестве языка соответствующих поколений, но это уже более музейное функционирование. Ведь пафос предполагает всеобщий эмоциональный охват.

Тексты на этом языке особенные: имея начало, очень легко можно предсказывать контекст. Здесь в отличие от принятого в лингвистике противопоставления: фиксированный Язык, нефиксированные Тексты, имеем нечто противоположное: фиксированный Язык, фиксированные Тексты. То есть тексты по сути своей сами становятся языком, только другого уровня. Они несут функцию не расширения символического пространства, а функцию подтверждения уже имеющегося пространства на новом примере. Происходит ритуализация как действительности, так языка. Читатель и автор выступают в особых ролях, в которых важна не новизна информации, а подтверждение уже слышанного, нечто вроде фатической функции языка Романа Jakobsona, при которой целью становится не передача информации, а поддержание контакта. Кстати, такой повтор может иметь и положительные последствия, подобно тому, как успешная карьера актера складывается при совпадении его образов и его индивидуальности. Здесь также постоянство набора героев и сюжетов могло в ряде случаев давать более тонкие оттенки, которые слабо различимы носителями иной культуры, но значимы для носителей культуры советской.

Язык перестает быть просто языком, это священнодействие, подобно каллиграфии в Китае. Форма и содержание такого языка могут существовать как бы в параллельных мирах. Этот язык также призван закрывать «разрывы» действительности, подобно тому, как это делают герои. Если язык заменяет действительность, то и внимание ему уделяется большее, чем действительности. Вспомним известный анекдот о приезде иностранных корреспондентов, когда председатель колхоза в ответ на пожелание засыпать лужу,

«мы»/»они». Явно принадлежа к другим, «прогрессивное человечество» все равно говорит и реагирует как «мы».

Интересно, что постсоветская Россия вновь практически возвращается к тем же дореволюционным составляющим. Православие занимает (или имеет тенденцию занять) место в структуре власти. «Народность» сохраняет свой потенциальный характер.

Ханна Арендт увидела в революции такие составляющие, как «начало», «новизна», «насилие» [11]. Подчеркнем, что первые две составляющие несут явно позитивный символизм. Общество умирает при отходе от инновативной деятельности.

Идеологические коды, организующие нашу жизнь, несут явно системный характер. Случайное в них подлежит стиранию, в любом случае оно не будет подлежать размножению по разным каналам данного общества. В то же время «нужные» с точки зрения данной цивилизации сообщения подлежат обязательному умножению. К примеру, «Целина» Л. Брежнева существовала не только в рамках вербального текста, а читалась по радио, выходила в виде пластинок, попадала в школы, на театральную сцену. Таким образом для выхода данного типа сообщения использовались все имеющиеся в обществе «языки».

Одним из объяснений данного системного феномена следует признать *иерархический характер* тоталитарной цивилизации. Вяч. Вс. Иванов говорит в этой связи о «холодной культуре» в смысле Леви-Строса. Если *горячая культура* сориентирована на открытие нового и необычного, то *холодная культура* стремится к повтору, отрицанию нового. Вяч. Вс. Иванов пишет:

«Холодная культура занята учреждением Олимпа, ценности которого постоянны; такова была сталинская культура, все главное предпочитавшая сводить к одной снежной вершине. Ею могли оказаться и люди достойные (Павлов в физиологии и психологии или Станиславский в театре) или недостойные (Лысенко в биологии), но принцип единственности если и нарушался, то только для того, чтобы вместо смещенного заместника (часто покойного, например, Марра в языкознании) лишний раз утвердить самого Верховного Владыку, впадавшего вдобавок к своей обыч-

ной параноией еще и в старческий маразм и уже не желавшего ни с кем делить преимущества единовластного Гения всех времен» [70, с. 5—6].

Если мы возьмем элементарную первомайскую открытку времен социализма, то увидим на ней набор «Мир. Равенство. Братство». «Мир» отражает международную координату социализма. Следует признать, что именно эта координата занимала непропорционально большое место в жизни советского человека. Мы все время *боролись за мир во всем мире* вместе со *всем прогрессивным человечеством*. Заграничные типажи вроде Анжелы Дэвис становились частью обыденной жизни советского человека. На них всегда концентрировалось серьезное внимание пропаганды и, соответственно, массового сознания. В этом ряду стоят и Поль Робсон, и Ван Клиберн.

Набор слоганов эпохи четко задавал ее координаты. Перечислим некоторые из них:

- *Партия — ум, честь и совесть эпохи.*
- *Пролетарии всех стран, объединяйтесь.*
- **СЛАВА КПСС** (этот лозунг был переведен из вербальной в визуальную основу, поскольку многометровыми буквами высился повсюду).
- *Экономика должна быть экономной.*
- *Наше дело правое, мы победим.*
- *Органы не ошибаются.*
- *Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме.*
- *Новая историческая общность людей — советский народ.*

Этот набор задает определенную мифологию эпохи. При этом Д. Ольшанский написал, немного занижая статус подобных социальных мифов:

«Миф, приобретающий политические рычаги своего внедрения в жизнь и сознание людей, со временем становится почти что реальностью — особой квазиреальностью, которая вроде бы даже существует (как брежневская мифологема о “новой исторической общности”, говорящей исключительно на русском языке), но при малейшем катаклизме рассыпается в силу отсутствия основания, фундамента, обеспечивающего ее существование» [129].

Однако он не принимает во внимание того, что миф вполне хорошо функционирует в рамках своей собственной символической реальности. Только особые условия могут привести его в столкновение с подлинной реальностью. В нашем случае я имею в виду советскую мифологию, это произошло только при полной смене социальной системы.

Мы акцентируем определенную *непроверяемость* мифа в рамках своей собственной системы, поскольку он входит в число ее аксиом. Мы можем только усилить и подтвердить эти аксиомы добавлением новой информации, но никак не отвергнуть их. Косвенное подтверждение именно такой трактовки современного мифа можно обнаружить в следующих словах Юрия Лотмана: «Миф всегда говорит обо мне. “Новость”, анекдот повествуют о другом. Первое организует мир слушателя, второе добавляет интересные подробности к его знанию этого мира» [109, с. 210].

Столкновение советской мифологии с американской, например, только усиливает и ту, и другую, поскольку позиции «врага» в них занимали противоположные стороны. Наличие «американских империалистов — поджигателей войны» лишь подтверждает существование всех прочих аксиом советской мифологии. Миф позволяет определять категорию «МЫ» сквозь категорию «ОНИ». Категория «МЫ» также задается внутренними аксиомами типа «Коммунизм — это молодость мира и его возводит молодым». Задав последний параметр «молодой державы» удастся косвенно подчеркнуть параметр «роста». И он действительно характеризовал СССР как количественно (типа целины), так и качественно (типа Днепрогэса). Шло покорение Северного полюса, космоса (сначала — стратосферы), горных вершин.

Запад выполнял функции не только полюса, но и постоянного противника, который пытался то и дело свершать свои злые дела.

Между полюсами «советское/буржуазное» стоят герои, призванные отражать удары, в том числе и идеологические. Дихотомия «герой/враг» несет с собой рассмотрение и мирных вопросов в этой области. Она реализуется также не только в метафорах, но и принятых в обществе типах одежды. Ср. воспоминание Л. Троцкого о Сталине: «Со времени

гражданской войны Сталин всегда носит нечто вроде военной формы, чтобы напоминать о своей связи с армией: высокие сапоги, тужурку и брюки хаки» [175, с. 405]. То есть реализацией этого значения может служить многое, что можно изобразить следующим образом:

значение	форма
герой	тип одежды
военная обстановка	метафоры войны
военные герои	массовой культуры

Советский человек был свободен для осуществления героического поступка, обыденный поступок был неинтересным для общества. Героическая суть толкала общество на изобретение принципиально не встречающихся в жизни сочетаний, как, например, «летчик» + «без ног». Чем удивительнее было это сочетание, тем героичнее могло восприниматься повествование. В системе принципиально героической, в ее воображаемом мире приоритет отдавался именно подобным ситуациям. Но одновременно это очень *оптимистическая система*, она настолько заражала всех оптимизмом, что трудности рассматривались нами только как временные. Советская мифология была действительным генератором оптимизма. Это также четко фиксируется вождями в качестве неписаных правил. Например, А. Жданов именно этот срез ставит в вину А. Ахматовой:

«Что поучительного могут дать произведения Ахматовой нашей молодежи? Ничего, кроме вреда. Эти произведения могут только посеять уныние, упадок духа, пессимизм, стремление уйти от насущных вопросов общественной жизни, отойти от широкой дороги общественной жизни и деятельности в узенький мирок личных переживаний. Как можно отдать в ее руки воспитание нашей молодежи?!» [175, с. 13].

Приведенная цитата выпячивает, помимо противопоставления «оптимизма/пессимизма», дихотомию «общественное/личное», где позитивно окрашенным может быть только «общественное». Все эти характеристики достаточно прозрачны. Так по поводу пессимизма А. Жданов спрашивает:

«А что было бы, если бы мы воспитывали молодежь в духе уныния и неверия в наше дело? А было бы то, что мы не победили бы в Великой Отечественной войне. Именно потому, что советское государство и наша партия с помощью советской литературы воспитали нашу молодежь в духе бодрости, уверенности в своих силах, именно поэтому мы преодолели величайшие трудности в строительстве социализма и добились победы над немцами и японцами» [63, с. 14].

Системность этого мира задана как четкими противопоставлениями, так и обязательной окрашенностью единиц в качестве положительных или отрицательных. Такая четкая картина мира позволяла многократно выйти на любую его точку. Например: учитель — это интеллигенция, т.е. нечто подозрительное, но зато у него может оказаться рабоче-крестьянское происхождение, что помогает нейтрализовать первый признак. Или у него ученики — рабочие, которые могут его перевоспитать. Таким образом присутствует уже несколько уровней генерализации, и мы можем «бродить» по подобной схеме бесконечно. Кстати, системность советской идеологии отмечают и западные исследователи. Подобная четкая картина мира имеет массу преимуществ, предопределяя в ряде случаев принятие решений, что в то же время являлось и негативной чертой.

При этом и сторона «врага» столь же системна. Приведем в качестве подтверждения цитату из «Краткого курса». Речь идет о тех, кого наши успехи не приводят в состояние счастья:

«Эти господа расценивали достижения рабочих и колхозников не с точки зрения интересов народа, который приветствовал каждое такое достижение, а с точки зрения интересов своей жалкой, оторванной от жизни и насквозь прогнившей фракционной группы. <...> А чтобы уберечь при этом свою жалкую группу от разоблачения и разгрома, они накинули на себя маску преданных партии людей, стали все больше и больше лебезить перед партией, славословить партию, пресмыкаться перед нею, продолжая на деле свою скрытую от глаз подрывную деятельность против рабочих и крестьян» [73, с. 310].

Здесь поведение врагов объясняется как их прошлым, так и их настоящим. В результате построена очень сложная

схема, где «чужие», ведущие свое происхождение из дореволюционной эпохи, вредят успехам современным, но делают это, войдя в партию. Таким образом, враг может замаскироваться и в святая святых. С этой точки зрения враг даже более универсален, чем герой.

Можно представить себе два параллельных механизма: *генератор подвигов (героев)* и *генератор врагов*, которые в социалистической модели мира функционировали наиболее эффективно. Мы уже говорили, что герой невозможен без врага. Мифология врага — это введение в массовое сознание определенных дестабилизирующих элементов. Во-первых, дестабилизация внешняя автоматически вызывает дестабилизацию внутри, т.е. вражеские действия извне изменяют атмосферу внутри. Во-вторых, дестабилизирующая координата очень серьезно модифицирует законы социального поведения в сторону более сильного управления. Можно привести ряд таких последствий:

а) во время кризисов происходит объединение вокруг лидера, следовательно, значимость фигуры лидера явно возрастает,

б) происходит более жесткое выполнение правил поведения,

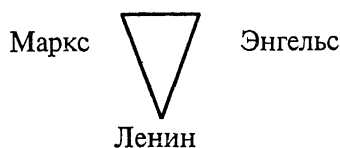
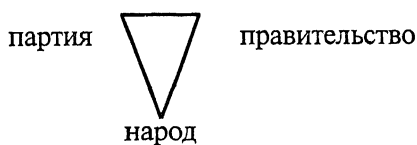
г) более поощряется становится наказание «еретиков» различного уровня.

В целом можно сказать, что введенный в социум определенный объем «страшной» информации (пускай даже придуманного характера), серьезным образом тормозит все варианты анти-действий. Иван Грозный, бросая царство и уезжая в свою слободу, тем самым дестабилизировал обстановку. В результате у каждого терялась автоматизация действий. Сталин также моделировал свои подобные символические уходы.

Таким образом, символическое пространство советского мира соткано из двух видов единиц: объединений концептов и противопоставлений концептов. Бинарное противопоставление единиц — это стандартное представление, принятое в семиотике. Мы дополняем его также понятием объединения, в котором задается иерархия сближенных концептов.

Объединения

Обратите внимание, что все встретившиеся нам объединения имеют трехчленную структуру: *рабочие—крестьяне—интеллигенция, партия—правительство—народ, Маркс—Энгельс—Ленин, партия—комсомол—пионерия*. В этих наборах у трех различающихся единиц имеется одно общее качество, которое распространено неравномерно: у первой единицы его больше, у последней меньше. Удобно изобразить эти тройки в виде треугольника:



При этом череда генсеков также может быть представлена в этом же виде, где третий член суммирует всех последующих генсеков, поскольку в них присутствует тенденция минимизации качеств первых двух.



Противопоставления

Выпишем ряд противопоставлений, о которых шла речь выше. А затем попытаемся их проинтерпретировать:

"мы"	"они"
советское	буржуазное
герой	враг
оптимизм	пессимизм
общественное	личное
физическое	интеллектуальное
военный	гражданский
технический	природный
лидер	народ
город	деревня
партия	народ
Ленин	другие генсеки

Под мы/они, советское/буржуазное подходит реализация массы мифологем советского времени. Сюда же подпадает противопоставление: советской/царской России. Например: мы не рабы, рабы не мы. Или: привычный отсчет ситуации от данных 1913 г. Царское время выступает как нечто беспроектное, советское — иное. При этом противопоставление «мы»/«они» задает большой массив речевого поведения. Приведем пример из поездки Хрущева в Америку, вызвавший максимальный интензив коммуникации именно в этой области:

«Первые два дня в Америке прошли в идеологических дебатах. С каким-то болезненным сладострастием Никита Сергеевич рвался разъяснять американским бизнесменам, конгрессменам и политикам примитивизированные до уровня средней школы азы марксизма-ленинизма. Для него, очевидно, это было своего рода самоутверждением, переходящим

порой в обыкновенное ребячество: за мной, мол, весь ход истории и деваться вам все равно некуда. Из выступления в выступление на разные лады он назойливо разыгрывал один и тот же спектакль: вы капиталисты, а мы коммунисты — давайте дружить и мирно соревноваться, а потом мы вас все равно закопаем» [56, с. 55].

Под физическим/интеллектуальным мы понимаем то, что затем реализуется в противопоставлении рабочий-колхозник/интеллигенция. Советский герой всегда принципиально физически превосходит, возможно, даже более интеллектуального (и от этого более «гнилого» по своей сути) противника — например, белогвардейского генерала побеждает красный командир, не кончавший академий.

Противопоставление военной/гражданский задает особый статус военных в сталинской модели мира. Вспомним, как в фильме «Трактористы» аргументом за работу на тракторе было то, что так можно стать танкистом. В этой систематике особой любовью пользовались не просто военные, а летчики и танкисты. Весь киномир в основном строился вокруг них.

Противопоставление партия/народ было всегда выражено достаточно четко, что можно подтвердить многочисленными примерами. Приведем один из них — последнее предложение из «Истории западноевропейской философии» Г. Александрова, одной из знаковых книг данной эпохи: «Советские люди обязаны непрерывно изучать великий исторический опыт нашей партии, ее теорию о законах развития общества, уметь руководствоваться этим учением в своей деятельности» [6, с. 481]. Значимым тут является задаваемая обязательность поведения, что четко выражает тип противопоставления.

Противопоставление техническое/природное с приоритетом, отданном природному, отражает основное противопоставление советского государства, выраженное в структуре «государственное/личное». Если западная модель устройства отдает приоритет «личному», а «государственное» рассматривает как помощь «личному» в его саморазвитии, то советская модель, наоборот, отдает приоритет «государственному». Отсюда любовь к «техническому» как реализации

«государственного», а не «природного», которое в этом плане более приближено к «личному». Отсюда проистекают и другие особенности типа моделирования героя как отдающего свою биологическую жизнь ради жизни государства. Можно представить себе следующую градацию приоритетов в западной и советской модели:

<i>приоритетность</i>	<i>советская модель</i>	<i>западная модель</i>
+	государственное	личное
—	личное	государственное

В результате в западной и советской моделях все равно происходит рост и укрепление государства, но с разными целями. В рамках западной модели личное обеспечивается за счет государства. Отсюда же и разный болевой порог, свойственным этим двум цивилизационным вариантам. Если, например, для США гибель нескольких десятков человек перерастает в масштабы национальной трагедии, то для истории советского государства гибель миллионов не приводит к существенным последствиям. Отсюда советская аксиома: *государство всегда право (органы не ошибаются)*, а уровень ошибки смещен на личностный уровень.

Способы порождения истины в данных цивилизационных вариантах также закреплены за разными уровнями: государственный — для советской модели, личностный — для западной. 75% населения США вовлечены в разного рода добровольные объединения, что также демонстрирует порождение своей собственной модели мира в рамках подобного объединения.

Вероятно, возможно построение иной модели данной цивилизации с акцентом на иных признаках. И. Кондаков пишет:

«Тоталитарная культура в своей приверженности к мифологическим архетипам консервативна и архаична; ее любимые образы — атлет, борец, вооруженный воин, готовые к преодолению трудностей, выполнению почетного задания или подвига; дородная мать героиня, воплощающая плодородие земли и продолжение рода; умиротворенный и величественный вождь, снисходящий до общения с простым на-

родом или взирающий на него с высоты; ликующие и воодушевленные массы, объединенные в торжественном шествии, военном или спортивном параде, в боевом строю или трудовом порыве; семейная идиллия как символ всеобщего счастья и пр.» [87, с. 261].

Здесь конкретные образы уже более интересны, поскольку задают реализацию конкретных идеологем советского общества.

Выше мы рассмотрели два типа противопоставлений: одни идут по водоразделу «свой»/«чужой», другие отражают наличие качества в рамках категории «свой». При этом идеология пыталась примирить, свести воедино некоторые типы противопоставлений. Например, смычка города и деревни. Или такой пример, как народная армия. Все эти типы противопоставлений активно вводились песенными мифологемами типа «непобедимая и легендарная». Подобный тип внедрения в массовое сознание характерен тем, что позволяет вводить целые блоки мифологемы, даже без их понимания. По этой причине не может быть и отторжения подобных песенных тем.

Характерным для советской семиотической схемы было наличие определенных семиотических двойников, где одна единица служила прототипом для остальных. Например: Ленин продолжался в любом из генсеков. С одной стороны, Ленин был недостижим для всех остальных, но в каждом последующем генсеке воплощалась его частица. Аналогично, Стаханов порождал стахановцев, Гастелло — продолжателей его подвига. Эта схема пронизывает всю советскую действительность, задавая ее в сильной степени «цитатный характер». Это реализовалось как в бесконечном числе юбилеев, так и в бесконечном числе цитат классиков марксизма-ленинизма, которыми должны были насыщаться тексты.

Подобная системная картина мира не требует времени на раздумывание, куда поместить какой-то объект, сетка уже выработана. В подобной системе необходимо лишь решать, что это за объект, оценка же его автоматически предрешена.

Подобные коды имеет любое государство. Особенность тоталитарных кодов состоит в том, что они не допускают

разночтений, и множество перекодировок все равно должно завершаться единым результатом. Все разнообразные сообщения ведут к одному прочтению: мощь и сила советского государства стали еще больше. Тоталитарные коды характерны еще и тем, что любые виды коммуникативных цепочек носят идеологический характер. И семья, и еда, и прическа, — все это все равно оказывается в конце концов идеологически окрашенным.

Семиотические коды социализма несомненно доказывают свою жизненность тем, что до трети населения в странах СНГ и сегодня придерживаются данной идеологии даже при полной смене контекста. Исчезновение поддерживающей их пропагандистской машины никоим образом не поколебало глубин массового сознания.

СЕМИОТИЧЕСКИЕ ДВОЙНИКИ В ИСТОРИИ

Б. Успенский анализировал на примере Петра I проблему столкновения семиотических кодов, когда Петр вводит то, что обществом читается как вариант антиповедения. Он писал:

«Одни и те же объективные факты, составляющие реальный событийный текст, могут по-разному интерпретироваться на разных языках — на языке соответствующего социума и на каком-либо другом языке, относящемся к иному пространству или времени (это может быть обусловлено, например, различным членением событий, т.е. неодинаковой сегментацией текста, а также различием в установлении причинно-следственных отношений между соответствующими сегментами). В частности, то, что значимо с точки зрения данной эпохи и данного культурного ареала, может не иметь значения в системе представлений иного культурно-исторического ареала, — и наоборот» [180, с. 71–72].

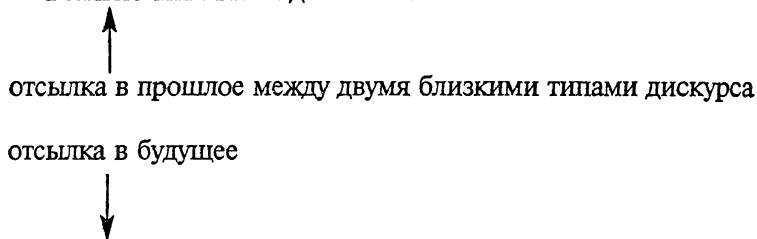
В другой своей работе он трактует событийный ряд уже чисто по лингвистически, что, собственно говоря, и было свойственно тартуско-московской школе: «Событиям приписывается значение: *текст событий читается социумом*» [180, с. 12].

Мы будем говорить о семиотических двойниках как о параллельных знаковых фигурах в других исторических периодах. При этом мы ни в коем случае не говорим о какой-либо причинно-следственной связи между подобными двумя фигурами, как это было у нас раньше, когда прослеживалась связь «Ленин — любой последующий генсек», а лишь об определенном поведенческом повторе, как виртуальной связи между ними.

Блоки истории имеют тенденцию к повторению. Ср., например, циклическое повторение движения к Западу, которое мы видим и сегодня. В прошлом все то, что делал, например, Петр I, пытался провести до него его отец Алексей Михайлович. Эта определенная «блоковость» естественным образом выталкивает действующие лица на определенные *знаковые поступки*, которые и составят основу для нашего сближения данных фигур. Основным тут становится *одинаковость восприятия данного поведения* социумом своего времени.

Область, которая создает для нас благоприятную структуру, позволяющую увидеть эти параллели, может быть создана следующими наборами факторов:

- а) соответствие тем или иным типам дискурсов и типам переходов между ними,
 - б) явная/неявная отсылка на знаковые фигуры прошлого,
 - в) порождение знаковых фигур в современной ситуации.
- Реально мы имеем два типа отсылок:



Если сказать в самом сжатом виде, то нас будут интересовать эквивалентные типы коммуникаторов и дискурсов в разные исторические периоды.

Есть также чисто объективные причины, которые могут задавать повторяемость моделей поведения в истории:

а) наличие абсолютной власти (как у царей, так и у генсеков),

б) общая ментальность управляемого/управляющих как между собой, так и между разными историческими периодами,

в) близкие объективные характеристики ситуации, приводящие в результате к единому типу решений, порождающему один тип поведения,

г) одинаковый тип противодействия может вызывать одинаковую ответную реакцию.

Все вышесказанное позволяет говорить, что в разные исторические периоды можно проследить одинаковые линии поведения разных лиц, обусловленные чисто объективными причинами. Эта одинаковость усиливается одинаковой реакцией на них социума, расположенного в разных точках пространства и времени, но объединенного общей ментальностью. Русское общество живет по единым законам, одинаково реагируя на однотипные сообщения.

На действительность также накладывается сетка символических соответствий, восприятия одного объекта с помощью другого, создавая глубинное восприятие времени и пространства, где явления одного плана обосновываются явлениями другого плана, с которыми они связаны только в воображаемой картине мира. Ю. Лотман и Б. Успенский, например, отмечают по поводу эквивалентностей Москва—Петербург—Рим:

«Петербург, воспринимаемый не только как новый Рим, но и как новая Москва (новый царствующий град, как его было поведено официально именовать), в практической жизни в качестве торговых ворот в Европу воспринимался как новый Архангельск. Однако это влекло за собой и символические толкования: покровителем Архангельска был Михаил Архангел — один из патронов Московской Руси» [155, с. 131].

Отсутствие/наличие некоторых символических элементов также имеет более глубинную интерпретацию. А. Гуревич объяснял отсутствие портрета в Средние века явлением атемпоральности, когда человек скорее ощущал себя находящимся в вечности, а не в конкретном изменяемом времени [58, с. 144]; см. также [60]. Хотя тут возможно и несколь-

ко иное объяснение, идущее не по противопоставлению «временной/вневременной факторы», а по противопоставлению «общее/детальное».

Для Средних веков характерна модель мира, которую интересовали не детали, а самые общие параметры. Современный мир, наоборот, переполнен деталями. Именно они служат приметой достоверности. Детектив, как профессия, характеризуется вниманием именно к деталям. Более того, сегодняшний мир принимает право на отклонение, право других жить по иным, чем мы законам. Для прошлого была характерна большая степень унификации, еще большая степень давления на другого. Тогда религиозные и другие барьеры разделяли миры (например, с помощью запретов на браки между представителями разных «миров»).

Советский Союз обладал изменяемым временем, хотя и особая деконкретизация присутствовала из-за большего внимания к общественному, чем личному. Все это время мы жили в относительно замкнутом обществе, что также предопределяло сходные типы поведения и реагирования, сближающие разные точки пространства-времени. Знаковые фигуры прошлого постоянно появляются в современной жизни, особенно это касается кризисных периодов, когда возникает проблема легитимности нового пути.

Вожди действительно олицетворяют собой то или иное состояние общества. Если при демократии лидер избирается тогда, когда он совпадает с определенными параметрами самого общества, то в случае советской действительности процесс мог идти в обратном порядке — сам лидер перестраивал под себя общество.

Советские лидеры редко пересекались со своим собственным народом, больше имея дело с отобранной публикой. Поэтому выходы Горбачева в народ воспринимались как совершенно новый тип общения, позвольительный исключительно для нового типа лидера. Ельцин лишь повторил этот семиотический ход.

Типология советских лидеров — это типология разных видов коммуникаторов: от молчащих (Сталин) до бесконечно говорящих (Горбачев). Так что в основе всего все равно остается Слово... Советская цивилизация отличалась ярко

выраженным вербальным характером, поэтому была зависимой от оттенков слова и, с несомненностью, являлась семиотической.

Вероятно, есть два пути работы с населением: или развитие массовой культуры, или развитие пропаганды. И то, и другое отвлекает население от нежелательных мыслей. Бывший Советский Союз избрал пропаганду, правда, ему все же удалось невидимыми нитями переплести ее с некоторыми характеристиками массовой культуры. В результате часто образовывались произведения, принадлежащие к достаточно высокой художественной культуре, но которые одновременно несли четкую идеологическую окраску. Постсоветские произведения, утратив этот идеологический стержень, сразу потеряли определенную системность. Получается, что и советская идеология сама по себе тоже обладала определенной эстетичностью, что в какой-то степени облегчало порождение нужного типа текстов. Наверное, любая завершенная идеология несет этот элемент эстетичности, поскольку она создается людьми, которые нуждаются в четком отделении хаоса от порядка. Идеология как раз и является одним из тех фильтров, придуманных человечеством, которые порождают порядок из хаоса.

В рамках бывшего Советского Союза шли бесконечные информационные потоки, которые складывали бесконечное число текстов из ограниченного набора идей и символов. Создание нового типа текста в таких жестких условиях может рассматриваться как достаточно искусное владение этим инструментарием. Семиотические соображения предопределяли образ любого героя, поскольку он всегда был не столько живым человеком, сколько типом, сущность которого была продиктована социальными соображениями. Текст шел не от Героя, а от виртуальной реальности, одним из примеров которой была идеология.

В результате всех этих семиотических процессов был построен достаточно системный символический мир, обладающий большим числом перекрестных связей, энным числом степеней глубины, постоянно возобновляемый и реализуемый в действительности на конкретных примерах, что и позволяет говорить о существовании особой советской цивилизации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Семиотический инструментарий еще не был в полной мере использован в современном мире. Он все еще носит пионерский характер. Но его несомненно ожидает большое будущее. Это связано с тем, что гуманитарные науки, с одной стороны, не разработали достаточно надежный инструментарий для анализа реальных объектов. С другой стороны, гуманитарные науки принципиально и не будут иметь единого типа инструментария, поэтому появление нового инструментария с той или иной степенью объективности всегда в этой области приветствуется.

Семиотика несет в себе достаточно «вкусный» в интеллектуальном отношении материал. Своей междисциплинарностью она может удовлетворить интерес в любом типе исследуемых объектов. Семиотика представляет также особый интерес, поскольку позволяет анализировать и достаточно обыденные объекты (типа джинсов), которые, как правило, остаются за бортом любых других научных исследований.

Семиотические студии получили в мире достаточное развитие, что говорит о непрекращающемся потоке новых исследований, новых текстов, новых объектов для изучения. Семиотика также может иметь определенные прикладные ответвления в такие области, как реклама или политические коммуникации. И тут мы еще не готовы предоставить объективный инструментарий, соответствующий практическому уровню выдвигаемых задач.

Семиотика существовала и будет существовать вне зависимости от количества ученых или студентов, уделяющих ей свое внимание. В начале любая наука нуждается в достаточном числе восторженных поклонников. Для бывшего СССР это было время Ю. Лотмана и тартуско-московской школы. Но сегодня пришло время более углубленного изучения предложенных работ, выдвижения теорий, способных описывать не только механизмы культуры, как это было свойственно тартуской школе, а и более широкий спектр объектов, связанных с человеком. Время выдвижения гипотез сменяется временем построения анализов.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Аверинцев С.С.* Древнегреческая поэтика и мировая литература // Поэтика древнегреческой литературы. — М., 1981
2. *Аверинцев С.С.* Риторика как подход к обобщению действительности // Поэтика древнегреческой литературы. — М., 1981
3. *Адлер Г.* Лекции по аналитической психологии. — М.-К., 1996
4. *Адо П.* Плотин, или простота взгляда. — М., 1991.
5. *Аймермахер К.* Знак. Текст. Культура. — М., 1998
6. *Александров Г.Ф.* История западноевропейской философии. — М. — Л., 1946
7. *Аллилуева С.* Двадцать писем к другу. — М., 1990.
8. *Андреев Д., Опарин В., Раков Л.* Новейший Плутарх. Иллюстрированный биографический словарь воображаемых знаменитых деятелей всех времен и народов от А до Я.— М., 1991
9. *Антонов-Овсеенко А.* Театр Иосифа Сталина. — М., 1995
10. *Арендт Х.* Массы и тоталитаризм // "Вопросы социологии", 1992, № 2
11. *Арендт Х.* О революции // "Новое литературное обозрение", 1997, № 26
12. *Арнхейм Р.* Искусство и визуальное восприятие. — М., 1974
13. *Арнхейм Р.* Новые очерки по психологии искусства. — М., 1994
14. *Арраухо И.* Архитектурная композиция. — М., 1982
15. *Байбурин А.К.* Семиотические аспекты функционирования вещей // Этнографическое изучение знаковых средств культуры. — М., 1989
16. *Барт Р.* Основы семиологии // Структурализм: "за" и "против". — М., 1975
17. *Барт Р.* Избранные работы. Семиотика. Поэтика. — М., 1989
18. *Барт Р.* Римляне в кино // Барт Р. Мифологии. — М., 1996
19. *Барт Р.* Риторика образа // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. — М., 1989

20. *Барт Р.* Сад-1 // Маркиз де Сад и XX век. — М., 1992
21. *Барт Р.* Сила и непринужденность // Барт Р. Мифологии. — М., 1996
22. *Бауэр В. и др.* Энциклопедия символов. М., 1995
23. *Бахтин М.М.* К философии поступка // Философия и социология науки и техники. Ежегодник, 1984 — 1985. — М., 1986
24. *Бахтин М.М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. — М., 1990
25. *Бенуа А.* Мои воспоминания. — Кн. 4-5. — М., 1990
26. *Бергер П.Л.* Приглашение в социологию. — М., 1996
27. *Бердяев Н.* Самопознание. — М., 1991
28. *Бережков В.* Тегеран, 1943. — М., 1968
29. *Бережков В.М.* Страницы дипломатической истории. — М., 1984
30. *Бехтерев В.М.* Внушение и его роль в общественной жизни. — СПб., 1903
31. *Бицилли П.* Элементы средневековой культуры. — М., 1995
32. *Богатырев П.* Знаки в театральном искусстве // Труды по знакам и системам. — Вып. VII. — Тарту, 1975
33. *Богатырев П.Г.* Функции национального костюма в Моравской Словакии // Вопросы теории народного искусства. — М., 1971
34. *Богданов А.* Тектология. — Кн.2. — М., 1989
35. *Бонч-Бруевич В.* Ленин и дети. — М., 1960
36. *Борев Ю.* Фарисея. Послесталинская эпоха в преданиях и анекдотах. — М., 1992
37. *Брамштедте Е. и др.* Йозеф Геббельс — Мефистофель усмехается из прошлого. — Ростов-на-Дону, 2000
38. *Булгаков М.А.* Собачье сердце // Булгаков М.А. Собр. соч. в пяти томах. — Т. 2. — М., 1989
39. *Бухарин Н.* Прения по докладу тов.Сталина // XV конференция ВКП(б). Стенографический отчет
40. *Вайль П., Генис А.* 60-е. Мир советского человека. -М., 1996
41. *Вебер М.* Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. — М., 1990
42. *Вельфлин Г.* Основные понятия истории искусств. — СПб., 1994
43. *Веркман К.Дж.* Товарные знаки. — М., 1986,
44. *Виноградов В.В.* Очерки по истории русского литературного языка XVII — XIX вв. — М., 1938

45. *Винокур Г.* Биография и культура. — М., 1927
46. *Вознесенская Е., Фролов П.* Фотография как средство формирования имиджа // "A&PR digest". — 1996. — Июнь
47. *Волошин М.* "Средоточье всех путей..." — М., 1989
48. *Воротников В.А.* А было это так... Из дневника члена Политбюро ЦК КПСС. — М., 1995
49. Всесоюзная Коммунистическая партия (б) в резолюциях ее съездов и конференций (1898-1926 гг.) — М.—Л., 1927
50. Всесоюзная Коммунистическая партия (большевики) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Ч. II. 1925-1939. — М., 1941
51. Вы должны сломать лед. Искусство интервью в рецептах из Майами // "Журналист". — 1993. — № 5
52. *Герциштейн Р.Э.* Война, которую выиграл Гитлер. — Смоленск, 1996.
53. *Гильдебрандт А.* Проблема формы в изобразительном искусстве и собрание статей. — М., 1914
54. *Гладыш А.* Структуры Лабиринта. — М., 1994
55. *Глоцер В.* Марина Дурново. Мой муж Данил Хармс. — М., 2000
56. *Гриневский О.* Тысяча и один день Никиты Сергеевича. — М., 1998.
57. *Гройс Б.* Утопия и обман. — М., 1993
58. *Гуревич А.Я.* Категории средневековой культуры. — М., 1984. — С. 144
59. *Гуревич А.Я.* Культура и общество средневековой Европы глазами современников". — М., 1989
60. *Гуревич А.Я.* Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. — М., 1990
61. *Деглин В.Л. и др.* Язык и функциональная асимметрия мозга // Труды по знаковым системам. — Вып. 16. — Тарту, 1983
62. *Добренко Е.* Все лучшее — детям (тоталитарная культура и мир детства) // Wiener Slawistischer Almanach. — 1992. — № 29
63. Доклад т. Жданова о журналах "Звезда" и "Ленинград" // "Знамя". — 1946. — № 10
64. *Живов В.М., Успенский Б.А.* Царь и Бог. Семиотические аспекты сакрализации монарха в России // Языки культуры и проблемы переводимости. — М., 1987

65. Жуковская Н.Л. Категория и символика традиционной культуры монголов. — М., 1988
66. Зеньковский В. Основы христианской философии. — М., 1992
67. Зимовец С. Молчание Герасима. — М., 1996.
68. Иванов Вяч. Проблемы этносемиотики // Этнографическое изучение знаковых средств культуры. — Л., 1989
69. Иванов Вяч. Вс. Нечет и чет // Иванов Вяч. Вс. Избранные работы по семиотике и истории культуры. — Т. I. — М., 1998
70. Иванов Вяч. Вс. О книге Владимира Паперного "Культура Два" // Паперный В. Культура два. — М., 1996.
71. Иванов Вяч. Ответ на статью "Символизм и фальсификация" // "Новое литературное обозрение", 1994, № 10
72. Ильин В.В., Панарин А.С. Философия политики. — М., 1994
73. История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. — М., 1950
74. Исупов К.Г. Путь // Культурология. XX век. Энциклопедия. — Т. 2. — СПб., 1998
75. К.П. Победоносцев и его корреспонденты. — Т. I. — Полуптом 2-й. — М. — П., 1923
76. Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. — М., 1987
77. Карр Э.Х. Русская революция от Ленина до Сталина. 1917-1929. — М., 1990
78. Карсавин Л. Философия истории
79. Карсавин Л.П. Культура средних веков. — Петроград, 1918.
80. Керлот Х. Словарь символов. — М., 1994
81. Кирсанова Р.М. Розовая канарейка и драдедамовый платок. Костюм-вещь и образ в русской литературе XIX века. — М., 1989
82. Ключевский В. Курс русской истории. — Ч. V. — М., 1937
83. Ключевский В. Курс русской истории. — Ч. II. — М., 1912
84. Ключевский В. Курс русской истории. — Ч. IV. — М., 1910
85. Кнабе Г. Древний Рим — история и повседневность. — М., 1986
86. Кнабе Г.С. Категория престижности в жизни Древнего Рима // Быт и история в античности. — М., 1988
87. Кондаков И.В. Тоталитарная культура // Культурология. XX век. Энциклопедия. — Т. 2. — СПб., 1998.
88. Кононов А. Рассказы о Чапаеве. — М., 1954

89. Корнилов А. Курс истории России XIX века. — Ч. I. — М., 1912
90. Корнилов А. Курс истории России XIX века. — Ч. II. — М., 1912
91. Кракауэр Э. Психологическая история немецкого кино. — М., 1977
92. Кречмер Э. Строение тела и характер. — М.- Л., 1930
93. Кривулин В. Советский язык как инструмент политики // "Collegium". — 1998. — N 1-2.
94. Кургинян С. Седьмой сценарий. Ч. 1-3. — М., 1992
95. Ланкур-Лаферриер Д. Психика Сталина. — М., 1996
96. Лебедева Т.Ю. Путь к власти. Франция: выборы президента. — М., 1995
97. Лебон Г. Психология народов и масс. — СПб., 199
98. Леви-Строс К. Путь масок. — М., 2000
99. Лефевр В. Где искать истоки демографического кризиса? Модель человека как сугубо рационального субъекта ведет к массовым моральным депрессиям // "Независимая газета". — 2000. — 22 нояб
100. Лисовский С.Ф., Евстафьев В.А. Избирательные технологии: история, теория, практика. — М., 2000.
101. Лихачев Д.С. "Чем "несамостоятельнее" любая культура, тем она самостоятельнее" // Вопросы литературы. — 1986. — № 12
102. Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство. — Киев, 1995
103. Лотман Ю.М. Символ в системе культуры // Труды по знаковым системам. — Тарту, 1987. — Вып.21
104. Лотман Ю.М. О сюжетном пространстве русского романа XIX столетия // Труды по знаковым системам. — Вып. XX. — Тарту, 1987
105. Лотман Ю.М. Роман А.С.Пушкина "Евгений Онегин" (Л., 1980)
106. Лотман Ю.М. Асимметрия и диалог // Труды по знаковым системам. — Вып. 16. — Тарту, 1983
107. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре
108. Лотман Ю.М. Блок и народная культура города // Наследие А.Блока и актуальные проблемы поэтики. Блоковский сборник. IV. — Уч.зап. Тарт. ун-та. — Вып.535. — Тарту, 1981
109. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек — текст — семиосфера — история. — М., 1996.
110. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. — М., 1992

111. *Лотман Ю.М.* Культура как коллективный интеллект и проблемы искусственного разума (Предварительная публикация). — М., 1977
112. *Лотман Ю.М.* Структура художественного текста. — М., 1970
113. *Лотман Ю.М.* Театральный язык и живопись (К проблеме иконической риторики) // Театральное пространство. — М., 1979
114. *Лотман Ю.М.* Текст и структура аудитории // Труды по знаковым системам. — Вып. IX. — Тарту, 1977
115. *Лотман Ю.М., Успенский Б.А.* Отзвуки концепции “Москва — третий Рим” в идеологии Петра Первого // Успенский Б.А. Избранные труды. — Том I. — М., 1996
116. Лотмановский сборник, 1. — М., 1995.
117. *Маклюэн М.* Телевидение. Робкий гигант // Телевидение вчера, сегодня, завтра. — М., 1987
118. *Марченко Н.* Приметы милой старины. Нравы и быт пушкинской эпохи. — М., 2001
119. *Мень А.* Православное богослужение. Таинство, слово и образ. М., 1991
120. *Мещеряков А.Н.* Древняя Япония. Буддизм и синтоизм. Проблемы синкретизма. — М., 1987
121. *Мигранян А.* Россия в поисках идентичности. — М., 1997
122. *Митри Ж.* Визуальные структуры и семиология фильма // Строение фильма. — М., 1985
123. *Михальская А.К.* Пути развития отечественной риторики: утрата и поиски речевого идеала // Филологические науки. — 1992. — № 3
124. *Михальская А.К.* Русский Сократ. Лекции по сравнительно-исторической риторике. — М., 1996
125. *Московичи С.* Век толп. — М., 1996.
126. *Мосс М.* Техники тела // Человек. — 1993
127. *Мухелишвили Н.Л., Шрейдер Ю.А.* Семиотика молитвы // “Философская и социологическая мысль”. — 1992. — № 5
128. *Неверов С.В.* Язык как средство убеждения и воздействия в общественно-языковой практике современной Японии // Язык как средство идеологического воздействия. — М., 1983.
129. *Ольшанский Д.* Политическая психология распада // “Независимая газета”, 1992, 16 янв
130. *Оссовская М.* Рыцарь и буржуа. — М., 1987

131. *Пазолини П.* Поэтическое кино. // Структура фильма. — М., 1985
132. *Панарин А.С.* Введение в политологию. — М., 1994
133. *Паперно И.* Семиотика поведения: Николай Чернышевский — человек эпохи реализма. — М., 1996
134. *Паперный В.* Культура Два. — М., 1996.
135. *Пауэлл Т., Пауэлл Дж.* Психотренинг по методу Хосе Сильвы. — СПб., 1996
136. *Петрушевский Д.М.* Очерки по истории английского государства и общества в средние века. — М., 1937
137. *Пиз А.* Язык телодвижений. — Нижний Новгород, 1992
138. *Плутарх.* Сравнительные жизнеописания // Плутарх. Сочинения. — М., 1983
139. *Плэтт В.* Информационная работа стратегической разведки. Основные принципы. — М., 1958
140. *Подорога В.* Выражение и смысл. — М., 1995
141. Полный православный богословский энциклопедический словарь. Т. 2. СПбЖ Изд-во Сойкин
142. *Порет А.* Воспоминания о Данииле Хармсе // Панорама искусств. — Вып. 3. — М., 1980
143. *Похлебкин В.* Международная символика и эмблематика. (Опыт словаря). — М., 1989
144. *Почепцов Г.Г.* "Свій" — "чужий" в українській історії. Семіотична інтерпретація // "Слово", 1992, № 18
145. *Почепцов Г.Г.* Політичний символізм в Україні // "Слово", 1992, № 7
146. *Почепцов Г.Г.* Русская семиотика. — Москва — Киев, 2001
147. *Почепцов Г.Г.* Тоталитарный человек. Очерки тоталитарного символизма и мифологии. — Киев, 1994
148. *Проскурина В.* Рукописный журнал "Бульварный переулок" // "Новое литературное обозрение". — 1994. — № 10.
149. *Пруст М.* В сторону Свана. — СПб., 2000
150. *Пумпянский Л.В.* Опыт построения релятивистической действительности по "Ревизору" // *Пумпянский Л.В.* Классическая традиция. Собрание трудов по истории русской литературы. — М., 2000
151. *Пятигорский А.М.* Избранные труды. — М., 1996
152. *Роже Ф.* Кровавый человек: семиотическая находка Марата // "Новое литературное обозрение", 1997, № 26
153. *Ромм М.* Устные рассказы. — М., 1989
154. *Руднев В.П.* Словарь культуры XX века. — М., 1997.

155. Русский литературный анекдот конца XVIII — начала XIX века. — М., 1990
156. Рюкле Х. Ваше тайное оружие в общении. Мимика, жест, движение. — М., 1996.
157. Синяевский А. Основы советской цивилизации. — М., 2001
158. Советский цирк. 1918-1938. — Л. — М., 1938
159. Сорокин П. Система социологии. — П., 1920
160. Сталин И. Вопросы ленинизма. — М.; Л., 1926
161. Сталин И. Заключительное слово // XV конференция Всесоюзной Коммунистической партии (б). Стенографический отчет. — М.-Л., 1927
162. Сталин И. Марксизм и национально-колониальный вопрос. — М., 1934
163. Сталин И. О Ленине. — М., 1934
164. Сталин И. Об оппозиции и о внутрипартийном положении // XV конференция ВКП(б). Стенографический отчет. — М.; Л., 1927.
165. Сталин И. Политический отчет ЦК XIV съезду ВКП (б) // Сталин И. Вопросы ленинизма. — М.-Л., 1926
166. Тарле Е. Печать во Франции при Наполеоне I. По неизданным материалам. — Пг., 1922.
167. Тернер Р. Сравнительный контент-анализ биографий // "Вопросы социологии". — 1992. — № 1
168. Тодоров Цв. Теории символа. — М., 1999
169. Толстая Т. Кысь. — М., 2000
170. Толстые Н.И. и С.М. К семантике правой и левой стороны в связи с другими символическими элементами // Материалы всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам 1 (5). — Тарту, 1974
171. Томашевский Б. Теория литературы. — Л., 1925
172. Топоров В.Н. Предыстория литературы у славян. Опыт реконструкции. — М., 1998
173. Тоффлер Э. Третья волна. — М., 1999
174. Транквила Гай Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. — М., 1990
175. Троцкий Л.Д. Иосиф Сталин. Опыт характеристики // Троцкий Л.Д. К истории русской революции. — М., 1990
176. Троцкий Л.Д. История русской революции // Троцкий Л.Д. К истории русской революции. — М., 1990
177. Троцкий Л.Д. О Ленине // Троцкий Л.Д. К истории русской революции. — М., 1990

178. Трухановский В.Г. Антони Иден. — М., 1983
179. Тумаркин Н. Ленин жив! Культ Ленина в Советской России. — СПб., 1997
180. Успенский Б.А. Historia sub specie semioticae // Успенский Б.А. Избранные труды. — Том I. — М., 1996
181. Феофраст. Характеры. — Л., 1974
182. Флоренский П. Общечеловеческие корни идеализма // Флоренский П. Оправдание Космоса. — СПб., 1994
183. Флоренский П. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. — М., 1993
184. Флоренский П. Соч. Т.VII. — М., 1990
185. Флоренский П. У водоразделов мысли. — М., 1990
186. Флоренский П. Храмовое действо как синтез искусств // Флоренский П. Иконостас. — СПб., 1993
187. Франк С.Л. Очерк методологии общественных наук. — М., 1922
188. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. — М., 1978.
189. Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. — М., 1997.
190. Хайек Ф.А. Общество свободных. — Лондон, 1990.
191. Хармс Д. Собрание сочинений. — Т.2. — СПб., 2000
192. Хассен С. Освобождение от психологического насилия. Деструктивные культы. Контроль сознания. Методы помощи. — СПб. — М., 2001).
193. Хокарт А.М. Критерии оценки свидетельства // "Природа". — 1985. — № 12
194. Хопко Ф. Основы православия. — Минск, 1991
195. Цивьян Ю. Исторический фильм и динамика власти: Троцкий и Сталин в советском кино // Даугава. — 1988. — № 4
196. Чемерис В. Президент. — К., 1994
197. Чередниченко Т. Между "Брежневым" и "Пугачевой". Типология советской массовой культуры. — М., 1994
198. Черепанова И. Дом колдуньи. Язык творческого Бессознательного. — М., 1996
199. Чеснов Я.В. Шаг Майтрейи: некоторые аспекты изучения кинесики // Этнографическое изучение знаковых средств культуры. — Л., 1989
200. Чикин М. Брат дыхания // "Комсомольская правда", 1994, 21 янв.

201. Чуковский К. Живой как жизнь. — М., 1982
202. Шварц Е. Из дневников // "Звезда". — 1989. — № 12
203. Шмелева Е., Шмелев А. "Иностранцы" в русских анекдотах // "Московские новости", 1996, № 11
204. Шрейдер Ю.А. Ритуальное поведение и формы косвенного целеполагания // Психологические механизмы регуляции социального поведения. — М., 1979
205. Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций. — М., 1999
206. Эйзенштейн С. Раздвоение единого // Восток — Запад. Исследования. Переводы. Публикации. — М., 1988
207. Эйзенштейн С. Чет — Нечет // Восток — Запад. Исследования. Переводы. Публикации. — М., 1988
208. Эйзенштейн С.М. Дисней // Проблемы синтеза в художественной культуре. — М., 1985
209. Эйкен Г. История и система средневекового мирозерцания. — СПб., 1907
210. Эко У. О членении кинематографического кода // Стреление фильма. — М., 1985
211. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. — СПб., 1998
212. Это просто смешно! Или Зеркало кривого королевства. — М., 1994
213. Юнг К.Г. Диагностируя диктаторов // Одайник В. Психология политики. — СПб., 1996.
214. Юнг К.Г. Синхронистичность. — М., К., 1997
215. Якобсон Р. К вопросу о зрительных и слуховых знаках // Семиотика и искусствознание. — М., 1972
216. Якобсон Р. Статуя в поэтической мифологии Пушкина // Якобсон Р. Работы по поэтике. — М., 1987
217. Alker H.R. Rediscoveries and reformulations. Humanistic methodologies for international studies. — New York, 1996
218. Barrett C. The concept of leisure: idea and ideal // The philosophy of leisure. — Houndmills etc., 1989
219. Betinghaus E.P. Persuasive communication. — N.Y. etc., 1968
220. Bignel J. Media semiotics. An introduction. — Manchester etc., 1997
221. Blinder D. In defense of pictories Mimedies // The Journal of aesthetics and art criticism. — 1986. — Vol.45. — №1
222. Bourdieu P. Distinction. A social critique of the judgement of taste. London, 1994, p.190

223. *Broms H., Gamberg H.* Semiotics of management. — Helsinki, 1987
224. *Brown J.A.C.* Techniques of persuasion. From propaganda to brainwashing. — Harmondsworth, 1963
225. *Bruce B.* Images of power. How the image makers shape our leaders. — London, 1992
226. *Clark T.* Art and propaganda in the twentieth century. — New York, 1997
227. *Culler J.* Semiotics: Communication and Signification // Image and code. — Ann Arbor, 1981
228. *Danto A.C.* Art, evolution and the consciousness of history // The Journal of aesthetics and art criticism. — 1985. — Vol.44. — № 22
229. *Davies M.* Another way of being: leisure and the possibility of privacy // The philosophy of leisure. — Houndmills etc., 1989
230. *Eco U.* A theory of semiotics. — Bloomington etc., 1976
231. *Eco U.* The role of the reader. — Bloomington etc., 1979
232. *Fast J.* Body Language. — N.Y., 1970
233. *Fiske J.* Introduction to communication studies. — London etc., 1990
234. *Fiske J.* Understanding popular culture. — London etc., 1989
235. *Fiske J., Hartley J.* Understanding Television. — London — N.Y., 1978. —
236. *Fiske J., Hartley J.* Reading television. — London etc., 1992
237. *Fukuyama F.* The end of history and the last man. Harmondsworth, 1992
238. *Gamson W.A.* Media discourse and public opinion on nuclear power: a constructionist approach // "American journal of sociology", 1989; N 1
239. *Gillen P.* Myths of the unknown (Omens and oracular discourse) // "Journal of pragmatics". — 1989. — Vol.13
240. *Gombrich E.H.* Image and code: scope and limits of conventionalism in pictorial representation // Image and code. — Ann Arbor, 1981
241. *Gordon G.N.* The Idea Invaders. N.Y., 1963, p.7
242. *Hodge R., Kress G.* Social Semiotics. — Cambridge, 1988
243. *Huizinga J.* The play element in contemporary civilization // Mass leisure. — Glencoe, Ill., 1960
244. *Itkonen E.* Linguistics and Metascience. — Helsinki, 1974
245. *Kearny E.N. a.o.* The American Way. — Englewood Cliffs, 1984
246. *Mayenova M.T.* Verbal texts and iconic-visual texts // Image and code. — Ann Arbor, 1981

247. *McLuhan M.* Understanding media: The extension of man. — N.Y., 1964.
248. *Metz C.* The imaginary signifier. Psychoanalysis and the cinema. — Bloomington, 1977
249. *Molino J.* Antropologie et metaphore // "Langues". — 1979. — № 54.
250. *Oguibenine B.* The semiotic approach to human culture // Image and code. — Ann Arbor, 1981
251. *Picard M.* Time and silence // Mass Leisure. — Glencoe, Ill, 1960
252. *Piper J.* Leisure as contemplation // Mass Leisure. — Glencoe, Ill, 1960
253. *Pocheptsov G.* Processes of political communication in the former USSR // Political discourse in transition in Europe 1989-1991. — Amsterdam etc., 1998)
254. *Pocheptsov G.* Semiotics of visual/spoken civilizations // Neue Fragen der Linguistik. — Tübingen, 1991
255. *Pocheptsov G.* Semiotics of political discourse // Рациональність и семиотика дискурса. — Киев, 1994
256. *Pocheptsov G.* Neuere Überlegungen Lotmans zur Zeichendynamik // Zeitschrift für Semiotik. — 1993. — Bd 15. — № 3 — 4
257. *Pylkko P.* Semiotics without signs and rules // S — European Journal for Semiotic Studies. — 1995. — Vol. 5 — 4
258. *Rank O.* Beyond psychology. New York, 1958,
259. *Sampson E.* The Image factor. — London, 1994
260. *Seitel F.P.* The practice of public relations. New York etc., 1992
261. *Shibutani T.* Improvised news. — Indianapolis etc., 1960
262. *Taylor P.M.* Munitions of the mind. A history of propaganda from the ancient world to the present day. — Manchester etc., 1995.
263. *Toffler A. and H.* War and anti-war. Survival at the dawn of the 21 st century. — London, 1994
264. *Watts D.* Political communication today. — Manchester etc., 1997
265. *Winter D.G. a.o.* The personalities of Bush and Gorbachev at a distance: follow-up on predictions // "Political Psychology", 1991, N 3
266. *Winter D.G. a.o.* The personalities of Bush and Gorbachev: procedures, portraits and policy // "Political Psychology", 1991, N 2
267. *Yapp N.* Debrett's Quide to Business Ettiquette. — London, 199480

По вопросам оптовой закупки издательств
“Рефл-бук” и “Ваклер”
обращаться:

г. Москва

издательство “Рефл-бук”

ул. Каланчевская 15а, оф. 406. тел./факс: (095) 975-36-12
e-mail: refl-book@dol.ru

г. Киев

издательство “Ваклер”

пр. Победы, 44, тел.: (044) 441-43-04
тел./факс: (044) 441-43-89
e-mail: vakler@ukr.net

издательство “Эльга”

тел. (044) 243-59-39, факс (044) 216-28-29

Г.Г. Почепцов. Семиотика. М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер» — 2002. — 432 с. — (Образовательная библиотека)

ISBN 966-543-048-3 (серия)

ISBN 5-87983-107-8 (“Рефл-бук”)

ISBN 966-543-079-3 (“Ваклер”)

В книге впервые в системной форме рассматривается семиотика — наука, которая получает все более широкое распространение. Семиотика может рассматриваться как способ структурирования действительности, свойственный человеческому мозгу. По этой причине семиотический анализ дает развернутую картину того, как человек воспринимает объекты окружающего его мира, что особенно важно для случая объектов, созданных самим человеком. Семиотика может трактоваться как тип универсального анализа объектов разной природы, при этом единый метод анализа позволяет четче увидеть общее и отличное в их структуре. Особое внимание в книге уделено семиотике советской цивилизации, которая оказывает определяющее влияние на постсоветские страны.

УДК 30

Георгий Георгиевич Почепцов **Семиотика**

Художественный редактор В.В.Чутур
Технический редактор Н.В.Мосюренко
Компьютерная верстка В.С.Удовик

Подписано в печать 20.05.2002. Формат 84×108¹/₃₂.

Гарнитура таймс. Печать высокая. Печ. листов 13,5. Тираж 3000 экз.
Заказ № 517.

Издательство «Рефл-бук», Москва, 3-я Тверская-Ямская, 11/13.
Лицензия ЛР № 090222 от 08.04.99.

Отпечатано с диапозитивов в ФГУП «Печатный двор» Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.